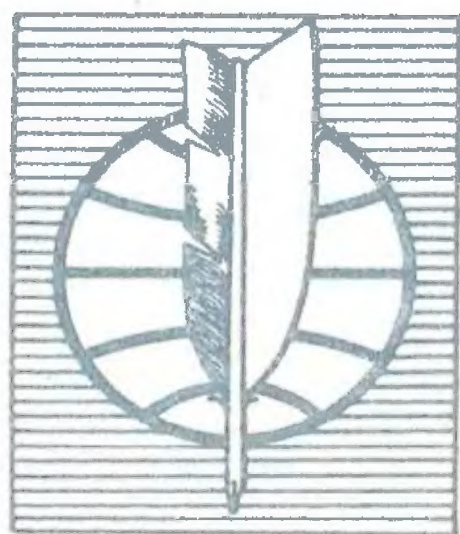


БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



АЛЕКСАНДР БЛОК
СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ





БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



А. Блок. «Двенадцать».
Художник А. А. Кошкин.

АЛЕКСАНДР БЛОК



СЕРГЕЙ ЕСЕНИН



ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ

*И*ЗБРАННОЕ

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1979

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь

Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсайд
Михалков С. В.

Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова Э. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Предисловие
С. С. НАРОВЧАТОВА

Составление и комментарии
С. А. КОВАЛЕНКО

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома
А. А. ПАРАМОНОВА

Иллюстрации
Е. А. КИБРИКА, А. А. КОШКИНА,
А. А. ПАРАМОНОВА, В. В. ЮДИНА

Б 70803—414
М101(03)79 Подп. изд.

© Предисловие. Состав. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1979 г.

ТРИ ВЕЛИКИХ ПОЭТА

В этой книге представлены лучшие стихи трех великих поэтов Советской страны. Если нашу поэзию сравнить с горной цепью, над ней поднимутся три вершины: Блок, Есенин, Маяковский. Творчество каждого из них глубоко своеобразно, буквально по одной-двум строкам вы сможете различить их стихи. Но есть, однако, великое единство, тесно сближающее трех больших и разных поэтов. Это безоговорочное признание и служение Советской власти. В первые революционные годы это означало прежде всего борьбу за Советскую власть силой поэтического слова. Блок, Есенин, Маяковский, эти корифеи русского стиха, весь свой творческий гений, весь свой поэтический талант полностью отдали делу революции, ленинскому делу.

Труден был путь великих поэтов по жизни — это еще то общее, что их роднит друг с другом. Но трудно было и время войн и революций, в котором они жили. У Маяковского в стихах, посвященных Сергею Есенину, есть вещие строки:

Это время —
 трудновато для пера,
 но скажите
 вы,
 калеки и калекши,
 где,
 когда,
 какой великий выбирал
 путь,
 чтобы протоптанней
 и легче?

Блок «музыку революции», которую он не только слышал, но и творил, пронес через отчуждение близких друзей, бойкот буржуазной интеллигенции, прямую ненависть врагов Советской власти. Маяковский всю жизнь боролся с противниками нового строя, белогвардейским охвостом, обывательщиной, в отместку поливавшей его грязью. Есенин настойчиво шел от Руси уходящей к Руси новой, резко отталкивая людей, тянувших его назад.

Существует старая истина, что, если ты борешься с кем-то, ты борешься за что-то. У Блока, Есенина, Маяковского была общая цель борьбы — утверждение Советской власти. И за это мы, их потомки, отдаем им низкий поклон.

Огромно значение великих поэтов в развитии русской поэзии. Если до предела сжать то новое, что внесли они в отечественное стихосложение, мы в первую очередь отметим обновление ритмики Блоком, революцию в рифме и метафоре, произведенную Маяковским, дерзкое преобразование образной системы Есениным. Каждый из них смело использовал язык победившего народа. Противников Блока едва ли не одинаково возмущало содержание и язык «Двенадцати». Ведь на этом языке говорила ненавистная им революция:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем!

Маяковский вобрал в свою поэзию речевую стихию революционной улицы, Есенин — нового, советского села. Не надо понимать это слишком прямолинейно, языковая ткань замечательных поэтов очень сложна и окрашена в разные тона, но доминантой их стихотворной речи является новый язык нового государства.

В предреволюционные годы и первое послеоктябрьское время существовало много различных литературных течений и направлений. Блок примыкал к символизму, Маяковский объявил себя футуристом, Есенин — имажинистом. Но всем им эти направления оказались одеждой не по росту. Гениальные поэты сбрасывают с плеч обременительные одеяния и становятся просто гениальными поэтами. Нет символиста Блока, есть великий поэт Александр Блок, нет футуриста Маяковского, есть великий поэт Владимир Маяковский, нет имажиниста Есенина, есть великий поэт Сергей Есенин.

Великие поэты сочетали в своем творчестве лирику и эпiku. Высшими их достижениями в эпическом роде стали поэмы глубокого общественного содержания — их поистине можно назвать бессмертными. У Блока это «Двенадцать», у Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», у Есенина «Баллада о двадцати шести». Мы часто говорим о гражданственности «Двена-

дцати» и «Хорошо!», но вспомним и есенинские чеканные поэтические формулировки в «Балладе о двадцати шести»:

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.

Рафинированным интеллигентом, осуществившим в своей жизни и творчестве преемственное единство вековой русской и революционной советской культуры, пришел в сознание людей первых лет Советской власти Александр Блок. Маяковского еще при жизни называли великим пролетарским поэтом. Есенин сам себя называл «последним поэтом деревни», но мы решимся поправить поэта и добавить к этому определению, что он стал одновременно первым поэтом нового села. Одно то, что пролетариат, крестьянство и интеллигенция устами трех великих художников слова утвердили торжество Советской власти, неоспоримо свидетельствовало о ее всенародном характере. Так это и воспринимали наиболее прозорливые люди того времени. Нам же по истечении многих лет, когда, по есенинским словам, «большое видится на расстоянии», прозревается то, что и Александр Блок, и Владимир Маяковский, и Сергей Есенин явились великими народными поэтами Советской страны. В своем творчестве они запечатлели все лучшие черты, все высокие чаяния нашего народа. У каждого из них была своя неповторимая интонация, но общее звучание связывало воедино трех великих поэтов. Это звучание соединялось со словами победоносного гимна «Мы наш, мы новый мир построим».

Обратимся теперь к обзорам жизни и творчества великих поэтов. Старшим из них был Блок. Разница лет между ним и Маяковским составляла тринадцать, а с Есениным пятнадцать лет. Дело, однако, не только в возрастном различии, — Блок принадлежал к другой поэтической эпохе. Именно эпохе, а не поколению. Разность поколений была, скорее, между Маяковским и Есениным, несмотря на очень краткий возрастной разрыв между ними, — всего два года. Блок был знаменитым поэтом, когда Маяковский только начинал, и неоспоримо первым поэтом России, когда юный Есенин робко постучался в его дверь. Поэтическая эпоха, к которой принадлежал Блок, была мостом из XIX в XX век и не только по формальному признаку, подчеркивающему то, что первые стихи поэта сочинялись в последние годы прошлого столетия. Дело здесь глубже. Поэзия Блока

впитала в себя множество новых струй русского стиха, слившихся в вольном потоке его творчества. Блок, по сути, завершение русской классики и начало классики советской.

И мы начнем свой рассказ с обзора его жизненного и творческого пути.

1

Александр Александрович Блок родился в 1880 году в Петербурге. Отец поэта был профессором права, мать — внучкой А. П. Бекетова, ректора Петербургского университета. Семья Бекетовых была близка семье знаменитого Менделеева, на дочери которого Блок впоследствии женился. Бабушка и тетки поэта были писательницами и переводчицами.

По родству и окружению Александр Блок принадлежал к самым верхам дворянской научно-художественной интеллигенции, и это, естественно, наложило отпечаток на воспитание и формирование поэтического дара юного поэта.

Родители его разошлись, когда ребенок был еще совсем мал. Отца он почти не знал, детство Блока проходило в семье Бекетовых, в Петербурге и Шахматове, подмосковном имении деда.

Сам воздух, которым дышал в детстве, отрочестве и юности Александр Блок, был насыщен поэзией. Поэзией, правда, совершенно определенной тональности. В ректорской квартире и шахматовской усадьбе властвовала романтическая и возвышенная лирика Жуковского, Полонского, Фета, Апухтина. Первые стихи Блока, а он начал сочинять их еще ребенком, отразили веяния этой поэзии, которую злые языки разночинцев называли усадебной.

Замкнутая жизнь Шахматова располагала к отрешенности и мечтательности. Отсюда был в ту пору для юношей, воспитывавшихся в подобной атмосфере, один шаг до мистических размышлений и увлечений. Ответы на возникшие вопросы Блок искал тогда в творчестве Владимира Соловьева, поэта мистического склада, и вполне понятно, что идеи, витавшие вокруг юноши, не могли не запечатлеться в его тогдашних стихах. «Ante Lucem» и «Стихи о Прекрасной Даме» сквозят отголосками размышлений о «вечно-женственном» и «мировой душе». Но как у всех больших поэтов, а юный Блок с самого начала являлся большим поэтом, привходящая идея неуклонно затмевается огромным даром поэта, отмечающим все ложные истины и утверждающим истины подлинные. Часто это происходит интуитивно, но великая поэзия, в известной степени, и есть гениальная интуиция.

Современный читатель в ранних стихах Блока ищет и находит живое земное чувство, продиктовавшее юному поэту слова чистой и возвышенной любви. Этим чувством было вдохновенное преклонение перед своей невестой Любовью Дмитриевной Менделеевой, которая стала его женой.

Идеалистическая направленность первых стихов Блока не прошла незамеченной. Талантливость юного поэта была очевидной, и перед юным поэтом распахнули страницы журналы символистов.

В 1904 году вышла его первая книга «Стихи о Прекрасной Даме».

Но к моменту ее выхода в свет Александр Блок уже сделал шаг от юности к молодости, и он знаменовался резким разочарованием в мистике, ниспровержением и высмеиванием недавних кумиров. Впервые в его поэзию властно входят, чтобы никогда уже не исчезнуть, социальные мотивы.

Редко кто из поэтов вступал в жизнь исполненный таких чистых надежд и возвышенных мечтаний, как Александр Блок. В блистающей белизне его первых стихов даже таилась пугающая аристократичность, отгораживавшая поэта от мира простых людей, их мыслей и чувств. Но «страшный мир», как назвал потом Блок один из своих стихотворных циклов, беспощадно вторгся в жизнь поэта, опрокинул его зыбкие мечты, шутя разрушил наивные представления о действительности. В пантеон Блока, включавший вместе с православными небожителями католических мадонн и олимпийских богов, ворвались злые, неукротимые божества современности: насилие, голод, нужда. В цикле стихов «Распутья» появляется знаменитая «Фабрика».

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

Такие стихи, будь тогда Блок хоть на полшага ближе к революции, охотно бы напечатала любая большевистская газета. Интуицией большого художника он ощутил и разделил главное: труд и его присвоение. «И в жолтых окнах засмеются, что этих нищих провели». Напомним, что для многих поэтов и писателей в те времена фабрика была овеществленным «Злом» или «Добром» без внутренних градаций. Одни проклинали ее как вторжение города в патриархальность, другие славил ее как пришествие цивилизации в дикость. Блок в шестнадцати строках, как бы мы сказали сейчас, провел четкий классовый анализ нового для себя явления. И впервые в нем проснулась сила отрицания: всей своей душой, всей художнической натурой, всем своим лирическим существом он возненавидел этих недвижимых, черных, смеющихся в желтых окнах. Какие плоды принесла эта ненависть — мы увидим дальше.

Меняется тон и цвет стихов Блока. Еще недавно Блок ощущал себя поэтом весны, душевный перелом бросал его прямо в осень. Цикл стихов «Город» вырастает именно под знаком осени 1905 года — нарастания и крушения первой русской революции. В нем показательно стихотворение «Сытые», написанное в дни всеобщей забастовки.

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

И вот — в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных —
Свет электрический потух.

.

Так — негодует всё, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

Пусть доживут свой век привычно —
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям — неприлично
Их старой скуке подражать.

Эту ненависть к «сытым», к власть имущим Блок сохранит и упрочит в дальнейших стихах. Он не переносит слова «буржуазность», оно отвратительно ему и по звуку, и по смыслу, и по содержанию. В нем самом еще долго будет держаться ощущение «чистых детей», отмахивающихся от «старой скуки» своих отцов, но эта высокомерная брезгливость вскоре уступит место действительному негодованию.

Если под этим углом перечитать стихи Блока, вам явится вся сила ненависти поэта к буржуазности и ее спутнице — мещанству. В трагично-прекрасной «Незнакомке» вы ощутите «тлетворный дух» этой буржуазности, когда

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается женский плач.

И каждый вечер за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины
И раздается женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

Буржуазная пошлость пока еще не в силах растоптать и погубить истинную красоту, воплощенную в Незнакомке, — «очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу», — но, дышащая «духами и туманами», Незнакомка взята уже в порочное кольцо, разорвать которое может одна поэзия.

Что же могло оберечь поэта от тлетворного духа буржуазности, обыденного и интеллектуального мещанства? Чутьем огромного художника Блок ощущал ненормальность жизненного уклада, окружавшего его со всех сторон, видел удивительную страну, которая навевала на него светлые мечты и надежды, возбуждала в нем вольные мысли и чувства.

Такой страной была Россия. Но не Россия самодержавная, имперская, официальная, а та, которую он носил в своем сердце:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет,—
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Только вот эта Россия, с которой «невозможное возможно» и «дорога долгая легка», могла спасти поэта от одиночества, замкнутости, самоуничтожения. Именно она могла в глухие годы подсказать ему опьяняющие своей жизненностью стихи:

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Он не идеализировал Россию. «Ненавидя, кланя и любя», писал он поразительные строки:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

И теперь только с народом, в слиянии с его судьбами он искал выход из темных тупиков «страшного мира». Поэтом овладевает чувство неотвратимых свершений и перемен, и, тревожно-томительное, оно выплескивается в знаменитом цикле «На поле Куликовом». Уже давно наметился отход Блока от символизма, наконец обозначается отказ от устремлений поэта его бывших единомышленников — это была для многих из них как бы репетиция к генеральному разрыву с ним в дни Октября. «Александр Блок, рыцарь «Прекрасной Дамы»... устремляется в некультурную Русь»... к «исчадию Волги», — с ненавистью пишет о нем Мережковский, в будущем белоэмигрант, злейший враг Советской власти.

К началу революции Блок, пройдя все улицы и закоулки «города», все края и окраины «страшного мира», выходит в ту необозримую российскую степь, над которой огненными пламенами сверкают его собственные слова:

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

.

Закат в крови! Из сердца кровь струится!

Плачь, сердце, плачь...

Покоя нет! Степная кобылица

Несется вскачь!

К началу революции отрицательная и положительная линии — отказ от старого, отжившего и утверждение нового, революционного — обостряются до предела в творческом сознании Блока. С удивительным бесстрашием принимает он на себя возмездие за грехи своего класса в знаменитой статье «Интеллигенция и революция». «Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — пишет он. — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мощной, а дураку — образованностью...

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, — пишет дальше Блок, — ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие». — И продолжает дальше: — Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что народ — пайнька?»

И с удивительной твердостью безоговорочно принимает Октябрьскую революцию, идя на резкий разрыв со своими давними друзьями, читателями и почитателями среди буржуазной интеллигенции.

Октябрь слил художническое и политическое самосознание Блока в одно одухотворенное целое. Оно и продиктовало 14 января 1918 года на вопрос газеты «Петроградское эхо»: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?» — краткий исчерпывающий ответ: «Может и обязана». Это сказал автор «Стихов о Прекрасной Даме», «Незнакомки», «Шагов Командора» — блестящий поэт, творчеством которого завершился многолетний период русской поэзии и начинался новый, советский путь ее развития.

В эти дни Александр Блок, по собственным словам, слушает «музыку революции»... Ее звучание наполняет бессмертные строки «Двенадцати». Чеканный шаг революционного патруля, воспетого гениальным поэтом, надолго определил ритм советской поэзии.

— Шаг держи революционный!

Близок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед,

Рабочий народ!

Мы с благодарностью и восхищением смотрим на послеоктябрьскую деятельность Блока. В поэзии с созданием «Двенадцати» и «Скифов» он выполнил свою миссию, а после этих великих свершений его талант открыл дорогу к революции через другие области человеческого интеллекта. Области, никем еще не пройденные и вновь открываемые в те дни. Выходят его статьи «Интеллигенция и революция» и «Искусство и революция», очерки «Падение старого режима» и «Катилина», где древний мятежник осмыслен революционером античности. Публицистика его в эти годы чрезвычайно напряжена. Он выступает с докладами, каждый из которых выносит на суд общества проблемы времени, литературы, поэзии. «Крушение гуманизма» и «Без божества, без вдохновенья» — вершины его публицистики.

Огромна его общественная деятельность. По приглашению А. М. Горького он становится членом коллегии издательства «Всемирная литература» и берет на себя редактирование сочинений Г. Гейне. Блок утверждается председателем Управления Большого драматического театра. Назначается членом коллегии Литературного отдела Наркомпроса. Избирается председателем Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов. И многое, многое другое.

Каждая из статей Блока, каждый из его докладов, каждая из его должностей были тогда первыми из первых. Он входил не в коллегию стародавшего министерства, а народного комиссариата молодой республики. Вместе с другими он создавал первые учреждения юной Советской власти. Он каждым своим поступком утверждал эту власть. И все это, вместе взятое, вписывал в общую картину становления новой культуры победившего рабочего класса.

Александр Александрович Блок скончался в 1921 году не только русским, но и советским поэтом. Гениальный талант его получил всеобщее признание. Уроки творчества, деятельности, жизни Александра Блока глубоки и перспективны. Каждая из линий его жизни, деятельности, творчества нашла продолжение и развитие в советской литературе. Получила твердое упрочение и расширение его общественная позиция.

Великий лирический поэт, безоговорочно поддержавший ленинское государство в самую трудную пору его становления, — таким остается Александр Блок в сознании советского народа.

2

Сергей Александрович Есенин родился в 1895 году. Место его рождения — рязанское село Константиново, родители поэта были крестьянами. Они жили порознь, и ребенок воспитывался

в семье деда, умного старика, любившего своего желтоволосого внука. Мальчик учился сперва в сельской школе, а потом перешел в закрытую школу повышенного типа. Она находилась в Спас-Клепиках, примерно в трех десятках верст от Константинова. По теперешним меркам такая школа была чем-то вроде педагогического техникума, выпускавшего учителей начальных школ.

Читать Есенин, по собственному свидетельству, начал с пяти лет, а потом, в раннем же детстве, возникли его первые стихи. В Спас-Клепиковской школе, четырнадцати-пятнадцатилетним отроком, он уже создает такие строки, которые до сих пор ставят в тупик литературоведов, настолько стихи выделяются из ряда своей яркой и «взрослой» талантливостью.

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло,
Только мне не плачется — на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари,
Есть тоска веселая в алостях зари.

По безукоризненности лирического рисунка, свежести образной системы, эмоциональной настроенности эти стихи далеко обгоняют возраст, в котором они созданы. Но мы имеем дело не просто с талантом, а с гениальным талантом, и этим все объясняется.

По окончании школы семнадцатилетним юношей Сергей Есенин в 1912 году переезжает в Москву, где его отец служил приказчиком в лавке. На первых порах он устраивает туда же сына, но тот, разругавшись с хозяевами, уходит от них прочь. В это время он уже связан с литературно-музыкальным кружком имени Сурикова, творческим объединением, известным своими народно-демократическими тенденциями. Уйдя из лавки, он живет сперва у своих новых друзей, а потом они устраивают его в типографию Сытина. В 1913—1914 годах молодой поэт, поступив в университет Шанявского, слушает лекции по русской и западной литературе, истории, новой философии, политэкономии, логике. Об уровне духовного развития его в те годы красноре-

чиво говорят его письма к Грише Панфилову, близкому другу по Спас-Клепиковской школе. Молодой поэт свободно цитирует Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Белинского, Чернышевского и других классиков. «Слово о полку Игореве» он знает почти наизусть. Обывательский наговор, представлявший Есенина полуграмотным крестьянским парнем, рассыпается в прах. Мы видим светлый и чистый образ юноши из народа, упорно рвущегося к знаниям, твердо и систематически расширяющего свой кругозор, жадно впитывающего все новое и прогрессивное.

Есенин не стоит в стороне от политики. Героем, которого он в то время выбирает себе в образцы, становится Рахметов из знаменитого романа Чернышевского. Юный поэт быстро находит общее с людьми, от которых зависит будущее России. Едва поступив работать в Сытинскую типографию, он начинает посещать нелегальные собрания и массовки, выполняет конспиративные поручения, распространяет среди рабочих революционные листовки. За Есениным устанавливается слежка, филерами ему присваивается официальная кличка «Набор». Есенин, по словам очевидца, был очень ценен в работе с подпольщиками «как умный и ловкий парень, способствующий распространению нелегальной литературы». Письма самого Есенина, адресованные тому же Панфилову, полны взволнованных сообщений о революционных настроениях, о слежке, об обыске.

Конечно, юному Есенину было далеко до профессионального революционера, но случайностью его близость к нелегальным кружкам тоже объяснить нельзя. Этот факт биографии нашел свое развитие и продолжение в зрелом творчестве Есенина, привив ему своеобразный иммунитет ко всему антинародному и чужеродному, способствовал его формированию как человека и поэта. Когда через три года его товарищи вышли на московские мостовые, по примеру питерских рабочих, у Есенина не было колебаний — принимать или не принимать Октябрь. Выбор его был предопределен. Россия навсегда спаяла свою судьбу с большевиками, Есенин мыслил и ощущал себя неотделимым от этой новой России.

Есенин в это время начинает печататься в детских журналах, но поэтическое окружение в Москве его не удовлетворяет, он стремится в Петроград, кажущийся ему средоточием литературной жизни. В записной книжке Блока от 9 марта 1915 года появляется лаконичная фраза: «Днем у меня рязанский парень со стихами». Это день приезда Есенина в северную столицу. Потом молодой поэт попадает к Сергею Городецкому, известному в то время поэту, встретившему его с распростертыми объятиями. Перед Есениным гостеприимно распахиваются двери литературных салонов, где на него смотрят как на некое диво, явившееся к ним из российских глубин.

Есенин действительно был чудом, если верить В. И. Далю, объяснявшему это слово, как «явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы». Однако внимание салонной публики к юному таланту диктовалось скорее модой, чем подлинной заинтересованностью.

Молодой рязанец был, впрочем, себе на уме и легко входил в навязанную ему роль: мол, хотите видеть меня таким — пожалуйста! В таком обличье, видимо, узнал его тогда Маяковский, оставивший ироническую запись: «В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками». Тут же, однако, добавляется, что Есенин «уже писал нравящиеся стихи»¹.

А стихи действительно не могли не нравиться! За плечами Сергея Есенина были строки, вошедшие потом в классику отечественной поэзии:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

По душевной наполненности, по беспредельной искренности, по истинности любви это одни из самых лучших строк в нашей поэзии, посвященных России, а их написал девятнадцатилетний юноша!

Салонные завсегдатаи, аплодируя его стихам, мнили себя намного выше деревенского паренька. На самом деле он был выше их на несколько голов. Это проявлялось не только в неизмеримом превосходстве таланта, но и в природном уме, оценке происходящих событий, точности выводов. Есенина, например, никак не коснулись шовинистический угар и восхваление империалистической бойни, целиком завладевшие такими поэтами, как Городецкий и Клюев. А они были старше Есенина, близки к нему и пытались влиять на его мировоззрение.

В эти годы Есенин формируется как большой неповторимый поэт. Новые краски приобретает его удивительная образность, закрепляется та интонация, по которой узнаешь поэта по одной, двум, самое большее по нескольким строкам. Вот наглядное подтверждение:

Мой край, задумчивый и нежный!

Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

¹ В. В. Маяковский. Как делать стихи?

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам,
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать у забора.

Одна, две, четыре строки — никому, кроме Есенина, они не могли принадлежать. К месту будет сказать, что интонация — одна из главных отличительных черт настоящего поэта. Можно научиться хорошо рифмовать, находить редкостные рифмы, даже создавать образы. Но свою незаимствованную интонацию, если ты не обладаешь подлинным поэтическим даром, найти невозможно. Есенин в девятнадцать-двадцать лет уже владел собственной интонацией. Маяковский овладел ею примерно в такие же годы. И Блок тоже примерно к тому же времени.

Сергей Есенин был человеком с широкой и щедрой душой. Сердце его было полно любви. Беспамятно любил он Россию, поля ее и леса, небо над ней, любил ее людей, своих земляков. Так много хорошего и доброго жило в нем, что оно выплескивалось и на «наших братьев меньших», ласковое безъязычное зверье. «Песнь о собаке» посвящена обыденному деревенскому факту: хозяин топит новорожденных щенят. Под пером поэта эта злосчастная обыденность начинает разрывать вам сердце.

...До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатались глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Да, великая любовь жила в сердце поэта, такая любовь, что в свете ее даже собачьи глаза сияли золотыми звездами.

Много хороших стихов было написано Есениным, но будущее его было еще впереди. Оно сложилось в восемь октябрьских лет, когда замечательный русский поэт стал великим советским поэтом Сергеем Есениным.

Революция влила в творчество поэта новые могучие струи. Стали уходить из его поэзии религиозно-мистические мотивы, иллюзии обособленного крестьянского бытия. На смену этому приходило осознание путей новой ленинской России. Такая ломка происходила не сразу, на нее потребовались годы.

Еще в 1917 году Есенин пишет «Товарищ», посвящая его людям, вставшим «За волю, за равенство и труд». Год спустя в поэме «Преображение» он видит, как «Новый сеятель бредет по полям, новые зерна бросает в борозды». В «Иорданской голубице» Сергей Есенин смело заявляет:

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

В «Небесном барабанщике» Есенин поднимает свой стих на борьбу с белогвардейщиной. Враги Советской власти рисуются поэту «белым стадом горилл», он кидает крылатый лозунг: «Да здравствует революция на земле и на небесах!», ему видится интернациональное единство, в котором «калмык и татарин почуют свой чаемый град», он утверждает: «Верьте, победа за нами, новый берег недалек». Все это писалось в грозовой 1918 год, и, попадись Есенин в белогвардейские руки, ему бы пришлось худо.

В острые моменты борьбы неопровержимо определяется, по какую сторону баррикады стоит человек. Сергей Есенин твердо определил свое место локоть к локтю с защитниками Советской власти.

Конечно, путь Есенина по жизни и поэзии, что было для него одно и то же, был далеко не прямолинеен. Определив свое место по советскую сторону баррикады, Сергей Есенин сам писал: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Лишь годом позже «Небесного барабанщика» Есенин пишет свое известное стихотворение, в котором предрекает гибель патриархальной деревни, последним певцом которой он себя считает. Стихи полны такой трагической силы, перед которой может устоять лишь тот, кто уверен, что город деревне не враг, а друг, и машинное обновление села в условиях социализма принесет ему не горе, а счастье. Есенин только несколькими годами позже сможет склониться к такой мысли. А пока он пишет:

Я последний поэт деревни,
Скромнен в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадающих листвою берез.

.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

Мы остановились на этом стихотворении потому, что оно может служить своеобразным эпиграфом ко многим стихам Сергея Есенина, полным неизбывной тоски по родной рязанской деревне, резко отрицающим холодный сумрачный город, в котором негде развернуться живой душе. Великий поэт, он отчетливо понимает неизбежность ухода в небытие той деревни, в которой он вырос и которую, на расстоянии лет, горестно идеализировал. Ему приходит удивительный образ жеребенка, бегущего наперегонки с поездом:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

(«Сорокоуст»)

Нет, никогда не догнать старозаветной жизни нового бытия. Но есть ведь и другое решение вопроса. К нему Есенин приходит в последний год жизни:

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

Как на плавающей стали появляется пленка, а на молодом бродящем вине пена, есенинская поэзия начинает порой носить следы душевного разлада, что, в свою очередь, становится поводом для создания обывательских легенд.

Поэт вырывается из тупиков, вырастающих на его пути, к широкой жизненной дороге, где ждут его великие свершения. Такими свершениями надо назвать уже цитированную нами «Балладу о двадцати шести», воспевающую подвиг бакинских комиссаров, «Песнь о великом походе», провозглашавшую победу народа над врагами, прекрасную лирическую поэму «Анна Снегина». Никогда не перестанут перечитывать миллионы советских людей стихи, посвященные Ленину, «Капитан земли», такие шедевры, как «Русь советская», «Персидские мотивы», «Письмо к женщине». Вместе с драматизированной поэмой «Пугачев» и многими, многими стихами и поэмами они вошли в золотой фонд советской литературы.

Очень рано Сергей Александрович Есенин покинул навсегда свою любимую Русь. Поэта не стало на свете, едва он перешагнул тридцатилетний возраст. Теки его жизнь обычным чередом, он мог бы жить и сейчас, правда, глубоким стариком. Верится в это? Нет, не верится, потому что старость не совместима с его обликом. Только молодость неотделима от есенинской поэзии, от образа самого поэта. И таким вечно молодым остался он в памяти народа.

Русоволосый и синеглазый Сергей Есенин стал народным любимцем так же естественно и просто, как становится любимым ладный и хороший сын в просторном и добром доме. Да и как было не любить написавшего такие строки:

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Многие годы лучшим ключом к девичьим сердцам были есенинские стихи:

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом.

Да, этот «цветок неповторимый», поэта Сергея Есенина, помнят все женские сердца России, к которым он обращался со словами любви и веры.

С благословляющей нежностью поминают поэта все русские матери, тоскующие о своих сыновьях. Каждой кажется, что именно к ней обращены знаменательные слова:

Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Молодость Сергея Есенина «смеялась и плакала» среди громов и молний всей Советской страны. И поэт раскрыл свою душу, чтобы вместить в нее, по его собственному выражению, «Коммунизм — знамя всех свобод».

Народ с благодарностью вспоминает, как в далекие трудные годы прозвучал утверждающий голос поэта-гражданина:

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном
В великих штатах СССР.

Этот голос прозвучал во всем его творчестве. Советская страна узнала поэта как умелого борца с империализмом, навсегда припечатавшего капиталистический Нью-Йорк кличкой «Железный Миргород».

Единство с ленинской новью наш народ поставил в красную строку своей любви к Сергею Есенину. Он хотел видеть счастливой свою родную Русь. Волей советского народа, волей ленинской партии надежда и вера поэта полностью оправдались. И эта новая прекрасная Россия, вся Советская страна бережно хранит его память. На волне народного признания и силой своего гениального таланта русоволосый юноша из рязанского села Константиново стал великим русским советским поэтом.

3

Владимир Владимирович Маяковский родился в 1893 году в грузинском селе Багдади, где его отец служил лесничим.

В годы детства будущего поэта надвигается пора народных

бурь и потрясений. Двенадцатилетним мальчиком Маяковский читает взрывчатые листовки 1905 года. В них запоминаются стихотворные строки. Потом поэт заметит: «Стихи и революция как-то объединились в голове». Это очень примечательный факт. Уже в раннем сознании художника становятся слитными два понятия, определившие весь его дальнейший путь. Поэзия и революция! — навсегда они сольются в жизни и творчестве Маяковского.

Первая русская революция, расстрелянная самодержавием, захлебывается в крови. Но искры от ее пламени, попав в сердце Маяковского, уже никогда не угаснут, разгораясь все шире и ярче. После смерти отца семья переезжает в Москву, и будущий поэт вскоре становится большевиком. В 1908 году ему всего пятнадцать лет, и, по теперешним меркам, он должен был стать комсомольцем. Но тогда комсомола не существовало, а в условиях революционного подполья возрастных градаций не придерживались. Если юноша был достаточно возмужавшим, чтобы понимать цели борьбы и нести вытекающие отсюда обязанности, его признавали взрослым.

Перед вступлением в партию Маяковский усиленно занимается политическим самообразованием. «Нет произведения искусства, — пишет он, — которым я увлекся более, чем «Предисловием Маркса». Потом отчетливо помню синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии». Обратите внимание, как всюду в высказываниях Маяковского выявляется его художническая сущность. Одно упоминание об эстетике в применении к срезанной до букв ленинской книге многого стоит!

Молодой большевик, он разделяет все успехи и невзгоды революционного подполья. Работает пропагандистом среди рабочих, трижды арестовывается, одиннадцать месяцев сидит в Бутырках. Эта ранняя школа большевистского воспитания оставила глубокий след в сознании поэта, он много раз вспоминает о ней в стихах и поэмах, речах и выступлениях.

Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни.

Не нужно преувеличивать революционные заслуги шестнадцатилетнего подпольщика, но было бы неверным расценивать такое начало биографии, как случайный эпизод. Большевистское подполье дало Маяковскому сильнейшую зарядку, сказавшуюся через многие годы. Марксистско-ленинские формулы, усвоенные

из нелегальных изданий, врезались в память неизгладимо. Язык революции стал языком Маяковского с самых ранних лет.

Вскоре после выхода из тюрьмы появляются первые стихи поэта, обратившие внимание читателей яростной антибуржуазной направленностью. Вершиной его дореволюционного творчества становится «Облако в штанах», гениальная поэма, в которой, по словам самого Маяковского, «выкрепило сознание близкой революции». Лишь на один год ошибется поэт в своем замечательном предвещании:

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

Маяковский объявляет себя его «предтечей». И здесь, в этой поэме, мы видим, как начинает формироваться в нем сознание своего великого назначения. Лирическая тема поэзии вырастает во всечеловеческую, но человечество у Маяковского не едино, оно классово разделено. На одном полюсе Круппы и Ротшильды, магнаты капитала, на другом:

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи.

И дальше — великолепное обобщение:

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ливымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Знаменательные строки! Маяковский, еще перед революцией, в поэме «Облако в штанах» осознает себя певцом человечества, но человечества не абстрактного, а угнетенного, обездоленного, поднявшегося на освободительную борьбу. Как Александр Блок стал поэтом революционной интеллигенции, так Владимир Маяковский отныне и навсегда будет ощущать себя поэтом «людей от копоты в оспе», поэтом рабочего класса, держащего «в своей пятерне миров приводные ремни».

С первых же строк своей поэмы Маяковский разворачивается в огромного лирического поэта. Задыхающиеся слова страсти, где мольба перемеживается с отчаянием, а нежность с ревностью, вписываются в лучшие страницы мировой лирики. Но с первых же строк выдвигает Маяковского в первый ряд поэзии революционный пафос, пронизывающий его лирические строки.

Наступает 1917 год. Со дня свержения самодержавия Маяковский встает рядом с большевиками, а когда приходит Октябрь, поэт провозглашает: «Моя революция». Спустя десять лет в поэме «Хорошо!» поэт воссоздает ее поэтическую летопись. Он сам был участником и певцом Великого Октября. Постоянной гордостью Маяковского было то, что матросы шли на Зимний с его словами:

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй!

Деятельность Маяковского в годы военного коммунизма широко известна. Вовсю гремит его грохочущий голос «агитатора, горлана, главаря». Боевые наступательные строки поэта помогают большевикам бить колчаков и деникиных, гнать из республики врангелей, махно, интервентов. Маяковский работает в «Окнах РОСТА». Сам поэт свидетельствует: «Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей».

Вдумайтесь в эти цифры, ощутите их — это поистине великий труд во имя великого дела революции. И заметьте еще одно: для Маяковского не существовало черной работы. Великолепный лирик, человек, одаренный изумительным поэтическим чутьем, он идет на плакат, на агитку, на лозунг во всеоружии своего мастерства и пишет каждую строку так, будто это лучшая строка в его жизни. Эта безоглядная отдача своего дарования стране, народу, партии всегда будет образцом для наших писателей.

Разгромом белогвардейцев и интервентов кончается гражданская война, начинается период мирного строительства. Маяковский и здесь на переднем крае событий. Славя краснозвездных героев недавних битв и передовиков труда, он хлещет сатирическим бичом все, что мешает созидательной работе. Стихотворение «Прозаседавшиеся» высоко оценивается Лениным. «...Давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной, — пишет Владимир Ильич. — В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания... Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно»¹.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 13.

Маяковский в это время вплотную подходит к тому неиссякаемому источнику, который мы теперь называем ленинской темой. Еще при жизни великого вождя трудящихся Маяковский писал: «Кто же удержится, чтоб славу нашему не воспеть Ильичу». И тогда же Ленин и партия соединяются у поэта в одно великое целое. Стихотворение «Владимир Ильич!» он заканчивает строками:

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

В поэме «Владимир Ильич Ленин» это великое двуединство приобретает чеканную формулировку:

Партия и Ленин —
близнецы-братья —
кто более
матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин,
подразумеваем —
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем — Ленин.

Поэма была задумана еще в 1923 году, а создана в следующем, 1924-м. Трагическим событием, легшим в ее основу, была смерть великого вождя трудящихся. Всенародное горе с неимоверной силой отдалось в сердце поэта, потрясло все его душевное естество и вызвало стихи бессмертной силы. Бывают свершения, которые иначе, как великими, назвать нельзя. И вот это действительно великое свершение. Воздвигнуты прекрасные памятники Ленину, но поэма Маяковского не памятник, а, скорее, высоко взметенное знамя. Огненное знамя, на котором жарким пламенем поэзии начертано: Ленин, коммунизм, партия.

Маяковский определяет свое место в ленинском строю:

Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс.

Поэма, несмотря на трагический повод к ее созданию, революционно оптимистична в главном выводе: дело Ленина — бес-

смертно. Она оказала серьезную помощь партии в политическом воспитании широких народных масс. Большую роль поэма сыграла в политическом воспитании самого Маяковского. До революции он ощущал себя поэтом людей «от копоты в оспе», угнетенных и обездоленных. В революционные годы он разворачивается в боевого пролетарского поэта. Теперь он становится поэтом коммунистической партии. Это сознание он пронесет до последнего дня своей жизни, и таким он останется в памяти народа.

Невозможно разделить Маяковского-политика и Маяковского-лирика. Образец политической поэзии, поэма «Владимир Ильич Ленин» является непревзойденным образцом лиризма. Вспомните хотя бы строку «президиум, как вырубленный, поредел» и дальнейшее описание народного горя. Вспомните поразительный рассказ о прощании с Ильичем. Вспомните, наконец, лирический пафос окончания поэмы.

Показательно и другое. Незадолго перед тем Маяковский пишет поэму «Про это». И вот в этой уже совсем наилиричнейшей вещи поэт не может и не хочет замкнуться в любовной теме.

Что мне делать,
если я
вовсю,
всей сердечной мерою,
в жизнь сию,
сей
мир
верил,
верую.

И, веря в «сей мир», Маяковский верит в его коммунистическое будущее. Ему кажется, «вот только с этой рифмой развяжись, и вбежишь по строчке в изумительную жизнь». В этой жизни, верит поэт, будет так:

Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.

Политика, насквозь пронизанная лиризмом, лирика, прочно связанная с политикой, — такова поэзия Маяковского.

В эти годы поэт много ездит по родной стране, часто бывает за рубежом. Заграничные стихи Маяковского — важнейшая часть его творческой биографии. В этих стихах он выступает как полномочный представитель советского образа жизни за рубежом. Посланец революции, он бескомпромиссен в осуждении буржуазной культуры, всего капиталистического порядка. И, глашатай ленинского интернационализма, он везде подает братскую руку рабочим и крестьянам, трудящимся всей планеты.

В заграничных стихах Маяковского звучит гордость советского человека, нигде и ни перед кем не склоняющего головы, и великим обобщением выглядят до сих пор слова поэта:

Я в восторге
 от Нью-Йорка города.
Но
 кепчонку
 не сдеру с виска.
У советских
 собственная гордость:
на буржуев
 смотрим свысока.

Десятилетний юбилей Великой Октябрьской революции Маяковский встречает поэмой «Хорошо!». Весь исторический опыт советского народа вместился в этот героический эпос. Но не только исторический опыт, а и народное чувство вобрали в себя строки поэмы.

Советский народ утверждающим словом Маяковского говорит «Хорошо!» завоеваниям Октября. Поэт полностью отождествляет себя с народом. «Моя республика», «мои депутаты», «моя милиция» — так может сказать истинный гражданин Страны Советов, каким являлся Владимир Владимирович Маяковский. И высшей самооценкой своей деятельности встают слова:

Грудью
 у витринных
 книжных груд.
Моя
 фамилия
 в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
 это
 мой труд
 вливается
 в труд
 моей республики.

У Маяковского возник замысел поэмы «Плохо». Поэму он не написал, но в пьесе «Клоп» сказал свое оглушительное «плохо» мещанству, пошлости и карьеризму, всему, что путалось в ногах у строителей нового общества. Образ Присыпкина вошел в галерею лучших сатирических образов советского театра. Маяковский не был бы Маяковским, если бы рядом с негативными явлениями и персонажами не нарисовал картины коммунистического общества, куда люди придут вопреки присыпкиным всех мастей и обличий. Воинствующий мещанин будет посажен в клетку людьми будущего, которые станут дивиться на него, как на омерзительное животное.

Прямая линия соединяет рабочих, штурмовавших Зимний, и строителей первой пятилетки. «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и людях Кузнецка» является одним из самых значительных стихотворений, созданных Маяковским на протяжении всей творческой деятельности. Рабочими, сидящими в проливной дождь «под старую телегою», владеет гордая мечта о городе-саде, который будет воздвигнут среди тайги. Апофеозом коммунистической мечты, все время претворяемой в действительность, встают завершающие строки:

Я знаю —
 город будет,
я знаю —
 саду цвести,
когда
 такие люди
в стране
 в советской
 есть!

Спустя много лет эти слова повторяли молодые строители Братской ГЭС и Набережных Челнов, это постоянный лозунг коммунистического строительства в нашей стране. Великую веру в коммунизм, которую несет в себе рабочий класс, утверждает это гениальное стихотворение.

«Стихи о советском паспорте» и начатая поэма «Во весь голос» знаменуют прижизненный итог творческой деятельности Маяковского, звучат гимном советскому патриотизму. Советской стране, Коммунистической партии. На весь мир, настоящему и будущему заявляет «во весь голос» великий поэт:

...Я подыму,
 как большевистский партбилет,
все сто томов
 моих
 партийных книжек.

Владимир Владимирович Маяковский умер в 1930 году, а поэзия его жива до сих пор и, пережив нас, шагает к людям коммунистического будущего. Жизненность стиха Маяковского в том, что он не делит понятий поэзия и действительность, литература и народ, искусство и коммунизм, но объединяет их в своем творчестве. Новаторство его поэзии — это новизна революции, новизна Советской власти, новизна коммунизма. Над страной бушевал яростный свежий ветер новой жизни, новой действительности, новой идеи. Эта свежесть искала и нашла свежие формы своего выражения в гениальной поэзии Маяковского.

Великий поэт советского народа, ленинской партии, коммунизма, Владимир Маяковский во весь свой огромный рост встает над XX веком.

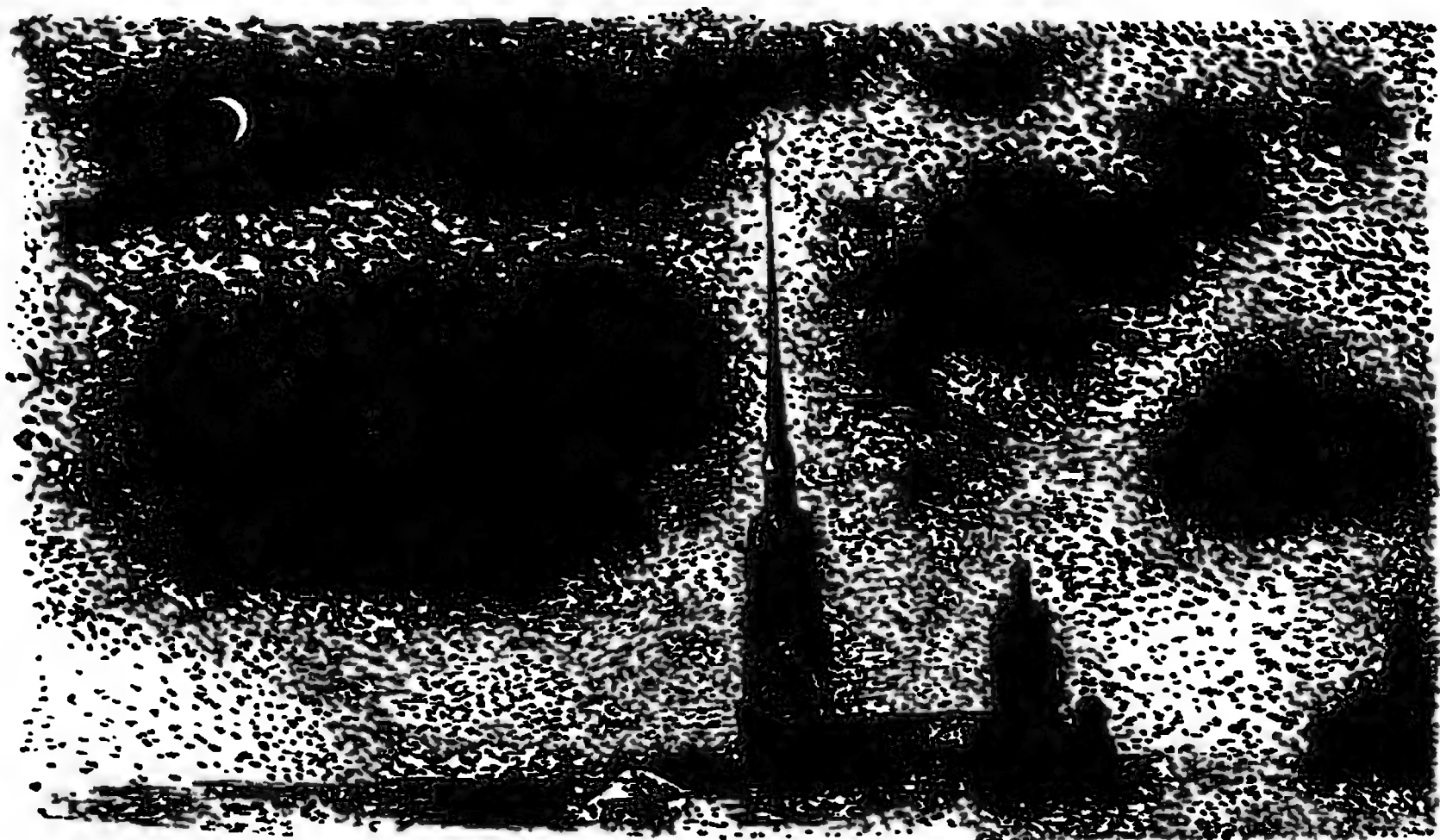
Исполненный гордости за свой народ, за свою Отчизну, мощный голос его достигает будущих веков. И мы, советские люди, повторяем сегодня вместе с великим певцом нашего ленинского строя:

Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

Сергей Наровчатов

АЛЕКСАНДР БЛОК





СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»
(1901—1902)

ВСТУПЛЕНИЕ

Отдых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота.
Дольнему стучу чужда и строга,
Ты рассыпаешь кругом жемчуга.
Терем высок, и заря замерла.
Красная тайна у входа легла.
Кто поджигал на заре терема,
Что воздвигала Царевна Сама?
Каждый конек на узорной резьбе
Красное пламя бросает к тебе.
Купол стремится в лазурную высь.
Синие окна румянцем зажглись.
Все колокольные звоны гудят.
Залит весной беззакатный наряд.

*Ты ли меня на закатах ждала?
Терем зажгла? Ворота отперла?*

28 декабря 1903

* * *

Я вышел. Медленно сходили
На землю сумерки зимы.
Минувших дней молодые были
Пришли доверчиво из тьмы...

Пришли и встали за плечами,
И пели с ветром о весне...
И тихими я шел шагами,
Провидя вечность в глубине...

О, лучших дней живые были!
Под вашу песнь из глубины
На землю сумерки сходили
И вечности вставали сны!..

25 января 1901. С.-Петербург

* * *

Ветер принес издалёка
Песни весенней намеков,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалёка
Звучные песни твои.

29 января 1901

* * *

Белой ночью месяц красный
Выплывает в синеве.
Бродит призрачно-прекрасный,
Отражается в Неве.

Мне провидится и снится
Исполнение тайных дум.
В вас ли доброе таится,
Красный месяц, тихий шум?..

22 мая 1901

* * *

Они звучат, они ликуют,
Не уставая никогда,
Они победу торжествуют,
Они блаженны навсегда.
Кто уследит в окрестном звоне,
Кто ощутит хоть краткий миг
Мой бесконечный в тайном лоне,
Мой гармонический язык?
Пусть всем чужда моя свобода,
Пусть всем я чужд в саду моем —
Звенит и буйствует природа,
Я — соучастник ей во всем!

30 мая 1901

* * *

Одиноким, к тебе прихожу,
Околдован огнями любви.
Ты гадаешь.— Меня не зови.—
Я и сам уж давно ворожу.

От тяжелого бремени лет
Я спасался одной ворожбой
И опять ворожу над тобой,
Но неясен и смутен ответ.

Ворожбой полоненные дни
Я лелею года,— не зови...
Только скоро ль погаснут огни
Заколдованной темной любви?

1 июня 1901. Шахматово

* * *

И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.

В л. С о л о в ь е в

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появление,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

4 июня 1901. Шахматово

* * *

И я, неверный, тосковал,
И в поэтическом стремленьи
И я без нуды покидал
Свои родимые селенья.

Но внятен сердцу был язык,
Неслышный уху — в отдаленьи,
И в запоздалом умиленьи
Я возвратился — и постиг.

9 июня 1901

* * *

Сегодня шла Ты одиноко,
Я не видал Твоих чудес.
Там, над горой Твоей высокой,
Зубчатый простирался лес.

И этот лес, сомкну́тый тесно,
И эти горные пути
Мешали слиться с неизвестным,
Твоей лазурью процвести.

22 июня 1901

* * *

Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
Весла и огня за рекой?

Ф е т

Сумерки, сумерки вешние,
Хладные волны у ног,
В сердце — надежды нездешние,
Волны бегут на песок.

Отзвуки, песня далекая,
Но различить — не могу.
Плачет душа одинокая
Там, на другом берегу.

Тайна ль моя совершается,
Ты ли зовешь вдалеке?
Лодка ныряет, качается,
Что-то бежит по реке.

В сердце — надежды нездешние,
Кто-то навстречу — бегу...
Отблески, сумерки вешние,
Клики на том берегу.

16 августа 1901

* * *

Встану я в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?

Настежь ворота тяжелые!
Ветром пахнуло в окно!
Песни такие веселые
Не раздавались давно!

С ними и в утро туманное
Солнце и ветер в лицо!
С ними подруга желанная
Всходит ко мне на крыльцо!

3 октября 1901

НОЧЬ НА НОВЫЙ ГОД

Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы
В мечтах таинственной игры.
Скрипнет снег — сердца займутся —
Снова тихая луна.
За воротами смеются,
Дальше — улица темна.
Дай взгляну на праздник смеха,
Вниз сойду, покрыв лицо!
Ленты красные — помеха,
Милый глянет на крыльцо...
Но туман не шелохнется,
Жду полуночной поры.
Кто-то шепчет и смеется,
И горят, горят костры...
Скрипнет снег — в морозной дали
Тихий крадущийся свет.
Чьи-то санки пробежали...
«Ваше имя?» Смех в ответ...
Вот поднялся вихорь снежный,
Побелело всё крыльцо...
И смеющийся и нежный
Закрывает мне лицо...
Лежат холодные туманы,
Бледнея, крадется луна.
Душа задумчивой Светланы
Мечтой чудесной смущена...

31 декабря 1901

* * *

Мы живем в старинной келье
У разлива вод.
Здесь весной кипит веселье
И река поет.

Но в предвестие веселий,
В день весенних бурь
К нам прольется в двери келлий
Светлая лазурь.

И полны заветной дрожью
Долгожданных лет,
Мы помчимся к бездорожью
В несказанный свет.

18 февраля 1902

* * *

Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив.
Я любил твоё белое платье,
Утонченность мечты разлюбив.

Были странны безмолвные встречи.
Впереди — на песчаной косе
Загорались вечерние свечи.
Кто-то думал о бледной красе.

Приближений, сближений, сгораний —
Не приемлет лазурная тишь...
Мы встречались в вечернем тумане,
Где у берега рябь и камыш.

Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Всё померкло, прошло, отошло...
Белый стан, голоса панихиды
И твоё золотое весло.

13 мая 1902

* * *

Я и молод, и свеж, и влюблен,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе,
Зеленею, таинственный клен,
Неизменно склоненный к тебе.
Теплый ветер пройдет по листьям —
Задрожат от молитвы стволы,
На лице, обращенном к звездам, —
Ароматные слезы хвалы.
Ты придешь под широкий шатер
В эти бледные сонные дни
Заглядеться на милый убор,
Размечтаться в зеленой тени.
Ты одна, влюблена и со мной,
Нашепчу я таинственный сон,
И до ночи — с тоскою, с тобой,
Я с тобой, зеленеющий клен.

31 июля 1902

* * *

Я вышел в ночь — узнать, понять
Далекий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот.

Дорога, под луной бела,
Казалось, наполнилась шагами.
Там только чья-то тень брела
И опустилась за холмами.

И слушал я — и услышал:
Среди дрожащих лунных пятен
Далеко, звонко конь скакал,
И легкий посвист был понятен.

Но здесь, и дальше — ровный звук,
И сердце медленно боролось,
О, как понять, откуда стук,
Откуда будет слышен голос?

И вот, слышнее звон копыт,
И белый конь ко мне несется...
И стало ясно, кто молчит
И на пустом седле смеется.

Я вышел в ночь — узнать, понять
Далекий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот.

6 сентября 1902. С.-Петербург

* * *

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.

25 октября 1902

ИЗ ЦИКЛА «РАСПУТЬЯ» (1902—1904)

С.-Петербург — Bad Nauheim — с. Шахматово

* * *

Погружался я в море клевера,
Окруженный сказками пчел.
Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел.

Призывал на битву равнинную —
Побороться с дыханьем небес.
Показал мне дорогу пустынную,
Уходящую в темный лес.

Я иду по ней косогорами
И смотрю неустанно вперед,
Впереди с невинными взорами
Мое детское сердце идет.

Пусть глаза утомятся бессонные,
Запоем, заалеем пыль...
Мне цветы и пчелы влюбленные
Рассказали не сказку — быль.

18 февраля 1903

* * *

Мне снились веселые думы,
Мне снилось, что я не один...
Под утро проснулся от шума
И треска несущихся льдин.

Я думал о сбывшемся чуде...
А там, наточив топоры,
Веселые красные люди,
Смеясь, разводили костры:

Смолили тяжелые челны...
Река, распевая, несла
И синие льдины, и волны,
И тонкий обломок весла...

Пьяна от веселого шума,
Душа небывалым полна...
Со мною — весенняя дума,
Я знаю, что Ты не одна...

11 марта 1903

* * *

Отворяются двери — там мерцанья,
И за ярким окошком — виденья.
Не знаю — и не скрою незнанья,
Но усну — и потекут сновиденья.

В тихом воздухе — тающее, знающее...
Там что-то притаилось и смеется.
Что смеется? Мое ли, вздыхающее,
Мое ли сердце радостно бьется?

Весна ли за окнами — розовая, сонная?
Или это Ясная мне улыбается?
Или только мое сердце влюбленное?
Или только кажется? Или всё узнается?

17 марта 1903

* * *

Скрипка стонет под горой.
В сонном парке вечер длинный,
Вечер длинный — Лик Невинный,
Образ девушки со мной.

Скрипки стон неутомимый
Напевает мне: «Живи...»
Образ девушки любимой —
Повесть ласковой любви.

10 июня 1903

Bad Nauheim

ФАБРИКА

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на́ спины кули.
И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

24 ноября 1903

ИЗ ЦИКЛА «РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
(1904—1908)

ОСЕННЯЯ ВОЛЯ

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.

Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.

Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распеваящий псалмы?

Нет, иду я в путь никем не званный,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печалью нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...

Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!

Июль 1905
Рогачевское шоссе

* * *

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Август 1905

* * *

Утихает светлый ветер,
Наступает серый вечер,
Ворон канул на сосну,
Тронул сонную струну.

В стороне чужой и темной
Как ты вспомнишь обо мне?
О моей любви скромной
Закручинишься ль во сне?

Пусть душа твоя мгновенна —
Над тобою неизменна
Гордость юная твоя,
Верность женская моя.

Не гони летящий мимо
Призрак легкий и простой,
Если будешь, мой любимый,
Счастлив с девушкой другой...

Ну, так с богом! Вечер близок,
Быстрый лёт касаток низок,
Надвигается гроза,
Ночь глядит в твои глаза.

21 августа 1905

СОЛЬВЕЙГ

Сергею Городецкому

Сольвейг прибегает на лыжах.

И б с е н. «Пер Гюнт»

Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне,
Улыбнулась пришедшей весне!

Жил я в бедной и темной избушке моей
Много дней, меж камней, без огней.

Но веселый, зеленый твой глаз мне блеснул —
Я топор широко размахнул!

Я смеюсь и крушу вековую сосну,
Я встречаю невесту — весну!

Пусть над новой избой
Будет свод голубой —
Полно соснам скрывать синеву!

Это небо — твое!
Это небо — мое!
Пусть недаром я гордым слыву!

Жил в лесу, как во сне,
Пел молитвы сосне,
Надо мной распростершей красу.

Ты пришла — и светло,
Зимний сон разнесло,
И весна загудела в лесу!

Слышишь звонкий топор? Видишь
радостный взор,
На тебя устремленный в упор?

Слышишь песню мою? Я крушу и пою
Про весеннюю Сольвейг мою!

Под моим топором, распевая хвалы,
Раскачнулись в лазури стволы!

Голос твой — он звончей песен старой сосны!
Сольвейг! Песня зеленой весны!

20 февраля 1906

* * *

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года.

Тютчев

Прошли года, но ты — всё та же:
Строга, прекрасна и ясна;
Лишь волосы немного глаже,
И в них сверкает седина.

А я — склонен над грудой книжной,
Высокий, сгорбленный старик, —
С одною думой непостижной
Смотрю на твой спокойный лик.

Да. Нас года не изменили.
Живем и дышим, как тогда,
И, вспоминая, сохранили
Те баснословные года...

Их светлый пепел — в длинной урне.
Наш светлый дух — в лазурной мгле.
И всё чудесней, всё лазурней —
Дышать прошедшим на земле.

30 мая 1906

РУСЬ

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь.
Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне — ты почиешь, Русь.

Русь, опоясана реками
И дебрями окружена,
С болотами и журавлями
И с мутным взором колдуна,

Где разноликие народы
Из края в край, из дола в дол
Ведут ночные хороводы
Под заревом горящих сел.

Где ведуньи с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Где буйно заметает вьюга
До крыши — утлое жилье,
И девушка на злого друга
Под снегом точит лезвее.

Где все пути и все распутья
Живой клюкой измождены,
И вихрь, свистящий в голых прутьях,
Поет преданья старины...

Так — я узнал в моей дремоте
Страны родимой нищету,
И в лоскутах ее лохмотий
Души скрываю наготу.

Тропу печальную, ночную
Я до погоста протоптал
И там, на кладбище ночуя,
Подолгу песни распевал.

И сам не понял, не измерил,
Кому я песни посвятил,
В какого бога страстно верил,
Какую девушку любил.

Живую душу укачала,
Русь, на своих просторах, ты,
И вот — она не запятнала
Первоначальной чистоты.

Дремлю — и за дремотой тайна,
И в тайне почивает Русь.
Она и в снах необычайна.
Ее одежды не коснусь.

24 сентября 1906

* * *

Так окрыленно, так напевно
Царевна пела о весне.
И я сказал: «Смотри, царевна,
Ты будешь плакать обо мне».

Но руки мне легли на плечи,
И прозвучало: «Нет. Прости.
Возьми свой меч. Готовься к сече.
Я сохраню тебя в пути.

Иди, иди, вернешься молод
И долгу верен своему.
Я сохраню мой лед и холод,
Замкнушь в хрустальном терему.

И будет радость в долгих взорах,
И тихо протекут года.
Вкруг замка будет вечный шорох,
Во рву — прозрачная вода...

Да, я готова к поздней встрече,
Навстречу руки протяну
Тебе, несущему из сечи
На острие копья — весну».

Даль опустила синий полог
Над замком, башней и тобой.
Прости, царевна. Путь мой долог.
Иду за огненной весной.

Октябрь 1906

БАЛАГАН

Ну, старая кляча, пойдем
ломать своего Шекспира!

К и н

Над черной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, побряхтывая, дроги
Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина
Еще бледней, чем лик Пьеро.
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро...

Тащитесь, траурные клячи!
Актеры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Ноябрь 1906

* * *

Когда я создавал героя,
Кремень дробя, пласты деля,
Какого вечного покоя
Была исполнена земля!
Но в зацветающей лазури
Уже боролись свет и тьма,
Уже металась в синей буре
Одежды яркая кайма...
Щит ослепительно сверкучий
Сиял в разрыве синих туч,
И светлый меч, пронзая тучи,
Разил, как неуклонный луч...
Еще не явлен лик чудесный,
Но я провижу лик — зарю,
И в очи молнии небесной
С чудесным трепетом смотрю!

3 октября 1907

* * *

Твое лицо мне так знакомо,
Как будто ты жила со мной.
В гостях, на улице и дома
Я вижу тонкий профиль твой.
Твои шаги звенят за мною,
Куда я ни войду, ты там.
Не ты ли легкою стопою
За мною ходишь по ночам?
Не ты ль проскальзываешь мимо,
Едва лишь в двери загляну,
Полувоздушна и незрима,
Подобна виденному сну?
Я часто думаю, не ты ли
Среди погоста, за гумном,
Сидела, молча, на могиле
В платочке ситцевом своем?
Я приближался — ты сидела,
Я подошел — ты отошла,
Спустилась к речке и запела...
На голос твой колокола
Откликнулись вечерним звоном...

И плакал я, и робко ждал...
Но за вечерним перезвоном
Твой милый голос затихал...
Еще мгновенье — нет ответа,
Платок мелькает за рекой...
Но знаю горестно, что где-то
Еще увидимся с тобой.

1 августа 1908

ИЗ ЦИКЛА «ГОРОД»
(1904—1908)

ПЕТР

Евг. Иванову

Он спит, пока закат румян.
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится Змей, копытом сжатый.

Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами.
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя.

Зажгутся нити фонарей,
Блеснут витрины и троттуары.
В мерцаньи тусклых площадей
Потянутся рядами пары.

Плащами всех укроет мгла,
Потонет взгляд в манящем взгляде.
Пускай невинность из угла
Протяжно молит о пощаде!

Там, на скале, веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь
Фонарь манящий облачила!

Бегите все на зов! на лов!
На перекрестки улиц лунных!
Весь город полон голосов
Мужских — крикливых, женских — струнных!

Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.

22 февраля 1904

* * *

Поднимались из тьмы погребов.
Уходили их головы в плечи.
Тихо выросли шумы шагов,
Словеса незнакомых наречий.

Скоро прибыли толпы других,
Волочили кирки и лопаты.
Расползлись по камням мостовых,
Из земли воздвигали палаты.

Встала улица, серым полна,
Заткалась паутиною пряжей.
Шелестя, прибывала волна,
Затрудняя проток экипажей.

Скоро день глубоко отступил,
В небе дальнем расставивший зори.
А незримый поток шелестил,
Проливаясь в наш город, как в море.

Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые люди!
В тех же муках рождала их мать,
Так же нежно кормила у груди...

В пелене отходящего дня
Нам была эта участь понятна...
Нам последний закат из огня
Сочетал и соткал свои пятна.

Не стерег иступленный дракон,
Не пылала под нами геенна.
Затопили нас волны времен,
И была наша участь — мгновенна.

10 сентября 1904

* * *

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в молву.

Были улицы пьяны от криков.
Были солнца в сверканьи витрин.
Красота этих женственных ликов!
Эти гордые взоры мужчин!

Это были цари — не скитальцы!
Я спросил старика у стены:
«Ты украсил их тонкие пальцы
Жемчугами несметной цены?»

Ты им дал разноцветные шубки?
Ты зажег их снопами лучей?
Ты раскрасил пунцовые губки,
Синеватые дуги бровей?»

Но старик ничего не ответил,
Отходя за толпою мечтать.
Я остался, таинственно светел,
Эту музыку блеска впивать...

А они проходили всё мимо,
Смутно каждая в сердце тая,
Чтоб навеки, ни с кем не сравнимой,
Отлететь в голубые края.

И мелькала за парюю пара...
Ждал я светлого ангела к нам,
Чтобы здесь, в ликованьи троттуара,
Он одну приобщил небесам...

А вверху — на уступе опасном,—
Тихо съезжившись, карлик приник,
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.

Декабрь 1904

* * *

Барка жизни встала
На большой мели.
Громкий крик рабочих
Слышен издали.
Песни и тревога
На пустой реке.
Входит кто-то сильный
В сером армяке.
Руль дощатый сдвинул,
Парус распустил
И багор закинул,
Грудью надавил.
Тихо повернулась
Красная корма,
Побежали мимо
Пестрые дома.
Вот они далёко,
Весело плывут.
Только нас с собою,
Верно, не возьмут!

Декабрь 1904

* * *

Я вам поведал неземное.
Я всё сковал в воздушной мгле.
В ладье — топор. В мечте — герои.
Так я причаливал к земле.

Скамья ладьи красна от крови
Моей растерзанной мечты,
Но в каждом доме, в каждом крове
Ищу отважной красоты.

Я вижу: ваши девы слепы,
У юношей безогнен взор.
Назад! Во мглу! В глухие склепы!
Вам нужен бич, а не топор!

И скоро я расстанусь с вами,
И вы увидите меня
Вон там, за дымными горами,
Летящим в облаке огня!

16 апреля 1905

* * *

Вися над городом всемирным,
В пыли прошедшей заточен,
Еще монарха в утре лирном
Самодержавный клонит сон.

И предок царственно-чугунный
Всё так же бредит на змее,
И голос черни многострунный
Еще не властен на Неве.

Уже на до́мах веют флаги,
Готовы новые птенцы,
Но тихи струи невской влаги,
И слепы темные дворцы,

И если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи,
И ни один сустав не сдавлен
Сверкнувших колец чешуи.

18 октября 1905

СЫТЫЕ

Они давно меня томили:
В разгаре девственной мечты
Они скучали, и не жили,
И мяли белые цветы.

И вот — в столовых и гостиных,
Над грудой рюмок, дам, старух,
Над скукой их обедов чинных —
Свет электрический потух.

К чему-то вносят, ставят свечи,
На лицах — желтые круги,
Шипят пергаментные речи,
С трудом шевелятся мозги.

Так — негодует всё, что сыто,
Тоскует сытость важных чрев:
Ведь опрокинуто корыто,
Встревожен их прогнивший хлев!

Теперь им выпал скудный жребий:
Их дом стоит неосвещен,
И жгут им слух мольбы о хлебе
И красный смех чужих знамен!

Пусть доживут свой век привычно —
Нам жаль их сытость разрушать.
Лишь чистым детям — неприлично
Их старой скуке подражать.

10 ноября 1905

НЕЗНАКОМКА

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины
И раздаётся женский визг,
А в небе, ко всему приученный,
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!»¹ кричат.

И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

¹ «Истина — в вине!» (лат.)

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

24 апреля 1906
Озерки

* * *

Передвечернею порою
Сходил я в сумерки с горы,
И вот передо мной — за мглою —
Черты печальные сестры.

Она идет неслышным шагом,
За нею шевелится мгла,
И по долинам, по оврагам
Вздыхают груди без числа.

«Сестра, откуда в дождь и холод
Идешь с печальной толпой,
Кого бичами выгнал голод
В могилы жизни кочевой?»

Вот подошла, остановилась
И факел подняла во мгле,
И тихим светом озарилось
Всё, что незримо на земле.

И там, в канавах придорожных,
Я, содрогаясь, разглядел
Черты мучений невозможных
И корчи ослабевших тел.

И вновь опущен факел душный,
И, улыбаясь мне, прошла —
Такой же дымной и воздушной,
Как окружающая мгла.

Но я запомнил эти лица
И тишину пустых орбит,
И обреченных вереница
Передо мной всегда стоит.

Сентябрь 1906

ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,
Но вот зловонными дворами
Пошли к проклятью и труду.

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине.

И вот пошли туда, где будем
Мы жить под низким потолком,
Где проклинали друг друга люди,
Убитые своим трудом.

Стараясь не запачкать платья,
Ты шла меж спящих на полу;
Но самый сон их был проклятье
Вон там — в заплеванном углу...

Ты обернулась, заглянула
Доверчиво в мои глаза...
И на щеке моей блеснула,
Скатилась пьяная слеза.

Нет! Счастье — праздная забота,
Ведь молодость давно прошла.
Нам скоротает век работа,
Мне — молоток, тебе — игла.

Сиди да шей, смотри в окошко,
Людей повсюду гонит труд,
А те, кому трудней немножко,
Те песни длинные поют.

Я близ тебя работать стану,
Авось ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
Топя отчаянье в вине.

Сентябрь 1906

В ОКТЯБРЕ

Открыл окно. Какая хмурая
Столица в октябре!
Забитая лошадка бурая
Гуляет на дворе.

Снежинка легкою пушинкою
Порхает на ветру,
И елка слабенькой вершинкою
Мотает на юру.

Жилось легко, жилось и молодо —
Прошла моя пора.
Вон — мальчик, посинев от холода,
Дрожит среди двора.

Всё, всё по-старому, бывалому,
И будет как всегда:
Лошадке и мальчишке малому
Не сладки холода.

Да и меня без всяких поводов
Загнали на чердак.
Никто моих не слушал доводов,
И вышел мой табак.

А всё хочу свободной волею
Свободного житья,
Хоть нет звезды счастливой более
С тех пор, как за́пил я!

Давно звезда в стакан мой канула, —
Ужели навсегда?..
И вот душа опять воспрянула:
Со мной моя звезда!

Вот, вот — в глазах плывет манящая,
Качается в окне...
И жизнь начнется настоящая,
И крылья будут мне!

И даже всё мое имущество
С собою захвачу!
Познал, познал свое могущество!..
Вот вскрикнул... и лечу!

Лечу, лечу к мальчишке малому,
Средь вихря и огня...
Всё, всё по-старому, бывалому,
Да только — без меня!

Октябрь 1906

ИЗ ЦИКЛА «СНЕЖНАЯ МАСКА»
(1907)

Посвящается Н. Н. В.

СНЕЖНОЕ ВИНО

И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах.

Я опрокинут в темных струях
И вновь вдыхаю, не любя,
Забытый сон о поцелуях,
О снежных вьюгах вокруг тебя.

И ты смеешься дивным смехом,
Змеишься в чаше золотой,
И над твоим собольим мехом
Гуляет ветер голубой.

И как, глядясь в живые струи,
Не увидеть себя в венце?
Твои не вспомнить поцелуи
На запрокинутом лице?

29 декабря 1906

ЕЕ ПЕСНИ

Не в земной темнице душевной
Я гублю.
Душу вверх ладье воздушной —
Кораблю.
Ты пойми душой послушной,
Что люблю.

Взор твой ясный к выси звездной
Обрати.
И в руке твой меч железный
Опусти.
Сердце с дрожью бесполезной
Украти.
Вихри снежные над бездной
Закрути.

Рукавом моих метелей
Задушу.
Серебром моих веселий
Оглушу.
На воздушной карусели
Закружу.
Пряжей спутанной кудели
Обовью.
Легкой брагой снежных хмелей
Напою.

4 января 1907

В УГЛУ ДИВАНА

Но в камине дозвенели
Угольки.

За окошком догорели
Огоньки.

И на вьюжном море тонут
Корабли.

И над южным морем стонут
Журавли.

Верь мне, в этом мире солнца
Больше нет.

Верь лишь мне, ночное сердце,
Я — поэт!

Я какие хочешь сказки
Расскажу,

И какие хочешь маски
Приведу.

И пройдут любые тени
При огне,

Станных очерки видений
На стене.

И любой колени склонит
Пред тобой...

И любой цветок уронит
Голубой...

9 января 1907

ОНИ ЧИТАЮТ СТИХИ

Смотри: я спутал все страницы,
Пока глаза твои цвели.
Большие крылья снежной птицы
Мой ум метелью замели.

Как странны были речи маски!
Понятны ли тебе? — Бог весть!
Ты твердо знаешь: в книгах — сказки,
А в жизни — только проза есть.

Но для меня неразделимы
С тобою — ночь, и мгла реки,
И застывающие дымы,
И рифм веселых огоньки.

Не будь и ты со мною строгой
И маской не дразни меня.
И в темной памяти не трогай
Иного — страшного — огня.

10 января 1907

ИЗ ЦИКЛА «ФАИНА»
(1906—1908)

* * *

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.

И под знойным снежным стоном
Расцвели черты твои.
Только тройка мчит со звоном
В снежно-белом забытьи.

Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля...
Душишь черными шелками,
Распахнула соболя...

И о той ли вольной воле
Ветер плачет вдоль реки,
И звенят, и гаснут в поле
Бубенцы, да огоньки?

Золотой твой пояс стянут,
Нагло скромненький дикий взор!
Пусть мгновенья все обманут,
Канут в пламенный костер!

Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!
Пусть навек не знают люди,
Как узка твоя рука!

Как за темною вуалью
Мне на миг открылась даль...
Как над белой, снежной далью
Пала темная вуаль...

Декабрь 1906

* * *

Я был смущенный и веселый.
Меня дразнил твой темный шелк.
Когда твой занавес тяжелый
Раздвинулся — театр умолк.

Живым огнем разъединило
Нас рампы светлое кольцо,
И музыка преобразила
И обожгла твоё лицо.

И вот — опять сияют свечи,
Душа одна, душа слепа...
Твои блистательные плечи,
Тобою пьяная толпа...

Звезда, ушедшая от мира,
Ты над равниной — вдалеке...
Дрожит серебряная лира
В твоей протянутой руке...

Декабрь 1906

* * *

Н. Н. В.

Я в дольний мир вошла, как в ложу.
Театр взволнованный погас.
И я одна лишь мрак тревожу
Живым огнем крылатых глаз.

Они поют из темной ложи:
«Найди. Люби. Возьми. Умчи».
И все, кто властен и ничтожен,
Опустят предо мной мечи.

И все придут, как волны в море,
Как за грозой идет гроза.
Пылайте, траурные зори,
Мои крылатые глаза!

Взор мой — факел, к высям кинут,
Словно в небо опрокинут
Кубок темного вина!

Тонкий стан мой шелком схвачен.
Темный жребий вам назначен,
Люди! Я стройна!

Я — звезда мечтаний нежных,
И в венце метелей снежных
Я плыву, скользя...
В серебре метелей кроюсь,
Ты горишь, мой узкий пояс —
Млечная стезя!

1 января 1907

* * *

Ушла. Но гиацинты ждали,
И день не разбудил окна,
И в легких складках женской шали
Цвела ночная тишина.

В косых лучах вечерней пыли,
Я знаю, ты придешь опять
Благоуханьем нильских лилий
Меня пленять и опьянять.

Мне слабость этих рук знакома,
И эта шепчущая речь,
И стройной талии истома,
И матовость покатых плеч.

Но в имени твоём — безмерность,
И рыжий сумрак глаз твоих
Таит змеиную неверность
И ночь преданий грозových.

И, миру дольнему подвластна,
Меж всех — не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена.

Войди, своей не зная воли,
И, добрая, в глаза взгляни,
И темным взором острой боли
Живое сердце полосни.

Вползи ко мне змеей ползучей,
В глухую полночь оглуши,
Устами томными замучай,
Косою черной задуши.

31 марта 1907

* * *

В этот серый летний вечер,
Возле бедного жилья,
По тебе томится ветер,
Черноокая моя!

Ты в каких степях гуляла,
Дожидалась до звезды,
Не дождавшись, обнимала
Прутья ивы у воды?

Разлюбил тебя и бросил,
Знаю — взял, чего хотел,
Бросил, вскинул пару весел,
Уплывая, не запел...

Долго ль песни заунывной
Ты над берегом ждала,
И какой реке разливной
Душу-бурю предала?

25 июня 1907

ЗАКЛЯТИЕ ОГНЕМ И МРАКОМ

За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растроченный в пустыне.

Л е р м о н т о в

1

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха — позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах темных окна,
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси!
И колодцы земных городов!
Осветленный простор поднебесий
И томления рабских трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

24 октября 1907

2

Приявший мир, как звонкий дар,
Как злата горсть, я стал богат.
Смотрю: растет, шумит пожар —
Глаза твои горят.

Как стало жутко и светло!
Весь город — яркий сноп огня,
Река — прозрачное стекло,
И только — нет меня...

Я здесь, в углу. Я там, распят.
Я пригвожден к стене — смотри!
Горят глаза твои, горят,
Как черных две зари!

Я буду здесь. Мы все сгорим:
Весь город мой, река, и я...
Крести крещеньем огненным,
О, милая моя!

26 октября 1907

3

Я неверную встретил у входа:
Уронила платок — и одна.
Никого. Только ночь и свобода.
Только жутко стоит тишина.

Говорил ей несвязные речи,
Открывал ей все тайны с людьми,
Никому не поведал о встрече,
Чтоб она прошептала: возьми...

Но она ускользающей птицей
Полетела в ненастье и мрак,
Где взвился огневой багряницей
Засыпающий праздничный флаг.

И у светлого дома, тревожно,
Я остался вдвоем с темнотой.
Невозможное было возможно,
Но возможное — было мечтой.

23 октября 1907

5

Пойми же, я спутал, я спутал
Страницы и строки стихов,
Плащом твои плечи окутал,
Остался с тобою без слов...

Пойми, в этом сумраке — магом
Стою над тобою и жду
Под бьющимся праздничным флагом,
На страже, под ветром, в бреду...

И ветер поет и пророчит
Мне в будущем — сон голубой...
Он хочет смеяться, он хочет,
Чтоб ты веселилась со мной!

И розы, осенние розы
Мне снятся на каждом шагу
Сквозь мглу, и огни, и морозы,
На белом, на легком снегу!

О будущем ветер не скажет,
Не скажет осенний цветок,
Что милая тихо развяжет
Свой шелковый, черный платок...

Что только звенящая снится
И душу палящая тень...
Что сердце — летящая птица...
Что в сердце — щемящая лень...

21 октября 1907

9

Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!

Там с посвистом да с присвистом
Гуляют до зари,
Кусточки тихим шелестом
Кивают мне: смотри.

Смотрю я — руки вскинула,
В широкий пляс пошла,
Цветами всех осыпала
И в песне изошла...

Неверная, лукавая,
Коварная — пляши!
И будь навек отравою
Растраченной души!

С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя, люблю,
Что вся ты — ночь, и вся ты — тьма,
И вся ты — во хмелю...

Что душу отняла мою,
Отравой извела,
Что о тебе, тебе пою,
И песням нет числа!..

9 ноября 1907

10

Работай, работай, работай:
Ты будешь с уродским горбом
За долгой и честной работой,
За долгим и честным трудом.

Под праздник — другим будет сладко,
Другой твои песни споет,
С другими лихая солдатка
Пойдет, подбочась, в хоровод.

Ты знай про себя, что не хуже
Другого плясал бы — вон как!
Что мог бы стянуть и потуже
Свой золотом шитый кушак!

Что ростом и станом ты вышел
Статнее и краше других,
Что та молодница — повыше
Других молодиц удалых!

В ней сила играющей крови,
Хоть смуглые щеки бледны,
Тонки ее черные брови,
И строгие речи хмельны...

Ах, сладко, как сладко, так сладко
Работать, пока рассветет,
И знать, что лихая солдатка
Ушла за село, в хоровод!

26 октября 1907

* * *

Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите всё о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту —
Что же? Разве я обижу вас?

О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я — сочинитель,
Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.

Сколько ни говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Всё же я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.

Право, я буду рад за вас,
Так как — только влюбленный
Имеет право на звание человека.

6 февраля 1908

* * *

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовней.

Она немедленно уронила на пол
Толстый том художественного журнала,
И сейчас же стало казаться,
Что в моей большой комнате
Очень мало места.

Всё это было немножко досадно
И довольно нелепо.
Впрочем, она захотела,
Чтобы я читал ей вслух «Макбёта».

Едва дойдя до *пузырей* земли,
О которых я не могу говорить без волнения,
Я заметил, что она тоже волнуется
И внимательно смотрит в окно.

Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.

Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби
И что прошли времена Паоло и Франчески.

6 февраля 1908

* * *

Я помню длительные муки:
Ночь догорала за окном;
Ее заломленные руки
Чуть брезжили в луче дневном.

Вся жизнь, ненужно изжитая,
Пытала, унижала, жгла;
А там, как призрак возрастая,
День обозначил купола;

И под окошком участились
Прохожих быстрые шаги;
И в серых лужах расходились
Под каплями дождя круги;

И утро длилось, длилось, длилось...
И праздный тяготил вопрос;
И ничего не разрешилось
Весенним ливнем бурных слез.

4 марта 1908

ИЗ ЦИКЛА «ВОЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
(1907)

Посв. Г. Чулкову

О СМЕРТИ

Всё чаще я по городу брожу.
Всё чаще вижу смерть — и улыбаюсь
Улыбкой рассудительной. Ну что же?
Так я хочу. Так свойственно мне знать,
Что и ко мне придет она в свой час.

Я проходил вдоль скачек по шоссе.
День золотой дремал на грудах щебня,
А за глухим забором — ипподром
Под солнцем зеленел. Там стебли злаков
И одуванчики, раздутые весной,
В ласкающих лучах дремали. А вдали
Трибуна придавила плоской крышей
Толпу зевак и модниц. Маленькие флаги
Пестрели там и здесь. А на заборе
Прохожие сидели и глазели.

Я шел и слышал быстрый гон коней
По грунту легкому. И быстрый топот
Копыт. Потом — внезапный крик:
«Упал! Упал!» — кричали на заборе,
И я, вскочив на маленький пенёк,
Увидел всё зараз: вдали летели
Жокеи в пестром — к тонкому столбу.
Чуть-чуть отстав от них, скакала лошадь
Без седока, взметая стремяна.
А за листвою кудрявеньких березок,
Так близко от меня — лежал жокей,
Весь в желтом, в зеленях весенних злаков,
Упавший навзничь, обратив лицо
В глубокое ласкающее небо.
Как будто век лежал, раскинув руки
И ногу подогнув. Так хорошо лежал.
К нему уже бежали люди. Издали,
Поблескивая медленными спицами, ландо
Катилось мягко. Люди подбежали
И подняли его...

И вот повисла
Беспомощная желтая нога
В обтянутой рейтузе. Завалилась
Им на плечи куда-то голова...
Ландо подъехало. К его подушкам
Так бережно и нежно приложили
Цыплячью желтизну жокея. Человек
Вскочил неловко на подножку, замер,
Поддерживая голову и ногу,
И важный кучер повернул назад.
И так же медленно вертелись спицы,
Поблескивали козла, оси, крылья...

Так хорошо и вольно умереть.
Всю жизнь скакал — с одной упорной мыслью,
Чтоб первым доскакать. И на скаку
Запнулась запыхавшаяся лошадь,
Уж силой ног не удержать седла,
И утлые взмахнулись стремяна,
И полетел, отброшенный толчком...
Ударился затылком о родную,
Весеннюю, приветливую землю,
И в этот миг — в мозгу прошли все мысли,
Единственные нужные. Прошли —
И умерли. И умерли глаза.
И труп мечтательно глядит вверх.

Так хорошо и вольно.
Однажды брел по набережной я.
Рабочие возили с барок в тачках
Дрова, кирпич и уголь. И река
Была еще синей от белой пены.
В отстегнутые ворота рубах
Глядели загорелые тела,
И светлые глаза привольной Руси
Блестели строго с почерневших лиц.
И тут же дети голыми ногами
Месили груды желтого песка,
Таскали — то кирпичик, то полено,
То бревнышко. И прятались. А там
Уже сверкали грязные их пятки,
И матери — с отвислыми грудями
Под грязным платьем — ждали их, ругались
И, надавав затрещин, отбирали
Дрова, кирпичики, бревёшки. И тащили,
Согнувшись под тяжелой ношей, вдаль.

И снова, воротясь гурьбой веселой,
Ребятки начинали воровать:
Тот — бревнышко, другой — кирпичик...

И вдруг раздался всплеск воды и крик:
«Упал! Упал!» — опять кричали с барки.
Рабочий, ручку тачки отпустив,
Показывал рукой куда-то в воду,
И пестрая толпа рубах неслась
Туда, где на траве, в камнях булыжных,
На самом берегу — лежала сотка.
Один тащил багор.

А между свай,
Забитых возле набережной в воду,
Легко покачивался человек
В рубахе и в разорванных портках.
Один схватил его. Другой помог,
И длинное растянутое тело,
С которого ручьем лилась вода,
Втащили на берег и положили.
Городовой, гремя о камни шашкой,
Зачем-то щеку приложил к груди
Намокшей и прилежно слушал,
Должно быть, сердце. Собрался народ,
И каждый вновь пришедший задавал
Одни и те же глупые вопросы:
Когда упал, да сколько пролежал
В воде, да сколько выпил?
Потом все стали тихо отходить,
И я пошел своим путем и слушал,
Как истовый, но выпивший рабочий
Авторитетно говорил другим,
Что губит каждый день людей вино.

Пойду еще бродить. Покуда солнце,
Покуда жар, покуда голова
Тупа и мысли вялы...

Сердце!
Ты будь вожатаем моим. И смерть
С улыбкой наблюдай. Само устанешь,
Не вынесешь такой веселой жизни,
Какую я веду. Такой любви
И ненависти люди не выносят,
Какую я в себе ношу.

Хочу,
Всегда хочу смотреть в глаза людские,
И пить вино, и женщин целовать,
И яростью желаний полнить вечер,
Когда жара мешает днем мечтать
И песни петь! И слушать в мире ветер!

НАД ОЗЕРОМ

С вечерним озером я разговор веду
Высоким ладом песни. В тонкой чаще
Высоких сосен, с выступов песчаных,
Из-за могил и склепов, где огни
Лампад и сумрак дымно-сизый,—
Влюбленные ему я песни шлю.

Оно меня не видит — и не надо.
Как женщина усталая, оно
Раскинулось внизу и смотрит в небо,
Туманится, и даль поит туманом,
И отняло у неба весь закат.
Все исполняют прихоти его:
Та лодка узкая, ласкающая гладь,
И тонкоствольный строй сосновой рощи,
И семафор на дальнем берегу,
В нем отразивший свой огонь зеленый,—
Как раз на самой розовой воде.
К нему ползет трехглазая змея
Своим единственным стальным путем,
И, прежде свиста, озеро доносит
Ко мне — ее ползучий, хриплый шум.
Я на уступе. Надо мной — могила
Из темного гранита. Подо мной —
Белеющая в сумерках дорожка.
И кто посмотрит снизу на меня,
Тот испугается: такой я неподвижный,
В широкой шляпе, средь ночных могил,
Скрестивший руки, стройный и влюбленный в мир.

Но некому взглянуть. Внизу идут
Влюбленные друг в друга: нет им дела
До озера, которое внизу,
И до меня, который наверху.
Им нужны человеческие вздохи,
Мне нужны вздохи сосен и воды.

А озеру — красавице — ей нужно,
Чтоб я, никем не видимый, запел
Высокий гимн о том, как ясны зори,
Как стройны сосны, как вольна душа.

Прошли все пары. Сумерки синей,
Белей туман. И девичьего платья
Я вижу складки легкие внизу.
Задумчиво прошла она дорожку
И одиноко села на ступеньки
Могилы, не заметивши меня...
Я вижу легкий профиль. Пусть не знает,
Что знаю я, о чем пришла мечтать
Тоскующая девушка... Светлеют
Все окна дальних дач: там — самовары,
И синий дым сигар, и плоский смех...
Она пришла без спутников сюда...
Наверное, наверное прогонит
Затянутого в китель офицера
С вихляющим задом и ногами,
Завернутыми в трубочки штанов!
Она глядит как будто за туманы,
За озеро, за сосны, за холмы,
Куда-то так далёко, так далёко,
Куда и я не в силах заглянуть...

О нежная! О тонкая! — И быстро
Ей мысленно приискиваю имя:
Будь Аделиной! Будь Марией! Теклой!
Да, Теклой!.. — И задумчиво глядит
В клубящийся туман... Ах, как прогонит!..
А офицер уж близко: белый китель,
Над ним усы и пуговица-нос,
И плоский блин, приплюснутый фуражкой...
Он подошел... он жмет ей руку!.. смотрят
Его гляделки в ясные глаза!..
Я даже выдвинулся из-за склепа...
И вдруг... протяжно чмокает ее,
Дает ей руку и ведет на дачу!

Я хохочу! Взбегаю вверх. Бросаю
В них шишками, песком, визжу, пляшу
Среди могил — незримый и высокий...
Кричу: «Эй, Фёкла! Фёкла!» — И они
Испуганы, сконфужены, не знают,
Откуда шишки, хохот и песок...

Он ускоряет шаг, не забывая
Вихлять проворно задом, и она,
Прижавшись крепко к кителю, почти
Бегом бежит за ним...

Эй, доброй ночи!

И, выбегая на крутой обрыв,
Я отражаюсь в озере... Мы видим
Друг друга. «Здравствуй!» — я кричу...
И голосом красавицы — леса
Прибрежные отвечают мне: «Здравствуй!»
Кричу: «Прощай!» — они кричат: «Прощай!»
Лишь озеро молчит, влача туманы,
Но явственно на нем отражены
И я, и все союзники мои:
Ночь белая, и бог, и твердь, и сосны...

И белая задумчивая ночь
Несет меня домой. И ветер свищет
В горячее лицо. Вагон летит...
И в комнате моей белеет утро.
Оно на всем: на книгах и столах,
И на постели, и на мягком кресле,
И на письме трагической актрисы:
«Я вся усталая. Я вся больная.
Цветы меня не радуют. Пишите...
Простите и сожгите этот бред...»

И томные слова... И длинный почерк,
Усталый, как ее усталый шлейф...
И томностью пылающие буквы,
Как яркий камень в черных волосах.

Шувалово

В СЕВЕРНОМ МОРЕ

Что́ сделали из берега морского
Гуляющие модницы и франты?
Наставили столов, дымят, жуют,
Пьют лимонад. Потом бредут по пляжу,
Угрюмо хохоча и заражая
Соленый воздух сплетнями. Потом
Погонщики вывозят их в кибитках,
Кокетливо закрытых парусиной,

На мелководье. Там, переменив
Забавные тальеры и мундиры
На легкие купальные костюмы
И дряблость мускулов и грудей обнажив,
Они, визжа, влезают в воду. Шарят
Неловкими ногами дно. Кричат,
Стараясь показать, что веселятся.

А там — закат из неба сотворил
Глубокий многоцветный кубок. Руки
Одна заря закинула к другой,
И сестры двух небес прядут один —
То розовый, то голубой туман.
И в море утопающая туча
В предсмертном гневe мечет из очей
То красные, то синие огни.

И с длинного, протянутого в море,
Подгнившего, сереющего мола,
Прочтя все надписи: «Навек с тобой»,
«Здесь были Коля с Катей», «Диодор
Иеромонах и послушник Иси́дор
Здесь были. Дивны божии дела», —
Прочтя все надписи, выходим в море
В пузатой и смешной моторной лодке.

Бензин пыхтит и пахнет. Два крыла
Бегут в воде за нами. Вьется быстрый след,
И, обогнув скучающих на пляже,
Рыбачьи лодки, узкий мыс, маяк,
Мы выбегаем многоцветной рябью
В просторную ласкающую соль.

На горизонте, за спиной, далёко
Безмолвным заревом стоит пожар.
Рыбачий Вольный остров распростерт
В воде, как плоская спина морского
Животного. А впереди, вдали —
Огни судов и сноп лучей бродячих
Прожектора таможенного судна.
И мы уходим в голубой туман.
Косым углом торчат над морем вежи,
Метелками фарватер оградив,
И далеко — от вежи и до вежи —
Рыбачьих шхун маячат паруса...

Над морем — штиль. Под всеи парусами
Стоит красавица — морская яхта.
На тонкой мачте — маленький фонарь,
Что камень драгоценной фероньеры,
Горит над матовым челом небес.

На острогрудой, в полной тишине,
В причудливых сплетениях снастей,
Сидят, скрестивши руки, люди в светлых
Панамах, сдвинутых на строгие черты.
А посреди, у самой мачты, молча
Стоит матрос, весь темный, и глядит.

Мы огибаем яхту, как прилично,
И вежливо и тихо говорит
Один из нас: «Хотите на буксир?»
И с важной простотой нам отвечает
Суровый голос: «Нет. Благодарю».

И, снова обогнув их, мы глядим
С молитвенной и полною душою
На тихо уходящий силуэт
Красавицы под всеми парусами...
На драгоценный камень фероньеры,
Горящий в смуглых сумерках чела.

*Сестрорецкий курорт
Июнь—июль 1907*

ИЗ ЦИКЛА «СТРАШНЫЙ МИР» (1909—1916)

К МУЗЕ

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастья есть.

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг.

Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты — и Муза, и чудо.
Для меня ты — мученье и ад.

Я не знаю, зачем на рассвете,
В час, когда уже не было сил,
Не погиб я, но лик твой заметил
И твоих утешений просил?

Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Всё проклятье своей красоты?

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любви цыганской короче
Были страшные ласки твои...

И была роковая отрада
В попираньи заветных святынь,
И безумная сердцу услада —
Эта горькая страсть, как полынь!

29 декабря 1912

* * *

Под шум и звон однообразный,
Под городскую суету
Я уйду, душою праздный,
В метель, во мрак и в пустоту.

Я обрываю нить сознанья
И забываю, что́ и как...
Кругом — снега, трамваи, зданья,
А впереди — огни и мрак.

Что, если я, замороженный,
Сознания оборвавший нить,
Вернусь домой уничиженный,—
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?

2 февраля 1909

ДВОЙНИК

Однажды в октябрьском тумане
Я брел, вспоминая напев.
(О, миг непродажных лобзаний!
О, ласки некупленных дев!)
И вот — в непроглядном тумане
Возник позабытый напев.

И стала мне молодость сниться,
И ты, как живая, и ты...
И стал я мечтой уноситься
От ветра, дождя, темноты...
(Так ранняя молодость снится.
А ты-то, вернешься ли ты?)

Вдруг вижу — из ночи туманной,
Шатаясь, подходит ко мне
Стареющий юноша (странно,
Не снился ли мне он во сне?),
Выходит из ночи туманной
И прямо подходит ко мне.

И шепчет: «Устал я шататься,
Промозглым туманом дышать,
В чужих зеркалах отражаться
И женщин чужих целовать...»
И стало мне странным казаться,
Что я его встречу опять...

Вдруг — он улыбнулся нахально, —
И нет близ меня никого...
Знаком этот образ печальный,
И где-то я видел его...
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?

Октябрь 1909

* * *

Поздней осенью из гавани
От замеченной снегом земли
В предназначенное плаванье
Идут тяжелые корабли.

В черном небе означается
Над водой подъемный кран,
И один фонарь качается
На оснеженном берегу.

И матрос, на борт не принятый,
Идет, шатаясь, сквозь буран.
Всё потеряно, всё выпито!
Довольно — больше не могу...

А берег опустелой гавани
Уж первый легкий снег занес...
В самом чистом, в самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?

14 ноября 1909

В РЕСТОРАНЕ

Никогда не забуду (он был или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе черную розу в бокале
Золотого, как небо, ай.

Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблен».

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступленно запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Но из глубы зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!...»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

19 апреля 1910

ДЕМОН

Прижмись ко мне крепче и ближе,
Не жил я — блуждал средь чужих...
О, сон мой! Я новое вижу
В бреду поцелуев твоих!

В томленьи твоём исступленном
Тоска небывалой весны
Горит мне лучом отдаленным
И тянется песней зурны.

На дымно-лиловые горы
Принес я на луч и на звук
Усталые губы и взоры
И плети изломанных рук.

И в горном закатном пожаре,
В разливах синеющих крыл,
С тобою, с мечтой о Тамаре,
Я, горный, навеки без сил...

И снится — в далеком ауле,
У склона бессмертной горы,
Тоскливо к нам в небо плеснули
Ненужные складки чадры...

Там стелется в пляске и плачет,
Пыль вьется и стонет зурна...
Пусть скачет жених — не доскачет!
Чеченская пуля верна.

19 апреля 1910

* * *

Там человек сгорел.

Ф е т

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!

10 мая 1910

АВИАТОР

Летун отпущен на свободу.
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское в воду,
Скользнул в воздушные струи.

Его винты поют, как струны...
Смотри: недрогнувший пилот
К слепому солнцу над трибуной
Стремит свой винтовой полет...

Уж в вышине недостижимой
Сияет двигателя медь...
Там, еле слышный и незримый,
Пропеллер продолжает петь...

Потом — напрасно ищет око:
На небе не найдешь следа;
В бинокле, вскинутом высоко,
Лишь воздух — ясный, как вода...

А здесь, в колеблющемся зное,
В курящейся над лугом мгле,
Ангары, люди, всё земное —
Как бы придавлено к земле...

Но снова в золотом тумане
Как будто неземной аккорд...
Он близок, миг рукоплесканий
И жалкий мировой рекорд!

Всё ниже спуск винтообразный,
Всё круче лопастей извив,
И вдруг... нелепый, безобразный
В однообразьи перерыв...

И зверь с умолкшими винтами
Повис пугающим углом...
Ищи отцветшими глазами
Опоры в воздухе... пустом!

Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга...
В сплетеньи проволок машины
Рука — мертвее рычага...

Зачем ты в небе был, отважный,
В свой первый и последний раз?
Чтоб львице светской и продажной
Поднять к тебе фиалки глаз?

Или восторг самозабвенья
Губительный изведаль ты,
Безумно возалкал паденья
И сам остановил винты?

Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?

ПЛЯСКИ СМЕРТИ

* * *

Как тяжело мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей...

Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.

Мертвец весь день трудится над докладом.
Присутствие кончается. И вот —
Нашептывает он, виляя задом,
Сенатору скабресный анекдот...

Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор...
А мертвеца — к другому безобразью
Скрежещущий несет таксомотор.

В зал многолюдный и многоколонный
Спешит мертвец. На нем — изящный фрак.
Его дарят улыбкой благосклонной
Хозяйка — дура и супруг — дурак.

Он изнемог от дня чиновной скуки,
Но лязг костей музыкой заглушён...
Он крепко жмет приятельские руки —
Живым, живым казаться должен он!

Лишь у колонны встретится очами
С подругою — она, как он, мертва,
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова:

«Усталый друг, мне странно в этом зале». —
«Усталый друг, могила холодна». —
«Уж полночь». — «Да, но вы не приглашали
На вальс NN. Она в вас влюблена...»

А там — NN уж ищет взором страстным
Его, его — с волнением в крови...
В ее лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви...

Он шепчет ей незначащие речи,
Пленительные для живых слова,
И смотрит он, как розовеют плечи,
Как на плечо склонилась голова...

И острый яд привычно-светской злости
С нездешней злостью расточает он...
«Как он умен! Как он в меня влюблен!»
В ее ушах — нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости.

19 февраля 1912

* * *

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

10 октября 1912

* * *

Вновь богатый зол и рад,
Вновь унижен бедный.
С кровель каменных громад
Смотрит месяц бледный,

Насыляет тишину,
Оттеняет крутизну
Каменных отвесов,
Черноту навесов...

Всё бы это было зря,
Если б не было царя,
Чтоб блюсти законы.

Только не ищи дворца,
Добродушного лица,
Золотой короны.

Он — с далеких пустырей
В свете редких фонарей
Появляется.

Шея скручена платком,
Под дырявым козырьком
Улыбается.

7 февраля 1914

* * *

Миры летят. Года летят. Пустая
Вселенная глядит в нас мраком глаз.
А ты, душа, усталая, глухая,
О счастья твердишь,— который раз?

Что́ счастье? Вечерние прохлады
В темнеющем саду, в лесной глуши?
Иль мрачные, порочные улады
Вина, страстей, гибели души?

Что́ счастье? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот...
Очнешься — вновь безумный, неизвестный
И за́ сердце хватающий полет...

Вздохнул, глядишь — опасность миновала...
Но в этот самый миг — опять толчок!
Запущенный куда-то, как попало,
Летит, жужжит, торопится волчок!

И, уцепясь за край скользящий, острый,
И слушая всегда жужжащий звон,—
Не сходим ли с ума мы в смене пестрой
Придуманных причин, пространств, времен...

Когда ж конец? Назойливому звуку
Не станет сил без отдыха внимать...
Как страшно всё! Как дико! — Дай мне руку,
Товарищ, друг! Забудемся опять.

2 июля 1912

* * *

Ночь без той, зовут кого
Светлым именем: *Ленора*.

Эдгар По

Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный
Решал всё тот же я — мучительный вопрос,
Когда в мой кабинет, огромный и туманный,
Вошел тот джентльмен. За ним — лохматый пес.

На кресло у огня уселся гость устало,
И пес у ног его разлегся на ковер.
Гость вежливо сказал: «Ужель еще вам мало?
Пред Гением Судьбы пора смириться, сör».

«Но в старости — возврат и юности, и жара...» —
Так начал я... но он настойчиво прервал:
«Она — всё та ж: *Линор безумного Эдгара*.
Возврата нет.— Еще? Теперь я всё сказал».

И странно: жизнь была — восторгом, бурей, адом,
А здесь — в вечерний час — с чужим наедине —
Под этим деловым, давно спокойным взглядом,
Представилась она гораздо проще мне...

Тот джентльмен ушел. Но пес со мной бессменно.
В час горький на меня уставит добрый взор,
И лапу жесткую положит на колено,
Как будто говорит: *Пора смириться, сör*.

2 ноября 1912

ИЗ ЦИКЛА «ВОЗМЕЗДИЕ»
(1908—1913)

* * *

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Передо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутись проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналогом,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

Не знаю, где приют своей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

30 декабря 1908

* * *

Когда я прозревал впервые,
Навстречу жаждущей мечте
Лучи метнулись заревые
И трубный ангел в высоте.

Но торжества не выносила
Пустынной жизни суета,
Беззубым смехом исказила
Всё, чем жива была мечта.

Замолкли ангельские трубы,
Немотствует дневная ночь.
Верни мне, жизнь, хоть смех беззубый,
Чтоб в тишине не изнемочь!

Март 1909

* * *

Кольцо существованья тесно:
Как все пути приводят в Рим,
Так нам заранее известно,
Что всё мы рабски повторим.

И мне, как всем, всё тот же жребий
Мерещится в грядущей мгле:
Опять — любить Ее на небе
И изменить ей на земле.

Июль 1909

ШАГИ КОМАНДОРА

В. А. Зоргенфрею

Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман.
Что́ теперь твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон Жуан?

Холодно и пусто в пышной спальне,
Слуги спят, и ночь глуха.
Из страны блаженной, незнакомой, дальней
Слышно пенье петуха.

Что́ изменнику блаженства звуки?
Миги жизни сочтены.
Донна Анна спит, скрестив на сердце руки,
Донна Анна видит сны...

Чьи черты жестокие застыли,
В зеркалах отражены?
Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?
Сладко ль видеть неземные сны?

Жизнь пуста, безумна и бездонна!
Выходи на битву, старый рок!
И в ответ — победно и влюбленно —
В снежной мгле поет рожок...

Пролетает, брызнув в ночь огнями,
Черный, тихий, как сова, мотор.
Тихими, тяжелыми шагами
В дом вступает Командор...

Настежь дверь. Из непомерной стужи,
Словно хриплый бой ночных часов —
Бой часов: «Ты звал меня на ужин.
Я пришел. А ты готов?..»

На вопрос жестокий нет ответа,
Нет ответа — тишина.
В пышной спальне страшно в час рассвета,
Слуги спят, и ночь бледна.

В час рассвета холодно и странно,
В час рассвета — ночь мутна.
Дева Света! Где ты, донна Анна?
Анна! Анна! — Тишина.

Только в грозном утреннем тумане
Бьют часы в последний раз:
Донна Анна в смертный час твой встанет.
Анна встанет в смертный час.

Сентябрь 1910 — 16 февраля 1912

ИЗ ЦИКЛА «ЯМБЫ»
(1907—1914)

Fecit indignatio versum.

Juven. Sat, I, 79¹

*Посвящается памяти
моей покойной сестры
Ангелины Александровны Блок*

* * *

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне,—
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

*Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!*

5 февраля 1914

* * *

Я ухо приложил к земле.
Я муки криком не нарушу.
Ты слишком хриплым стоном душу
Бессмертную томишь во мгле!
Эй, встань и загорись и жги!
Эй, подними свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!
Ты роешься, подземный крот!
Я слышу трудный, хриплый голос...

¹ Негодование рождает стих (лат.).
Ювенал. Сатиры, I, 79.

Не медли. Помни: слабый колос
Под их секирой упадет...
Как зерна, злую землю рой
И выходи на свет. И ведай:
За их случайною победой
Роится сумрак гробовой.
Лелей, пои, тай ту новь,
Пройдет весна — над этой новью,
Вспоенная твоею кровью,
Созреет новая любовь.

3 июня 1907

* * *

Тропами тайными, ночными,
При свете траурной зари,
Придут замученные ими,
Над ними встанут упыри.
Овеют призраки ночные
Их помышленья и дела,
И загниют еще живые
Их слишком сытые тела.
Их корабли в пучине водной
Не сыщут ржавых якорей,
И не успеть дочесть отходной
Тебе, пузатый иерей!
Довольных сытое обличье,
Сокройся в темные гроба!
Так нам велит *времен величье*
И *розоперстая судьба!*
Гроба, наполненные гнилью,
Свободный, сбрось с могучих плеч!
Всё, всё — да станет легкой пылью
Под солнцем, не уставшим жечь!

3 июня 1907

* * *

В голодной и больной неволе
И день не в день, и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?

Что лето, шелестят во мраке,
То выпрямляясь, то клонясь
Всю ночь под тайным ветром, злаки:
Пора цветенья началась.

Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.

15 февраля 1909

* * *

О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас
За то, что тихими стихами
Мы громко обличили вас!
Но мы — всё те же. Мы, поэты,
За вас, о вас тоскуем вновь,
Храня священную любовь,
Твердя старинные обеты...
И так же прост наш тихий храм,
Мы на стенах читаем сроки...
Так смейтесь, и не верьте нам,
И не читайте наши строки
О том, что под землей струи
Поют, о том, что бродят светы...
Но помни Тютчева заветы:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...

Январь 1911

* * *

Я — Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце — первая любовь
Жива — к единственной на свете.

Тебя, Офелию мою,
Увел далёко жизни холод,
И гибну, принц, в родном краю,
Клинком отравленным заколот.

6 февраля 1914

* * *

Так. Буря этих лет прошла.
Мужик поплелся бороздою
Сырой и черной. Надо мною
Опять звенят весны крыла...

И страшно, и легко, и больно;
Опять весна мне шепчет: *встань...*
И я целую богомольно
Ее невидимую ткань...

И сердце бьется слишком скоро,
И слишком молодеет кровь,
Когда за тучкой легкоперой
Сквозит мне первая любовь...

Забудь, забудь о страшном мире,
Взмахни крылом, лети туда...
Нет, не один я был на пире!
Нет, не забуду никогда!

14 февраля 1909

* * *

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Всё льнет туда, где унижение,
Где грязь, и мрак, и нищета.
Туда, туда, смиренней, ниже,—
Оттуда зримей мир иной...
Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?
На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне,—
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...
Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Но только — лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как боязливый крот, от света
Заройся в землю — там замри,

Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя,—
Дням настоящим молвив: *нет!*

Сентябрь 1911 — 7 февраля 1914

* * *

Земное сердце стынет вновь,
Но стужу я встречаю грудью.
Храню я к людям на безлюдьи
Неразделенную любовь.

Но за любовью — зреет гнев,
Растет презрение и желанье
Читать в глазах мужей и дев
Печать забвенья иль избранья.

Пускай зовут: *Забудь, поэт!*
Вернись в красивые уюты!
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой!
Уюта — нет. Покоя — нет.

1911 — 6 февраля 1914

* * *

В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Запомним оба,
Что встретиться судил нам бог
В час искупительный — у гроба.

Я верю: новый век взойдет
Средь всех несчастных поколений.
Недаром славит каждый род
Смертельно оскорбленный гений.

И все, как он, оскорблены
В своих сердцах, в своих певучих.
И всем — священный меч войны
Сверкает в неизбежных тучах.

Пусть день далек — у нас всё те ж
Заветы юношам и девам:
Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева — есть мятеж.

Разыгрывайте жизнь, как фант.
Сердца поэтов чутко внемлют,
В их беспокойстве — воли дремлют,
Так точно — черный бриллиант

Спит сном неведомым и странным
В очарованьи бездыханном,
Среди глубоких недр, — пока
В горах не запоеет кирка.

1910 — 6 февраля 1914

ИЗ ЦИКЛА «ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ» (1909)

Sic finit occulte sic multos decipit aetas
Sic venit ad finem quidquid in orbe manet
Heu heu praeteritum non est revocabile tempus
Heu propius tacito mors venit ipsa pede¹.

*Надпись под часами в церкви
Santa Maria Novella (Флоренция)*

РАВЕННА

Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозайк.

¹ Так незаметно многих уничтожают годы,
Так приходит к концу все сущее в мире;
Увы, увy, невозвратимо минувшее время,
Увы, торопится смерть неслышным шагом (лат.).

И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.

От медленных лобзаний влаги
Нежнее грубый свод гробниц,
Где зеленеют саркофаги
Святых монахов и цариц.

Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб черный взор блаженной Галлы,
Проснувшись, камня не прожег.

Военной брани и обиды
Забыт и стерт кровавый след,
Чтобы воскресший глас Плакиды
Не пел страстей протекших лет.

Далёко отступило море,
И розы оцепили вал,
Чтоб спящий в гробе Теодорих
О буре жизни не мечтал.

А виноградные пустыни,
Дома и люди — всё гроба.
Лишь медь торжественной латыни
Поет на плитах, как труба.

Лишь в пристальном и тихом взоре
Равеннских девушек, порой,
Печаль о невозвратном море
Проходит робкой чередой.

Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.

Май — июнь 1909

ДЕВУШКА ИЗ SPOLETO

Строен твой стан, как церковные свечи.
Взор твой — мечами пронзающий взор.
Дева, не жду ослепительной встречи —
Дай, как монаху, взойти на костер!

Счастья не требую. Ласки не надо.
Лаской ли грубой тебя оскорблю?
Лишь, как художник, смотрю за ограду,
Где ты срываешь цветы,— и люблю!

Мимо, всё мимо — ты ветром гонима —
Солнцем палима — Мария! Позволь
Взору — прозреть над тобой херувима,
Сердцу — изведать сладчайшую боль!

Тихо я в темные кудри вплетаю
Тайных стихов драгоценный алмаз.
Жадно влюбленное сердце бросаю
В темный источник сияющих глаз.

3 июня 1909

ПЕРУДЖИЯ

День полувеселый, полустрадный,
Голубая гарь от Умбрских гор.
Вдруг — минутный ливень, ветер прохладный,
За окном открытым — громкий хор.

Там — в окне, под фреской Перуджино,
Черный глаз смеется, дышит грудь:
Кто-то смуглою рукой корзину
Хочет и не смеет дотянуть...

На корзине — белая записка:
«Questa sera...¹ монастырь Франциска...»

Июнь 1909

ФЛОРЕНЦИЯ

1

Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!

¹ Сегодня вечером (итал.).

О, Bella¹, смейся над собою,
Уж не прекрасна больше ты!
Гнилой морщиной гробовою
Искажены твои черты!

Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!

Звенят в пыли велосипеды
Там, где святой монах сожжен,
Где Леонардо сумрак ведал,
Беато снился синий сон!

Ты пышных Медичей тревожишь,
Ты топчешь лилии свои,
Но воскресить себя не можешь
В пыли торговой толчеи!

Гнусавой мессы стон протяжный
И трупный запах роз в церквах —
Весь груз тоски многоэтажный —
Сгинь в очистительных веках!

Май — июнь 1909

2

Флоренция, ты ирис нежный;
По ком томился я один
Любовью длинной, безнадёжной,
Весь день в пыли твоих Кашин?

О, сладко вспомнить безнадёжность:
Мечтать и жить в твоей глуши;
Уйти в твой древний зной и в нежность
Своей стареющей души...

Но суждено нам разлучиться,
И через дальние края
Твой дымный ирис будет сниться,
Как юность ранняя моя.

Июнь 1909

¹ Прекрасная (итал.) — распространенное в Италии название Флоренции.

3

Страстью длинной, безмятежной
 Занялась душа моя,
 Ирис дымный, ирис нежный,
 Благовония струя,
 Переплыть велит все реки
 На воздушных парусах,
 Утонуть велит навеки
 В тех вечерних небесах,
 И когда предамся зною,
 Голубой вечерний зной
 В голубое голубою
 Унесет меня волной...

Июнь 1909

4

Жгут раскаленные камни
 Мой лихорадочный взгляд.
 Дымные ирисы в пламени,
 Словно сейчас улетят.
 О, безысходность печали,
 Знаю тебя наизусть!
 В черное небо Италии
 Черной душою гляжусь.

Июнь 1909

5

Окна ложные на небе черном,
 И прожектор на древнем дворце.
 Вот проходит она — вся в узорном
 И с улыбкой на смуглом лице.

А вино уж мутит мои взоры
 И по жилам огнем разлилось...
 Что мне спеть в этот вечер, синьора?
 Что мне спеть, чтоб вам сладко спалось?

Июнь 1909

Под зноем флорентийской лени
 Еще беднее чувством ты:
 Молчат церковные ступени,
 Цветут нерадостно цветы.

Так береги остаток чувства,
 Храни хоть творческую ложь:
 Лишь в легком челноке искусства
 От скуки мира уплывешь.

17 мая 1909

Голубоватым дымом
 Вечерний зной возносится,
 Долин тосканских царь...

Он мимо, мимо, мимо
 Летучей мышью бросится
 Под уличный фонарь...

И вот уже в долинах
 Несметный сонм огней,
 И вот уже в витринах
 Ответный блеск камней,
 И город скрыли горы
 В свой сумрак голубой,
 И тешатся синьоры
 Канцоной площадной.

Дымится пыльный ирис,
 И легкой пеной пенится
 Бокал Христовых Слез...

Пляши и пой на пире,
 Флоренция, изменница,
 В венке спаленных роз!..

Сведи с ума канцоной
 О преданной любви,
 И сделай ночь бессонной,
 И струны оборви,

И бей в свой бубен гулкий,
Рыдания тая!
В пустынном переулке
Скорбит душа твоя...

Август 1909

* * *

Вот девушка, едва развившись,
Еще не потупляясь, не краснея,
Непостижимо черным взглядом
Смотрит мне навстречу.
Была бы на то моя воля,
Просидел бы я всю жизнь в Сеттиньяно,
У выветрившегося камня Септимия Севе́ра.
Смотрел бы я на камни, залитые солнцем,
На красивую загорелую шею и спину
Некрасивой женщины под дрожащими тополями.

15 мая 1909
Settignano

MADONNA DA SETTIGNANO

Встретив на горном тебя перевале,
Мой прояснившийся взор
Понял тосканские дымные дали
И очертания гор.

Желтый платок твой разубран цветами —
Сонный то маковый цвет.
Смотришь большими, как небо, глазами
Бедному страннику вслед.

Дашь ли запреты забыть вековые
Вечному путнику — мне?
Страстно твердить твое имя, Мария,
Здесь, на чужой стороне?

3 июня 1909

Искусство — ноша на плечах,
 Зато как мы, поэты, ценим
 Жизнь в мимолетных мелочах!
 Как сладостно предаться лени,
 Почувствовать, как в жилах кровь
 Переливается певуче,
 Бросающую в жар любовь
 Поймать за тучкою летучей,
 И грезить, будто жизнь сама
 Встает во всем шампанском блеске,
 В мурлыкающем нежно треске
 Мигающего сiнeма!¹
 А через год — в чужой стране:
 Усталость, город неизвестный,
 Толпа,— и вновь на полотне
 Черты француженки прелестной!..

Июнь 1909
 Foligno

ИЗ ЦИКЛА «РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»
 (1908—1916)

ДРУЗЬЯМ

Молчите, проклятые струны!

А. М а й к о в

Друг другу мы тайно враждебны,
 Завистливы, глухи, чужды,
 А как бы и жить и работать,
 Не зная извечной вражды!

Что́ делать! Ведь каждый старался
 Свой собственный дом отравить,
 Все стены пропитаны ядом,
 И негде главы приклонить!

¹ Кинематограф (франц.).

Что́ делать! Изверившись в счастье,
От смеху мы сходим с ума
И, пьяные, с улицы смотрим,
Как рушатся наши дома!

Предатели в жизни и дружбе,
Пустых расточители слов,
Что́ делать! Мы путь расчищаем
Для наших далеких сынов!

Когда под забором в крапиве
Несчастные кости сгниют,
Какой-нибудь поздний историк
Напишет внушительный труд...

Вот только замучит, проклятый,
Ни в чем не повинных ребят
Годами рожденья и смерти
И ворохом скверных цитат...

Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить...

Зарыться бы в свежем бурьяне,
Забыться бы сном навсегда!
Молчите, проклятые книги!
Я вас не писал никогда!

24 июля 1908

ПОЭТЫ

За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты,— и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.

Напрасно и день светозарный вставал
Над этим печальным болотом:
Его обитатель свой день посвящал
Вину и усердным работам.

Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и пряно.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.

Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело.
И золотом каждой прохожей косы
Пленялись со знанием дела.

Разнежась, мечтали о веке златом,
Ругали издателей дружно.
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной...

Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, — хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?

Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно всё это!..

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то бог меня снегом занес,
То вьюга меня целовала!

24 июля 1908

* * *

Когда замрут отчаянье и злоба,
Нисходит сон. И крепко спим мы оба
На разных полюсах земли.

Ты обо мне, быть может, гредишь в эти
Часы. Идут часы походкою столетий,
И сны встают в земной дали.

И вижу в снах твой образ, твой прекрасный,
Каким он был до ночи злой и страстной,
Каким являлся мне. Смотри:

*Всё та же ты, какой цвела когда-то,
Там, над горой туманной и зубчатой,
В лучах немеркнувшей зари.*

1 августа 1908

* * *

Всё это было, было, было,
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

В час утра, чистый и хрустальный,
У стен Московского Кремля,
Восторг души первоначальный
Вернет ли мне моя земля?

Иль в ночь на Пасху, над Невою,
Под ветром, в стужу, в ледоход —
Старуха нищая клюкою
Мой труп спокойный шевельнет?

Иль на возлюбленной поляне
Под шелест осени седой
Мне тело в дождевом тумане
Расклюёт коршун молодой?

Иль просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях?

И в новой жизни, непохожей,
Забуду прежнюю мечту,
И буду так же помнить дождей,
Как нынче помню Калиту?

Но верю — не пройдет бесследно
Всё, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл!

Август 1909

СУСАЛЬНЫЙ АНГЕЛ

На разукрашенную елку
И на играющих детей
Сусальный ангел смотрит в щелку
Закрытых наглухо дверей.

А няня топит печку в детской,
Огонь трещит, горит светло...
Но ангел тает. Он — немецкий.
Ему не больно и тепло.

Сначала тают крылья крошки,
Головка падает назад.
Сломались сахарные ножки
И в сладкой лужице лежат...

Потом и лужица засохла.
Хозяйка ищет — нет его...
А няня старая оглохла,
Ворчит, не помнит ничего...

Ломайтесь, тайте и умрите,
Созданья хрупкие мечты,
Под ярким пламенем событий,
Под гул житейской суеты!

Так! Погибайте! Что в вас толку?
Пускай лишь раз, былым дыша,
О вас поплачет втихомолку
Шалунья девочка — душа...

25 ноября 1909

* * *

Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала́ зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.

Четыре — серых. И вопросы
Нас волновали битый час,
И загорелые матросы
Ходили важно мимо нас.

Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг — суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь.

И вновь обычным стало море,
Маяк уныло замигал,
Когда на низком семафоре
Последний отдали сигнал...

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, — и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

1911 — 6 февраля 1914
Aber'Wrach, Finistère

* * *

Благословляю всё, что было,
Я лучшей доли не искал.
О сердце, сколько ты любило!
О разум, сколько ты пылал!

Пускай и счастье и муки
Свой горький положили след,
Но в страстной буре, в долгой скуке —
Я не утратил прежний свет.

И ты, кого терзал я новым,
Прости меня. Нам быть — вдвоем.
Всё то, чего не скажешь словом,
Узнал я в облике твоём.

Глядят внимательные очи,
И сердце бьет, волнуясь, в грудь,
В холодном мраке снежной ночи
Свой верный продолжая путь.

15 января 1912

И вновь — порывы юных лет,
И взрывы сил, и крайность мнений...
Но счастья не было — и нет.
Хоть в этом больше нет сомнений!

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
Но если выйдешь цел — тогда
Ты, наконец, согласишься чуду,

И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не надо было,
Что сей несбыточной мечты
И на пол-жизни не хватило,

Что через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И всё уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь,—

И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать
О детской той мечте, о зыбкой,
Что счастьем привыкли звать!

19 июня 1912

ХУДОЖНИК

В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон.

Вот он — возник. И с холодным вниманием
Жду, чтоб понять, закрепить и убить.
И перед зорким моим ожиданием
Тянет он еле приметную нить.

С моря ли вихрь? Или сирены райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?

Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движение и свет.
Прошрое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого — нет.

И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил,—
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил — убил.

И замыкаю я в клетку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка — стальная, тяжелая,
Как золотая, в вечернем огне.
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.

Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду — и скучаю опять.

12 декабря 1913

ПЕРЕД СУДОМ

Что́ же ты потупилась в смущеньи?
Погляди, как прежде, на меня.
Вот какой ты стала — в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня!

Я и сам ведь не такой — не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной.

Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый,
Многим женщинам сужденный путь...

Но ведь я немного по-другому,
Чем иные, знаю жизнь твою,
Более, чем судьям, мне знакомо,
Как ты очутилась на краю.

Вместе ведь по краю, было время,
Нас водила пагубная страсть,
Мы хотели вместе сбросить бремя
И лететь, чтобы потом упасть.

Ты всегда мечтала, что, сгорая,
Догорим мы вместе — ты и я,
Что дано, в объятьях умирая,
Увидать блаженные края...

Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,
И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою веревкою кнута?

Не до нас ей, жизни торопливой,
И мечта права, что нам лгала.—
Всё-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?

Эта прядь — такая золотая
Разве не от старого огня? —
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!

11 октября 1915

* * *

На улице — дождик и слякоть,
Не знаешь, о чем горевать.
И скучно, и хочется плакать,
И некуда силы девать.

Глухая тоска без причины
И дум неотвязный угар.
Давай-ка наcoleм лучины,
Раздуюм себе самовар!

Авось хоть за чайным похмельем
Ворчливые речи мои
Затемят случайным весельем
Сонливые очи твои.

За верность старинному чину!
За то, чтобы жить не спеша!
Авось и распарит кручину
Хлебнувшая чаю душа!

10 декабря 1915

ИЗ ЦИКЛА «АРФЫ И СКРИПКИ»
(1908—1916)

* * *

Свирель запела на мосту,
И яблони в цвету.
И ангел поднял в высоту
Звезду зеленую одну,
И стало дивно на мосту
Смотреть в такую глубину,
В такую высоту.

Свирель поет: взошла звезда,
Пастух, гони стада...
И под мостом поет вода:
Смотри, какие быстринь,
Оставь заботы навсегда,
Такой прозрачной глубины
Не видел никогда...
Такой глубокой тишины
Не слышал никогда...

Смотри, какие быстрины,
Когда ты видел эти сны?..

22 мая 1908

* * *

И я любил. И я изведal
Безумный хмель любовных мук,
И пораженья, и победы,
И имя: *враг*; и слово: *друг*.

Их было много... Что́ я знаю?
Воспоминанья, тени сна...
Я только странно повторяю
Их золотые имена.

Их было много. Но одною
Чертой соединил их я,
Одной безумной красотой,
Чье имя: *страсть* и *жизнь* моя.

И страсти таинство свершая,
И поднимаясь над землей,
Я видел, как идет другая
На ложе страсти роковой...

И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст,
И примелькавшиеся плечи...
Нет! Мир бесстрастен, чист и пуст!

И, наполняя грудь весельем,
С вершины самых снежных скал
Я шлю лавину тем ущельям,
Где я любил и целовал!

30 марта 1908

* * *

Вл. Пясту

Май жестокий с белыми ночами!
Вечный стук в ворота: *выходи*!
Голубая дымка за плечами,
Неизвестность, гибель впереди!
Женщины с безумными очами,
С вечно смятой розой на груди! —
Пробудись! Пронзи меня мечами,
От страстей моих освободи!

Хорошо в лугу широким кругом
В хороводе пламенном пройти,
Пить вино, смеяться с милым другом
И венки узорные плести,
Раздарить цветы чужим подругам,
Страстью, грустью, счастьем изойти,—
Но достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру идти!

28 мая 1908

ТРИ ПОСЛАНИЯ

В.

1

Всё помнит о весле вздыхающем
Мое блаженное плечо...
Под этим взором убегающим
Не мог я вспомнить ни о чем...

Твои движения несмелые,
Неверный поворот руля...
И уходящий в ночи белые
Неверный призрак корабля...

И в ясном море утопающий
Печальный стан рыбачьих шхун...
И в золоте восходном тающий
Бесцельный путь, бесцельный вьюн...

28 мая 1908

2

Черный ворон в сумраке снежном,
Черный бархат на смуглых плечах.
Томный голос пением нежным
Мне поет о южных ночах.

В легком сердце — страсть и беспечность,
Словно с моря мне подан знак.
Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак.

Снежный ветер, твое дыханье,
Опьяненные губы мои...
Валентина, звезда, мечтанье!
Как поют твои соловьи...

Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нем — твоих поцелуев бред,
Темный морок цыганских песен,
Торопливый полет комет!

Февраль 1910

3

Знаю я твое льстивое имя,
Черный бархат и губы в огне,
Но стоит за плечами твоими
Иногда неизвестное мне.

И ложится упорная гневность
У меня меж бровей на челе:
Она жжет меня, черная ревность
По твоей незнакомой земле.

И, готовый на новые муки,
Вспоминаю те вьюги, снега,
Твои дикие слабые руки,
Бормотаний твоих жемчуга.

18 ноября 1910

* * *

Я пригвожден к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне всё — равно.
Вон счастье мое — на тройке
В серебристый дым унесено...

Летит на тройке, потонуло
В снегу времен, в дали веков...
И только душу захлестнуло
Серебристой мглой из-под подков...

В глухую темень искры мечет,
От искр всю ночь, всю ночь светло...
Бубенчик под дугой лепечет
О том, что счастье прошло...

И только сбруя золотая
Всю ночь видна... Всю ночь слышна...
А ты, душа... душа глухая...
Пьяным-пьяна... пьяным-пьяна...

26 октября 1908

* * *

Не затем величал я себя паладином,
Не затем ведь и ты приходила ко мне,
Чтобы только рыдать над потухшим камином,
Чтобы только плясать при умершем огне!

Или счастье вправду неверно и быстро?
Или вправду я слаб уже, болен и стар?
Нет! В золе еще бродят последние искры,
Есть огонь, чтобы вспыхнул пожар!

30 декабря 1908

* * *

Грустя и плача и смеясь,
Звенят ручки моих стихов
У ног твоих,
И каждый стих
Бежит, плетет живую вязь,
Своих не зная берегов.

Но сквозь хрустальные струи
Ты далека мне, как была...
Поют и плачут хрустали...
Как мне создать черты твои,
Чтоб ты прийти ко мне могла
Из очарованной дали?

8 декабря 1908

ЧЕРЕЗ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

К. М. С.

1

Всё та же озерная гладь,
Всё так же каплет соль с градирен.
Теперь, когда ты стар и мирен,
О чем волнуешься опять?

Иль первой страсти юный гений
Еще с душой не разлучен,
И ты навеки обручен
Той давней, незабвенной тени?

Ты позови — она придет:
Мелькнет, как прежде, профиль важный,
И голос, вкрадчиво-протяжный,
Слова бывалые шепнет.

Июнь 1909

2

В темном парке под ольхой
В час полуночи глухой

Белый лебедь от весла
Спрятал голову в крыла.

Весь я — память, весь я — слух,
Ты со мной, печальный дух,

Знаю, вижу — вот твой след,
Смытый бурей стольких лет.

В теньях траурной ольхи
Сладко дышат мне духи,

В листьях матовых шурша,
Шелестит еще душа,

Но за бурей страстных лет
Всё — как призрак, всё — как бред,

Всё, что было, всё прошло,
В прудовой туман ушло.

Июнь 1909

3

Когда мучительно восстали
Передо мной дела и дни,
И сном глубоким от печали
Забылся я в лесной тени,—

Не знал я, что в *лесу девичьем*
Проходит память прежних дней,
И, пробудясь в игре теней,
Услышал ясно в пеньи птичьим:

«Внимай страстям, и верь, и верь,
Зови их всеми голосами,
Стучись полночными часами
В блаженства замкнутую дверь!»

Июнь 1909

4

Синеокая, бог тебя создал такой.
Гений первой любви надо мной.

Встал он тихий, дождями омытый,
Запевает осой ядовитой,

Разметает он прошлого след,
Ему легкого имени нет,

Вижу снова я тонкие руки,
Снова слышу гортанные звуки,

И в глубокую глаз синеву
Погружаюсь опять наяву.

1897—1909

Bad Nauheim

5

Бывают тихие минуты:
Узор морозный на стекле;
Мечта невольно льнет к чему-то,
Скучая в комнатном тепле...

И вдруг — туман сырого сада,
Железный мост через ручей,
Вся в розах серая ограда,
И синий, синий плен очей...

О чем-то шепчущие струи,
Кружащаяся голова...
Твои, хохлушка, поцелуи,
Твои гортанные слова...

Июнь 1909

6

В тихий вечер мы встречались
(Сердце помнит эти сны).
Дерева едва венчались
Первой зеленью весны.

Ясным заревом алея,
Уводила вдоль пруда
Эта узкая аллея
В сны и тени навсегда.

Эта юность, эта нежность —
Что́ для нас она была?
Всех стихов моих мятежность
Не она ли создала?

Сердце занято мечтами,
Сердце помнит долгий срок,
Поздний вечер над прудами,
Раздушенный ваш платок.

23 марта 1910
Елагин остров

Уже померкла ясность взора,
И скрипка под смычок легла,
И злая воля дирижера
По арфам ветер пронесла...

Твой очерк страстный, очерк дымный
Сквозь сумрак ложи плыл ко мне.
И тенор пел на сцене гимны
Безумным скрипкам и весне...

Когда внезапно вздох недальний,
Домчавшись, кровь оледенил,
И кто-то бедный и печальный
Мне к сердцу руку прислонил...

Когда в гаданьи, еле зримый,
Встал предо мной, как редкий дым,
Тот призрак, тот непобедимый...
И арфы спели: *улетим.*

Март 1910

Всё, что память сберечь мне старается,
Пропадает в безумных годах,
Но горящим зигзагом взвивается
Эта повесть в ночных небесах.

Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,
Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь.

И когда в тишине моей горницы
Под лампадой томлюсь от обид,
Синий призрак умершей любовницы
Над кадилом мечтаний сквозит.

23 марта 1910

УТРО В МОСКВЕ

Упоительно встать в ранний час,
Легкий след на песке увидеть.
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя.

Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная нежность Кремля
В это утро, как прелесть твоя.

Июль 1909

* * *

Всё на земле умрет — и мать, и младость,
Жена изменит, и покинет друг.
Но ты учись вкушать иную сладость,
Глядясь в холодный и полярный круг.

Бери свой челн, плыви на дальний полюс
В стенах из льда — и тихо забывай,
Как там любили, гибли и боролись...
И забывай страстей бывалый край.

И к вздрагиваньям медленного хлада
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было здесь ей ничего не надо,
Когда оттуда ринутся лучи.

7 сентября 1909

НА СМЕРТЬ КОМИССАРЖЕВСКОЙ

Пришла порою полуночной
На крайний полюс, в мертвый край.
Не верили. Не ждали. Точно
Не таял снег, не веял май.

Не верили. А голос юный
Нам пел и плакал о весне,
Как будто ветер тронул струны
Там, в незнакомой вышине,

Как будто отступили зимы,
И буря твердь разорвала,
И струнно плачут серафимы,
Над миром расплескав крыла...

Но было тихо в нашем склепе,
И полюс — в хладном серебре.
Ушла. От всех великолепий —
Вот только: крылья на заре.

Что́ в ней рыдало? Что́ боролось?
Чего она ждала от нас?
Не знаем. Умер вешний голос,
Погасли звезды синих глаз.

Да, слепы люди, низки тучи...
И где нам ведать торжества?
Залег здесь камень бел-горючий,
Растет у ног плакун-трава...

Так спи, измученная славой,
Любовью, жизнью, клеветой...
Теперь ты с нею — с величавой,
С несбыточной твоей мечтой.

А мы — что́ мы на этой тризне?
Что́ можем знать, чему помочь?
Пускай хоть смерть понятней жизни,
Хоть погребальный факел — в ночь...

Пускай хоть в небе — Вера с нами.
Смотри сквозь тучи; там она —
Развернутое ветром знамя,
Обетованная весна.

Февраль 1910

ГОЛОСА СКРИПОК

Евг. Иванову

Из длинных трав встает луна
Щитом краснеющим героя,
И буйной музыки волна
Плеснула в море заревое.

Зачем же в ясный час торжеств
Ты злишься, мой смычок визгливый,
Врываясь в мировой оркестр
Отдельной песней торопливой?

Учись вниманью длинных трав,
Разлейся в море зорь бесцельных,
Протяжный голос свой послав
В отчизну скрипок запредельных.

Февраль 1910

* * *

Есть минуты, когда не тревожит
Роковая нас жизни гроза.
Кто-то на́ плечи руки положит,
Кто-то ясно заглянет в глаза...

И мгновенно житейское канет,
Словно в темную пропасть без дна...
И над пропастью медленно встанет
Семицветной дугой тишина...

И напев заглушенный и юный
В затаенной затронет тиши
Усыпленные жизнью струны
Напряженной, как арфа, души.

Июль 1912

СЕДОЕ УТРО

Утро туманное, утро седое...

Тургенев

Утрет. С богом! По домам!
Позвякивают колокольцы.
Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольца,
И я — который раз подряд —
Целую кольца, а не руки...
В плече, откинутаго назад, —
Задор свободы и разлуки,

Но еле видная за мглой,
За дождевою, за докучной...
И взгляд — как уголь под золой,
И голос утренний и скучный...
Нет, жизнь и счастье до утра
Я находил не в этом взгляде!
Не этот голос пел вчера
С гитарой вместе на эстраде!..
Как мальчик, шаркнула; поклон
Отвешивает... «До свиданья...»
И звякнул о браслет жетон
(Какое-то воспоминанье)...
Я молча на нее гляжу,
Сжимаю пальцы ей до боли...
Ведь нам уж не встречаться боле...
Что ж на прощанье ей скажу?..
«Прощай, возьми еще колечко.
Оденешь рученьку свою
И смуглое свое сердечко
В серебряную чешую...
Лети, как пролетала, тая,
Ночь огневая, ночь былая...
Ты, время, память притуши,
А путь снежком запороши».

29 ноября 1913

* * *

Я вижу блеск, забытый мной,
Я различаю на мгновенье
За скрипками — иное пенье,
Тот голос низкий и грудной,

Каким ответила подруга
На первую любовь мою.
Его доныне узнаю
В те дни, когда бушует вьюга,

Когда бывшее без следа
Прошло, и лишь чужие страсти
Напоминают иногда,
Напоминают мне — о счастье.

12 декабря 1913

* * *

Как день, светла, но непонятна,
Вся — явь, но — как обрывок сна,
Она приходит с речью внятной,
И вслед за ней — всегда весна.

Вот здесь садится и болтает.
Ей нравится дразнить меня
И намекать, что всякий знает
Про тайный вихрь ее огня.

Но я, не вслушиваясь строго
В ее порывистую речь,
Слежу, как ширится тревога
В сиянии глаз и в дрожи плеч.

Когда ж дойдут до сердца речи,
И опьянят ее духи,
И я влюблюсь в глаза и в плечи,
Как в вешний ветер, как в стихи,—

Сверкнет холодное запястье,
И, речь прервав, она сама
Уже твердит, что сила страсти —
Ничто пред холодом ума!..

20 февраля 1914

* * *

Превратила всё в шутку сначала,
Поняла — принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.

И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё — зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.

Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась
И, должно быть, навеки ушла...



А. Блок. «Двенадцать».
Художник А. А. Кошкин.

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое.—
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?

29 февраля 1916

* * *

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
Не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит, как цыганская песня,
Как те невозвратные дни...

Что было любимо — всё мимо, мимо,
Впереди — неизвестность пути...
Благословенно, неизгладимо,
Невозвратимо... прости!

31 августа 1914

* * *

Пусть я и жил, не любя,
Пусть я и клятвы нарушу,—
Всё ты волнуешь мне душу,
Где бы ни встретил тебя!

О, эти дальние руки!
В тусклое это житье
Очарованье свое
Вносишь ты, даже в разлуке!

И в одиноком моем
Доме, пустом и холодном,
В сне, никогда не свободном,
Снится мне брошенный дом.

Старые снятся минуты,
Старые снятся года...
Видно, уж так навсегда
Думы тобою замкнуты!

Кто бы ни звал — не хочу
На суетливую нежность
Я променять безнадежность —
И, замыкаясь, молчу.

8 октября 1915

* * *

Протекли за годами года,
И слепому и глупому мне
Лишь сегодня приснилось во сне,
Что она не любила меня никогда...

Только встречным случайным я был,
Только встречным я был на пути,
Но остыл тот младенческий пыл,
И она мне сказала: прости.

А душа моя — той же любовью полна,
И минуты с другими отравлены мне,
Та же дума — и песня одна
Мне звучала сегодня во сне...

30 сентября 1915

* * *

За горами, лесами,
За дорогами пыльными,
За холмами могильными —
Под другими цветешь небесами...

И когда забелеет гора,
Дол оденется зеленью вешнею,
Вспоминаю с печалью нездешнею
Всё бывшее мое, как вчера...

В снах печальных тебя узнаю
И сжимаю руками моими
Чародейную руку твою,
Повторяя далекое имя.

30 сентября 1915

ИЗ ЦИКЛА «КАРМЕН»

(1914)

Л. А. Д.

* * *

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет,—
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

4 марта 1914

* * *

На небе — прáзелень, и месяца осколок
Омыт, в лазури спит, и ветер, чуть дыша,
Проходит, и весна, и лед последний колок,
И в сонный входит вихрь смятенная душа...

Что́ месяца нежней, что́ зорь закатных выше?
Знай про себя, молчи, друзьям не говори:
В последнем этаже, там, под высокой крышей,
Окно, горящее не от одной зари...

24 марта 1914

* * *

Есть демон утра. Дымно-светел он,
Золотокудрый и счастливый.
Как небо, синь струящийся хитон,
Весь — перламутра переливы.

Но как ночью тьмой сквозит лазурь,
Так этот лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей — червонно-красным,
И голос — рокотом забытых бурь.

24 марта 1914

* * *

Бушует снежная весна.
Я отвожу глаза от книги...
О, страшный час, когда она,
Читая по руке Цуниги,
В глаза Хозе́ метнула взгляд!
Насмешкой засветились очи,
Блеснул зубов жемчужный ряд,
И я забыл все дни, все ночи,
И сердце захлестнула кровь,
Смывая память об отчизне...
А голос пел: *Ценою жизни*
Ты мне заплатишь за любовь!

18 марта 1914

* * *

Среди поклонников Кармен,
Спешащих пестрою толпою,
Ее зовущих за собою,
Один, как тень у серых стен
Ночной таверны Лиллас-Пастья,
Молчит и сумрачно глядит,
Не ждет, не требует участия,
Когда же бубен зазвучит
И глухо зазвенят запястья,—
Он вспоминает дни весны,
Он среди бушующих созвучий
Глядит на стан ее певучий
И видит творческие сны.

26 марта 1914

* * *

Сердитый взор бесцветных глаз.
Их гордый вызов, их презренье.
Всех линий — таянье и пенье.
Так я Вас встретил в первый раз.
В партере — ночь. Нельзя дышать.
Нагрудник черный близко, близко...
И бледное лицо... и прядь
Волос, спадающая низко...

О, не впервые странных встреч
Я испытал немую жуткость!
Но этих нервных рук и плеч
Почти пугающая чуткость...
В движеньях гордой головы
Прямые признаки досады...
(Так на людей из-за ограды
Угрюмо взглядывают львы.)
А там, под круглой лампой, там
Уже замолкла сегидилья,
И злость, и ревность, что не к Вам
Идет влюбленный Эскамильо,
Не Вы возьметесь за тесьму,
Чтобы убавить свет ненужный,
И не блеснет уж ряд жемчужный
Зубов — несчастному тому...
О, не глядеть, молчать — нет мочи,
Сказать — не надо и нельзя...
И Вы уже (звездой средь ночи),
Скользящей поступью скользя,
Идете — в поступи истома,
И песня Ваших нежных плеч
Уже до ужаса знакома,
И сердцу суждено беречь,
Как память об иной отчизне,—
Ваш образ, дорогой навек...

А там: *Уйдем, уйдем от жизни,
Уйдем от этой грустной жизни!*
Кричит погибший человек...

И март наносит мокрый снег.

25 марта 1914

* * *

Вербы — это весенняя таль,
И чего-то нам светлого жаль,
Значит — теплится где-то свеча,
И молитва моя горяча,
И целую тебя я в плеча.

Этот колос ячменный — поля,
И залиvistый крик журавля.
Это значит — мне ждать у плетня
До заката горячего дня.
Значит — ты вспоминаешь меня.

Розы — страшен мне цвет этих роз,
Это — рыжая ночь твоих кос?
Это — музыка тайных измен?
Это — сердце в плену у Кармен?

30 марта 1914

* * *

Ты — как отзвук забытого гимна
В моей черной и дикой судьбе.
О Кармен, мне печально и дивно,
Что приснился мне сон о тебе.

Вешний трепет, и лепет, и шелест,
Непробудные, дикие сны,
И твоя одичалая прелесть —
Как гитара, как бубен весны!

И проходишь ты в думах и грезах,
Как царица блаженных времен,
С головой, утопающей в розах,
Погруженная в сказочный сон.

Спишь, змеею склубясь прихотливой.
Спишь в дурмане и видишь во сне
Даль морскую и берег счастливый,
И мечту, недоступную мне.

Видишь день беззакатный и жгучий
И любимый, родимый свой край,
Синий, синий, певучий, певучий,
Неподвижно-блаженный, как рай.

В том раю тишина бездыханна,
Только в куще сплетенных ветвей
Дивный голос твой, низкий и странный
Славит бурю цыганских страстей.

28 марта 1914

* * *

О да, любовь вольна, как птица,
Да, всё равно — я твой!
Да, всё равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!

Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!

Я буду петь тебя, я небу
Твой голос передам!
Как иерей, свершу я требу
За твой огонь — звездам!

Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...

И в тихий час, ночной, как пламя,
Сверкнувшее на миг,
Блеснет мне белыми зубами
Твой неотступный лик.

Да, я томлюсь надеждой сладкой,
Что ты, в чужой стране,
Что ты, когда-нибудь, украдкой
Помыслишь обо мне...

За бурей жизни, за тревогой,
За грустью всех измен, —
Пусть эта мысль предстанет строгой,
Простой и белой, как дорога,
Как дальний путь, Кармен!

28 марта 1914

* * *

Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь.
Так вот что так влекло сквозь бездну грустных лет,
Сквозь бездну дней пустых, чье бремя не избудешь.
Вот почему я — твой поклонник и поэт!

Здесь — страшная печать отверженности женской
За прелесть дивную, — постичь ее нет сил.
Там — дикий сплав миров, где часть души вселенской
Рыдает, исходя гармонией светил.

Вот — мой восторг, мой страх в тот вечер в темном зале!
Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя!
Вот чьи глаза меня так странно провожали,
Еще не угадав, не зная... не любя!

Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе — лишь красный облак дыма,
Где что-то жжет, поет, тревожит и горит!

И в зареве его — твоя безумна младость...
Всё — музыка и свет: нет счастья, нет измен...
Мелодией одной звучат печаль и радость...
Но я люблю тебя: я сам такой, *Кармен*.

31 марта 1914

СОЛОВЬИНЫЙ САД

(1915)

1

Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине.

Донесем до железной дороги,
Сложим в кучу, — и к морю опять
Нас ведут волосатые ноги,
И осел начинает кричать.

И кричит, и трубит он, — отрадно,
Что идет налегке хоть назад.
А у самой дороги — прохладный
И тенистый раскинулся сад.

По ограде высокой и длинной
Лишних роз к нам свисают цветы.
Не смолкает напев соловьиный,
Что-то шепчут ручьи и листья.

Крик осла моего раздается
Каждый раз у садовых ворот,
А в саду кто-то тихо смеется,
И потом — отойдет и поет.

И, вникая в напев беспокойный,
Я гляжу, понукая осла,
Как на берег скалистый и знойный
Опускается синяя мгла.

2

Знойный день догорает бесследно,
Сумрак ночи ползет сквозь кусты;
И осел удивляется, бедный:
«Что, хозяин, раздумался ты?»

Или разум от зноя мутится,
Замечтался ли в сумраке я?
Только всё неотступнее снится
Жизнь другая — моя, не моя...

И чего в этой хижине тесной
Я, бедняк обездоленный, жду,
Повторяя напев неизвестный,
В соловьином звенящий саду?

Не доносятся жизни проклятья
В этот сад, обнесенный стеной,
В синем сумраке белое платье
За решеткой мелькает резной.

Каждый вечер в закатном тумане
Прохожу мимо этих ворот,
И она меня, легкая, манит
И круженьем, и пеньем зовет.

И в призывном круженьи и пеньи
Я забытое что-то ловлю,
И любить начинаю томленье,
Недоступность ограды люблю.

Отдыхает осел утомленный,
 Брошен лом на песке под скалой,
 А хозяин блуждает влюбленный
 За ночью, за знойною мглой.

И знакомый, пустой, каменистый,
 Но сегодня — таинственный путь
 Вновь приводит к ограде тенистой,
 Убегающей в синюю муть.

И томление всё безысходней,
 И идут за часами часы,
 И колючие розы сегодня
 Опустились под тягой росы.

Наказанье ли ждет, иль награда,
 Если я уклонюсь от пути?
 Как бы в дверь соловьиного сада
 Постучаться, и можно ль войти?

А уж прошлое кажется странным,
 И руке не вернуться к труду:
 Сердце знает, что гостем желанным
 Буду я в соловьином саду...

Правду сердце мое говорило,
 И ограда была не страшна,
 Не стучал я — сама отворила
 Неприступные двери она.

Вдоль прохладной дороги, меж лилий,
 Однозвучно запели ручьи,
 Сладкой песнью меня оглушили,
 Взяли душу мою соловьи.

Чуждый край незнакомого счастья
 Мне открыли объятия те,
 И звенели, спадая, запястья
 Громче, чем в моей нищей мечте.

Опьяненный вином золотистым,
Золотым опаленный огнем,
Я забыл о пути каменистом,
О товарище бедном своем.

5

Пусть укрыла от дольного горя
Утонувшая в розах стена,—
Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!

И вступившая в пенье тревога
Рокот волн до меня донесла...
Вдруг — виденье: большая дорога
И усталая поступь осла...

И во мгле благовонной и знойной
Обвиваясь горячей рукой,
Повторяет она беспокойно:
«Что́ с тобою, возлюбленный мой?»

Но, вперяясь во мглу сиротливо,
Надышаться блаженством спеша,
Отдаленного шума прилива
Уж не может не слышать душа.

6

Я проснулся на мглистом рассвете
Неизвестно которого дня.
Спит она, улыбаясь, как дети,—
Ей пригрезился сон про меня.

Как под утренним сумраком чарым
Лик, прозрачный от страсти, красив!..
По далеким и мерным ударам
Я узнал, что подходит прилив.

Я окно распахнул голубое,
И почудилось, будто возник
За далеким рычаньем прибоя
Призывающий жалобный крик.

Крик осла был протяжен и долог,
Проникал в мою душу, как стон,
И тихонько задернул я полог,
Чтоб продлить очарованный сон.

И, спускаясь по камням ограды,
Я нарушил цветов забытье.
Их шипы, точно руки из сада,
Уцепились за платье мое.

7

Путь знакомый и прежде недлинный
В это утро кремнист и тяжел.
Я вступаю на берег пустынный,
Где остался мой дом и осел.

Или я заблудился в тумане?
Или кто-нибудь шутит со мной?
Нет, я помню камней очертанье,
Тощий куст и скалу над водой...

Где же дом? — И скользящей ногою
Спотыкаюсь о брошенный лом,
Тяжкий, ржавый, под черной скалою
Затянувшийся мокрым песком...

Размахнувшись движеньем знакомым
(Или всё еще это во сне?),
Я ударил заржавленным ломом
По слоистому камню на дне...

И оттуда, где серые спруты
Покачнулись в лазурной щели,
Закарабкался краб всполохнутый
И присел на песчаной мели.

Я подвинулся, — он приподнялся,
Широко разевая клешни,
Но сейчас же с другим повстречался,
Подрались и пропали они...

А с тропинки, протоптанной мною,
Там, где хижина прежде была,
Стал спускаться рабочий с киркою,
Погоняя чужого осла.

6 января 1914—14 октября 1915

ИЗ ЦИКЛА «РОДИНА»
(1907—1916)

* * *

В густой траве пропадешь с головой.
В тихий дом войдешь, не стучась...
Обнимет рукой, оплетет косой
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь.

Вот здесь у меня — куст белых роз.
Вот здесь вчера — повилика вилась.
Где был, пропадал? что за весть принес?
Кто любит, не любит, кто гонит нас?»

Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь — тучи вдали встают,
И слушаешь песни далеких сел...

Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой — зовет и манит...
Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне» —
И опять за травой колокольчик звенит...

12 июля 1907

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

1

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.

О Русь моя! Жена моя! До боли
 Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
 Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь —
 в тоске безбрежной,
 В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
 Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
 Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
 И ханской сабли сталь...

И вечный бой! Покой нам только снится
 Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
 И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
 Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
 Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
 Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
 Несется вскачь!

7 июня 1908

2

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат...

На пути — горячий белый камень.
За рекой — поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не выиграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб не даром биться с татарвою,
За святое дело мертвым лечь!»

Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

8 июня 1908

3

В ночь, когда Мамай залег с ордою
Степи и мосты,
В темном поле были мы с Тобою,—
Разве знала Ты?

Перед Доном, темным и зловещим,
Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
В криках лебедей.

С полуночи тучей возносилась
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.

И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.

Орлий клёкот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.

И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.

И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

14 июня 1908

4

Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали...

Умчались, пропали без вести
Степных кобылиц табуны,
Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.

И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Объятый тоскою могучей,
Я рыщу на белом коне...
Встречаются вольные тучи
Во мглистой ночной вышине.

Вздываются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...

«Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!»
Вздывается конская грива...
За ветром зывают мечи...

31 июля 1908

5

И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло.

В л. С о л о в ь е в

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла.

За тишиною непробудной,
За разливающейся мглой
Не слышно грома битвы чудной,
Не видно молнии боевой.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьем станом, как бывало,
И плеск, и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал.— Молись!

23 декабря 1908

РОССИЯ

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской осторожной
Глухая песня ямщика!..

18 октября 1908

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Идем по жнивью не спеша,
С тобою, друг мой скромный,
И изливается душа,
Как в сельской церкви темной.

Осенний день высок и тих,
Лишь слышно — ворон глухо
Зовет товарищей своих,
Да кашляет старуха.

Овин расстелет низкий дым,
И долго под овином
Мы взором пристальным следим
За летом журавлиным...

Летят, летят косым углом,
Вожак звенит и плачет...
О чем звенит, о чем, о чем?
Что́ плач осенний значит?

И низких нищих деревень
Не счесть, не смерить оком,
И светит в потемневший день
Костер в лугу далеком...

О, нищая моя страна,
Что́ ты для сердца значишь?
О, бедная моя жена,
О чем ты горько плачешь?

1 января 1909

* * *

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что́ там услышишь из песен твоих?
Чуть начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых...

Лодки да грады по рекам рубила ты,
Но до Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь выпустила ты —
Кинулась из степи черная мгла...

За́ море Черное, за́ море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Что́ же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

28 февраля 1910

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Марии Павловне Ивановой

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною
На шум и свист за ближним лесом.
Всю обойдя платформу длинную,
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих —
Нежней румянец, круче локон:
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами
И обводили ровным взглядом
Платформу, сад с кустами блёклыми,
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною
Облокотясь на бархат алый,
Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул — и поезд в даль умчало.

Так мчалась юность бесполезная,
В пустых мечтах изнемогая...
Тоска дорожная, железная
Свистела, сердце разрывая...

Да что — давно уж сердце вынуто!
Так много отдано поклонов,
Так много жадных взоров кинуто
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей — довольно:
Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — всё больно.

14 июня 1910

* * *

Там неба осветленный край
Средь дымных пятен.
Там разговор гусиных стай
Так внятн.

Свободен, весел и силен,
В дали любимой
Я слышу непомерный звон
Неуследимый.

Там осень сумрачным пером
Широко реет,
Там старый лес под топором
Редет.

Сентябрь 1910

* * *

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,
Не дыша.

Снится — снова я мальчик и снова любовник,
И овраг, и бурьян,
И в бурьяне — колючий шиповник,
И вечерний туман.

Сквозь цветы, и листья, и колючие ветки, я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое,
Глянет небо опять, розовея от краю до краю,
И окошко твое.

Этот голос — он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.

2 мая 1912

СНЫ

И пора уснуть, да жалко,
Не хочу уснуть!
Конь качается качалка,
На коня б скакнуть!

Луч лампадки, как в тумане,
Раз-два, раз-два, раз!..
Идет конница... а няня
Тянет свой рассказ...

Внемлю сказке древней, древней
О богатырях,
О заморской, о царевне,
О царевне... ах...

Раз-два, раз-два! Конник в латах
Трогает коня
И манит и мчит куда-то
За собой меня...

За моря, за океаны
Он манит и мчит,
В дымно-синие туманы,
Где царевна спит...

Спит в хрустальной, спит в кроватке
Долгих сто ночей,
И зеленый свет лампадки
Светит в очи ей...

Под парчами, под лучами
Слышно ей сквозь сны,
Как звенят и бьют мечами
О хрусталь стены...

С кем там бьется конник гневный,
Бьется семь ночей?
На седьмую — над царевной
Светлый круг лучей...

И сквозь дремные покровы
Стелятся лучи,
О тюремные засовы
Звякают ключи...

Сладко дремлет в кроватке.
Дремлешь? — Внемлю... сплю.
Луч зеленый, луч лампадки,
Я тебя люблю!

Октябрь 1912

НОВАЯ АМЕРИКА

Праздник радостный, праздник великий,
Да звезда из-за туч не видна...
Ты стоишь под метелицей дикой,
Роковая, родная страна.

За снегами, лесами, степями
Твоего мне не видно лица.
Только ль страшный простор пред очами,
Непонятная ширь без конца?

Утопая в глубоком сугробе,
Я на утлые санки сажусь.
Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!

Там прикинешься ты богомольной,
Там старушкой прикинешься ты,
Глас молитвенный, звон колокольный,
За крестами — кресты да кресты...

Только ладан твой синий и росный
Просквозит мне порою иным...
Нет, не старческий лик и не постный
Под московским платочком цветным!

Сквозь земные поклоны да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи —
Шепотливые, тихие речи,
Запылавшие щеки твои...

Дальше, дальше... И ветер рванулся,
Черноземным летя пустырем...
Куст дорожный по ветру метнулся,
Словно дьякон взмахнул орарем...

А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды в далекой дали...

Иль опять это — стан половецкий
И татарская буйная крепь?
Не пожаром ли фески турецкой
Забуянила дикая степь?

Нет, не видно там княжьего стяга,
Не шеломами черпают Дон,
И прекрасная внучка варяга
Не клянет половецкий полон...

Нет, не вьются там по ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Путь степной — без конца, без исхода,
Степь, да ветер, да ветер, — и вдруг
Многоярусный корпус завода,
Города из рабочих лачуг...

На пустынном просторе, на диком
Ты всё та, что была, и не та,
Новым ты обернулась мне ликом,
И другая волнует мечта...

Черный уголь — подземный мессия,
Черный уголь — здесь царь и жених,
Но не страшен, невеста, Россия,
Голос каменных песен твоих!

Уголь стонет, и соль забелелась,
И железная воет руда...
То над степью пустой загорелась
Мне Америки новой звезда!

12 декабря 1913

* * *

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизнью цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.

И, садясь, запевали *Варяга* одни,
А другие — не в лад — *Ермака*,
И кричали *ура*, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под черною тучей веселый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

И военной славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца.
Громыханье колес и охрипший свисток
Заглушило *ура* без конца.

Уж последние скрылись во мгле буфера,
И сошла тишина до утра,
А с дождливых полей всё несло к нам *ура*,
В грозном клике звучало: *пора!*

Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль.
Это — ясная, твердая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость — ее заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.
Грусть — ее застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...

1 сентября 1914

* * *

Э. Н. Гиппиус

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть.

Есть немота — то гул набата
Заставил заградить уста.
В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота.

И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье, —
Те, кто достойней, боже, боже,
Да узрят царствие твое!

8 сентября 1914

* * *

Дикий ветер
Стекла гнет,
Савни с петель
Буйно рвет.

Час заутрени пасхальной,
Звон далекий, звон печальный,
Глухота и чернота.
Только ветер, гость нахальный,
Потрясает ворота.

За окном черно и пусто,
Ночь полна шагов и хруста,
Там река ломает лед,
Там меня невеста ждет...

Как мне скинуть злую дрему,
Как мне гостя отогнать?
Как мне милую — чужому,
Проклятому не отдать?

Как не бросить всё на свете,
Не отчаяться во всем,
Если в гости ходит ветер,
Только дикий черный ветер,
Сотрясающий мой дом?

Что ж ты, ветер,
Стекла гнешь?
Ставни с петель
Дико рвешь?

22 марта 1916

КОРШУН

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг.—
В избушке мать над сыном тужит:
«На́ хлеба, на́, на́ грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.—
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

22 марта 1916

ИЗ ЦИКЛА «О ЧЕМ ПОЕТ ВЕТЕР»

(1913)

* * *

Мы забыты, одни на земле.
Посидим же тихонько в тепле.

В этом комнатном, теплом углу
Поглядим на октябрьскую мглу.

За окном, как тогда, огоньки.
Милый друг, мы с тобой старики.

Всё, что было и бурь и невзгод,
Позади. Что ж ты смотришь вперед?

Смотришь, точно ты хочешь прочесть
Там какую-то новую весть?

Точно ангела бурного ждешь?
Всё прошло. Ничего не вернешь.

Только стены, да книги, да дни.
Милый друг мой, привычны они.

Ничего я не жду, не ропщу,
Ни о чем, что прошло, не грущу.

Только вот принялась ты опять
Светлый бисер на нитки низать,

Как когда-то, ты помнишь, тогда...
О, какие то были года!

Но, когда ты моложе была,
И шелка ты поярче брала,

И ходила рука побыстрей...
Так возьми ж и теперь попестрей,

Чтобы шелк, что вдеваешь в иглу,
Побеждал пестротой эту мглу.

19 октября 1913

* * *

Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!

Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют...
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут!

За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл...
Бьет меня светящими очами
Ангел бури — Азраил!

Октябрь 1913

ВОЗМЕЗДИЕ

Юность — это возмездие.

Ибсен

НАРОД И ПОЭТ

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминуемый,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, поймешь, где тьма.
Пускай же всё пройдет неспешно,
Что в мире свято, что в нем грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума.
Так Зигфрид правит меч над горном:
То в красный уголь обратит,
То быстро в воду погрузит —

И зашипит, и станет черным
Любимцу вверенный клинок...
Удар — он блещет, Нотунг верный,
И Миме, карлик лицемерный,
В смятеньи падает у ног!

Кто меч скует? — Не знавший страха.
А я беспомощен и слаб,
Как все, как вы, — лишь умный раб,
Из глины созданный и праха, —
И мир — он страшен для меня,
Герой уж не разит свободно, —
Его рука — в руке народной,
Стоит над миром столб огня,
И в каждом сердце, в мысли каждой —
Свой произвол и свой закон...
Над всей Европою дракон,
Разинув пасть, томится жаждой...
Кто нанесет ему удар?..
Не ведаем: над нашим станом,
Как встарь, повита даль туманом,
И пахнет гарью. Там — пожар.

Но песня — песнью всё пребудет,
В толпе всё кто-нибудь поет.
Вот — голову его на блюде
Царю плясунья подает;
Там — он на эшафоте черном
Слагает голову свою;
Здесь — именем клеймят позорным
Его стихи... И я пою, —
Но не за вами суд последний,
Не вам замкнуть мои уста!
Пусть церковь темная пуста,
Пусть пастырь спит; я до обедни
Пройду росистую межу,
Ключ ржавый поверну в затворе
И в алом от зари притворе
Свою обедню отслужу.

Ты, поразившая Денницу,
Благослови на здешний путь!
Позволь хоть малую страницу
Из книги жизни повернуть.
Дай мне неспешно и нелживо
Поведать пред Лицом Твоим

О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом — юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа,
Сыны отражены в отцах:
Коротенький обрывок рода —
Два-три звена, — и уж ясны
Заветы темной старины;
Созрела новая порода, —
Угль превращается в алмаз.
Он, под киркой трудолюбивой,
Восстав из недр неторопливо,
Предстанет — миру напоказ!
Так бей, не знай отдохновенья,
Пусть жила жизни глубока:
Алмаз горит издалека —
Дроби, мой гневный ямб, камня!

2 марта 1911

ДВА ВЕКА

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий
Бескровных душ и слабых тел!
С тобой пришли чуме на смену
Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций,
И малодейственных умов,
И дарований половинных
(Так справедливей — пополам!),
Век не салонов, а гостиных,
Не Рекамье, — а просто дам...
Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства

Здесь зрели темные дела...
А человек? — Он жил безвольно:
Не он — машины, города,
«Жизнь» так бескровно и безбольно
Пытала дух, как никогда...
Но тот, кто двигал, управляя
Марионетками всех стран,—
Тот знал, что делал, насылая
Гуманистический туман:
Там, в сером и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И ангел сам священной брани,
Казалось, отлетел от нас:
Там — распри кровные решают
Дипломатическим умом,
Там — пушки новые мешают
Сойтись лицом к лицу с врагом,
Там — вместо храбрости — нахальство,
А вместо подвигов — «психоз»,
И вечно ссорится начальство,
И длинный громоздкий обоз
Воло́чит за собой команда,
Штаб, интендантов, грязь кланя,
Рожком горниста — рог Роланда
И шлем — фуражкой заменя...
Тот век немало проклинали
И не устанут проклинять.
И как избыть его печали?
Он мягко стлал — да жестко спать...

Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рев машины,
Кующей гибель день и ночь,
Сознание страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер,
И первый взлет аэроплана
В пустыню неизвестных сфер...



А. Блок. «Двенадцать».
Художник А. А. Кошкин.

И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть, и ненависть к отчизне...
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...
Что ж, человек? — За ревом стали,
В огне, в пороховом дыму,
Какие огненные дали
Открылись взору твоему?
Как день твой величав и пышен,
Как светел твой чертог, жених!
Нет, то не рог Роланда слышен,
То звук громовый труб иных!
Так, очевидно, не случайно
В сомненьях закалял ты дух,
Участник дней необычайных!
Открой твой взор, отверзи слух,
И причастись от жизни смысла,
И жизни смысл благослови,
Чтоб в тайные проникнуть числа
И храм воздвигнуть — на крови.

Сентябрь 1911

[ВСТУПЛЕНИЕ ВО ВТОРУЮ ГЛАВУ]

1

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно, —
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти...

Но и под игом темных чар
Ланиты красил ей загар:
И у волшебника во власти
Она казалась полной сил,
Которые рукой железной
Зажаты в узел бесполезный...
Колдун одной рукой кадил,
И струйкой синей и кудрявой
Курился росный ладан... Но —
Он клал другой рукой костлявой
Живые души под сукно.

2

В те незапамятные годы
Был Петербург еще грозней,
Хоть не тяжеле, не серей
Под крепостью катила воды
Необозримая Нева...
Штык свётил, плакали куранты,
И те же барыни и франты
Летели здесь на острова,
И так же конь чуть слышным смехом
Коню навстречу отвечал,
И черный ус, мешаясь с мехом,
Глаза и губы щекотал...
Я помню, так и я, бывало,
Летал с тобой, забыв весь свет,
Но... право, проку в этом нет,
Мой друг, и счастья в этом мало...

3

Востока страшная заря
В те годы чуть еще алела...
Чернь петербургская глазела
Подобострастно на царя...
Народ толпился в самом деле,
В медалях кучер у дверей
Тяжелых горячил коней,
Городовые на панели
Сгоняли публику... «Ура»
Заводит кто-то голосистый,

И царь — огромный, водянистый —
С семейством едет со двора...
Весна, но солнце светит глупо,
До Пасхи — целых семь недель,
А с крыш холодная капель
Уже за воротник мой тупо
Сползает, спину холодя...
Куда ни повернись, всё ветер...
«Как тошно жить на белом свете», —
Бормочешь, лужу обходя;
Собака по́д ноги суется,
Калоши сыщика блестят,
Вонь кислая с дворов несется,
И «князь» орет: «Халат, халат!»
И встретившись лицом с прохожим,
Ему бы в рожу наплевал,
Когда б желания того же
В его глазах не прочитал...

4

Но перед майскими ночами
Весь город погружался в сон,
И расширялся небосклон;
Огромный месяц за плечами
Таинственно румянил лик
Перед зарей необозримой...
О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?..
Ты помнишь: выйдя ночью белой
Туда, где в море сфинкс глядит,
И на обтесанный гранит
Склонясь головой отяжелелой,
Ты слышать мог: вдали, вдали,
Как будто с моря, звук тревожный,
Для божьей тверди невозможный
И необычный для земли...
Провидел ты всю даль, как ангел
На шпигеле крепостном; и вот —
(Сон или явь): чудесный флот,
Широко развернувший фланги,
Внезапно заградил Неву...
И Сам Державный Основатель
Стоит на головном фрегате...
Так снилось многим наяву...

Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?..
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...
Да и народу не бывало
На площади в сей дивный миг
(Один любовник запоздалый
Спешил, поднявши воротник...).
Но в алых струйках за кормами
Уже грядущий день сиял,
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл,
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя Девятым января...

Март 1911

* * *

Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Всё, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой
И тяжелит ресницы иней,—
Тогда — остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днем ты не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушённым садом,
И небо — книгу между книг;
Найдешь в душе опустошенной
Вновь образ матери склоненный,
И в этот несравненный миг —
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь —
Всё вспыхнет в сердце благодарном,

Ты всё благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем quantum satis¹ Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда.

Январь 1911

ДВЕНАДЦАТЬ

1

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжело,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...
Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

¹ Полная мера (лат.).

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия! —
Должно быть, писатель —
Вития...

А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что́ нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как бывало
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?..

Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Ужь мы плакали, плакали...—
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол, и рад.
Кру́тит подолы,
Прохожих ко́сит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на́ ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...

Хлеба!
Что впереди?
Проходи!

Черное, черное небо.

Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...

Товарищ! Гляди
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

— А Ванька с Катькой — в кабаке...
— У ей керёнки есть в чулке!

- Ванюшка сам теперь богат...
- Был Ванька наш, а стал солдат!
- Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катка с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..

Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

Снег крутит, лихач кричит,
 Ванька с Катькою летит —
 Электрический фонарик
 На оглобелях...
 Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
 С физиономией дурацкой
 Крутит, крутит черный ус,
 Да покручивает,
 Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
 Вот так Ванька — он речист!
 Катьку-дуру обнимает,
 Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
 Зубки блещут жемчугом...
 Ах ты, Катя, моя Катя,
 Толстоморденькая...

У тебя на шее, Катя,
 Шрам не зажил от ножа.
 У тебя под грудью, Катя,
 Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!
 Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила —
 Походи-ка, походи!
 С офицерами блудила —
 Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
 Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
 Не ушел он от ножа...
 Аль не вспомнила, холера?
 Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!
Будет легче для души!

6

...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзади забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Вводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
· · · · ·
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправляюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, пададь, на снегу!

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шее —
Не оправиться никак...

— Что́, товарищ, ты не весел?
— Что́, дружок, оторопел?
— Что́, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?
— Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
— Поддержи свою осанку!
— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!
Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!

Ужь я времячко
Проведу, проведу...

Ужь я темячко
Почешу, почешу..

Ужь я семячки
Полущу, полущу..

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...

Скучно!

9

Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городского —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жметесь шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга!
За четыре за шага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

— Ох, пурга какая, спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революционный!
Близок враг неугомонный!

Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

11

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.

Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Вперед, вперед,
Рабочий народ!

12

...Вдаль идут державным шагом...
— Кто еще там? Выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный.
— Кто в сугробе — выходи!..
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком щекекочу!
Старый мир, как пес паршивый,
Провались — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —
Хвост поджал — не отстает —
Пес холодный — пес безродный...
— Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?
— Приглядишь-ка, эка тьма!
— Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

— Всё равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
— Эй, товарищ, будет худо,
Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.

Январь 1918

СКИФЫ

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Владимир Соловьев

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома́ лавины,
И дикой сказкой был для вас провал
И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Мы помним всё — парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рош далекий аромат,
И Кельна дымные громады...

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем — братья!

А если нет, — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинять
Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами,
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами.

Не сдвинемся, когда свирепый гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

30 января 1918

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

ПУШКИНСКОМУ ДОМУ

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

Это — древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижимом скакуне.

Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.

Что́ за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

11 февраля 1921

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

БАЙРОН

ИЗ ДНЕВНИКА В КЕФАЛОНИИ

Встревожен мертвых сон — могу ли спать?
Тираны давят мир — я ль уступлю?
Созрела жатва — мне ли медлить жать?
На ложе — колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце...

4 января 1906

ПЕСНЬ К СУЛИОТАМ

Дети Сули! Киньтесь в битву,
Долг творите, как молитву!
Через рвы, через ворота:
Бауа! Бауа! Сулиоты!
Есть красотки, есть добыча,
В бой! Творите свой обычай!

Знамя вылазки святое,
Разметавшей вражьи строи,
Ваших гор родимых знамя,
Знамя ваших жен над нами,
В бой, на приступ, стратиоты,
Бауа! Бауа! Сулиоты!

Плуг наш — меч: так дайте клятву
Здесь собрать златую жатву;
Там, где брешь в стене пробита,
Там врагов богатство скрыто:
Есть добыча — слава с нами,—
Так вперед, на спор с громами!

4 января 1906

ГЕЙНЕ

* * *

Не знаю, что́ значит такое,
Что скорбью я смущен;
Давно не дает покою
Мне сказка старых времен.

Прохладой сумерки веют,
И Рейна тих простор;
В вечерних лучах алеют
Вершины дальних гор.

Над страшной высотой
Девушка дивной красы
Одеждой горит золотою,
Играет златом косы.

Золотым убирает гребнем
И песню поет она;
В ее чудесном пеньи
Тревога затаена.

Пловца на лодочке малой
Дикой тоской полонит;
Забывая подводные скалы,
Он только наверх глядит.

Пловец и лодочка, знаю,
Погибнут среди зыбей;
Так и всякий погибает
От песен Лорелей.

Январь 1909

АВЕТИК ИСААКЯН

* * *

Караван мой бренчит и плетется
Средь чужих и безлюдных песков.
Погоди, караван! Мне сдается,
Что из родины слышу я зов...

Нет, тиха и безмолвна пустыня,
Солнцем выжжена дикая степь.
Далеко моя родина ныне,
И в объятьях чужих — моя джан.

Поцелуям и ласкам не верю,
Слез она не запомнит моих.
Кто зовет? Караван, шевелися —
Нет в подлунной обетов святых!

Уводи, караван, за собою,
В неродную, безлюдную мглу.
Где устану — склонюсь головою
На шипы, на утес, на скалу...

* * *

Да, я знаю всегда — есть чужая страна,
Есть душа в той далекой стране,
И грустна, и, как я, одинока она,
И сгорает, и рвется ко мне.

Даже кажется мне, что к далекой руке
Я прильнул поцелуем святым,
Что рукой провожу в неисходной тоске
По ее волосам золотым...

* * *

Снилось мне — у соленой волны,
Ранен в сердце, я тихо прилег;
Навевая мне нежные сны,
Набегает волна на песок.

Снилось — мимо проходят друзья,
Веселятся, поют и кричат;
Но никто не окликнул меня.
Я молчу, и тускнеет мой взгляд.

Ноябрь — декабрь 1915

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

«Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память России» — слышу я вокруг себя.

Но передо мной — Россия: та, которую видели в устрашающих и пророческих снах наши великие писатели; тот Петербург, который видел Достоевский; та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой.

Россия — буря. Демократия приходит «опоясанная бурей», говорит Карлейль.

России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой.

В том потоке мыслей и предчувствий, который захватил меня десять лет назад, было смешанное чувство России: тоска, ужас, покаяние, надежда.

То были времена, когда царская власть в последний раз достигла, чего хотела: Витте и Дурново скрутили революцию веревкой; Столыпин крепко обмотал эту веревку о свою нервную дворянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не стало этого последнего дворянина, власть, по выражению одного весьма сановного лица, перешла к «поденщикам»; тогда веревка ослабла и без труда отвалилась сама.

Все это продолжалось немного лет; но немногие годы легли на плечи как долгая, бессонная, наполненная призраками ночь.

Распутин — всё, Распутин — всюду; Азефы разоблаченные и неразоблаченные; и, наконец, годы европейской бойни; казалось минуту, что она очистит воздух; казалось нам, людям чрезмерно впечатлительным; на самом деле она оказалась достойным венцом той лжи, грязи и мерзости, в которых купалась наша родина.

Что такое война?

Болота, болота, болота; поросшие травой или занесенные снегом; на западе — унылый немецкий прожектор — шарит — из ночи в ночь; в солнечный день появляется немецкий фоккер; он упрямо летит одной и той же дорожкой; точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку; вокруг него разбегаются дымки; белые, серые, красноватые (это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая; так же, как и немцы — нас); фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки; иной раз методически сбросит бомбу; значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных; бомба упадет иногда — на кладбище, иногда — на стадо

скотов, иногда — на стадо людей; а чаще, конечно, в болото; это — тысячи народных рублей в болото.

Люди глазают на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья; сюда уже успели перетащить всю гнусность довоенных квартир: измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни.

Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется «фронт».

Люди — крошечные, земля — громадная. Это вздор, что мировая война так заметна: довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег! Вот одна из осязаемых причин того, что «великая европейская война» так убога.

Трудно сказать, что тошнотворнее: то кровопролитие или то безделье, та скука, та *пошлятина*; имя обоим — «великая война», «отечественная война», «война за освобождение угнетенных народностей» или как еще? Нет, под этим знаком — никого не освободишь.

Вот, под игом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья, люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя: точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество, и в частности — российские патриоты.

Поток предчувствий, прошумевший над иными из нас между двух революций, также ослабел, заглох, ушел где-то в землю. Думаю, не я один испытывал чувство болезни и тоски в годы 1909—1916. Теперь, когда весь европейский воздух изменен русской революцией, начавшейся «бескровной идиллией» февральских дней и растущей безостановочно и грозно, кажется иногда, будто и не было тех недавних, таких древних и далеких годов; а поток, ушедший в землю, протекавший бесшумно в глубине и тьме, — вот он опять шумит; и в шуме его — новая музыка.

Мы любили эти диссонансы, эти ревы, эти звоны, эти неожиданные переходы... в оркестре. Но, если мы их действительно любили, а не только щекотали свои нервы в модном театральном зале после обеда, — мы должны слушать и любить те же звуки теперь, когда они вылетают из мирового оркестра; и, слушая, понимать, что это — о том же, все о том же.

Музыка ведь не игрушка; а та *бестия*, которая полагала, что музыка — игрушка, — и веди себя теперь как бестия: дрожи, пресмыкайся, береги свое добро!

Мы, русские, переживаем эпоху, имеющую не много равных себе по величию. Вспоминаются слова Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые,
Его призывали всеблагие,
Как собеседника на пир,
Он их высоких зрелищ зритель...

Не дело художника — смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься о том, исполнится оно или нет. У художника — все бытовое, житейское, быстро сменяющееся — найдет свое выражение потом, когда перегорит в жизни. Те из нас, кто уцелеет, кого не «изомнет с налету вихорь шумный», окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ. Овладеть ими, вероятно, сможет только новый гений, пушкинский Арион; он, «выброшенный волною на берег», будет петь «прежние гимны» и «ризу влажную свою» сушить «на солнце, под скалою».

Дело художника, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух».

Что же задумано?

Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.

Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, — это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное — называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется *революцией*.

Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозный вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул это все равно всегда — о великом.

Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет — гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны — теплый ветер и нежный запах апельсиновых рощ; увлажит спаленные солнцем степи юга — прохладным северным дождем.

«Мир и братство народов» — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать.

...Русские художники имели достаточно «предчувствий и предвестий» для того, чтобы ждать от России именно таких заданий. Они никогда не сомневались в том, что Россия — большой корабль, которому суждено большое плавание. Они, как и народная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчетливостью, умеренностью, аккуратностью: «все, все, что гибелью грозит», таило для них «неизъяснимы наслажденья» (Пушкин). Чувство неблагополучия, незнание о завтрашнем дне сопровождало их повсюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких мечтах, было все или ничего. Они знали, что только о прекрасном стоит думать, хотя «прекрасное трудно», как учил Платон.

Великие художники русские — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой — погружались во мрак, но они же имели силы пребывать и таиться в этом мраке: ибо они верили в свет. Они знали свет. Каждый из них, как весь народ, выносивший их под сердцем, скрежетал зубами во мраке, отчаянье, часто злобе. Но они знали, что рано или поздно *все будет по-новому*, потому что *жизнь прекрасна*.

Жизнь прекрасна. Зачем жить тому народу или тому человеку, который втайне разуверился во всем? Который разочаровался в жизни, живет у нее «на подаянии», «из милости»? Который думает, что жить «не особенно плохо, но и не очень хорошо», ибо «все идет своим путем»: путем... эволюционным; люди же так вообще плохи и несовершенны, что дай им только бог прокряхтеть свой век кое-как, сколачиваясь в общества и государства, ограждаясь друг от друга стенками прав и обязанностей, условных законов, условных отношений...

Так думать не стоит; а тому, кто так думает, ведь и жить не стоит. Умереть легко: умирать можно безболезненно; сейчас в России — как никогда: можно даже без попа; поп не обидит отпевальной взяткой...

Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — *прекрасна*.

Смертельная усталость сменяется животной бодростью. После крепкого сна приходят свежие, умытые сном мысли; среди бела дня они могут показаться *дурацкими*, эти мысли. Лжет белый день.

Надо же почуять, откуда плывут такие мысли. Надо вот сейчас понять, что народ русский, как Иванушка-дурачок, только что с кровати схватился и что в его мыслях, для старших братьев если не враждебных, то *дурацких*, есть великая творческая сила.

Почему «учредилка»? (Между прочим, это вовсе не так обидно. У крестьян есть обычное — «потребилка».) — Потому, что мы

сами рядили о «выборных агитациях», сами судили чиновников за «злоупотребления» при этих агитациях; потому, что самые цивилизованные страны (Америка, Франция) сейчас захлебнулись в выборном мошенничестве, выборном взяточничестве.

Потому, что (я по-дурацки) самому все хочется «проконтролировать», сам все хочу, не желаю, чтоб меня «представляли» (в этом — великая жизненная сила: сила Фомы Неверного); потому еще, что некогда в многоколонном зале раздастся трубный голос весьма сановного лица: «Законопроект такой-то в тридцать девятом чтении отклоняется»; в этом трубном голосе будет такой тупой, такой страшный сон, такой громовой зев «организованной общественности», такой ужас без имени, что опять и опять наиболее чуткие, наиболее музыкальные из нас (русские, французы, немцы — все одинаково) бросятся в «индивидуализм», в «бегство от общественности», в глухую и одинокую ночь. Потому, наконец, что бог один ведает, как выбирала, кого выбирала, куда выбирала неграмотная Россия сегодняшнего дня; Россия, которой нельзя втолковать, что Учредительное Собрание — не царь.

Почему «долой суды»? — Потому, что судья — барин и «аблакаты» — барин, толкуют промеж себя о «деликте», происходит «судоговорение»; над несчастной головой жулика оно происходит. Жулик — он жулик и есть; уж согрешил, уж потерял душу; осталась одна злоба или одни покаянные слезы: либо удрать, либо на каторгу; только бы с глаз долой. Чего же еще над ним, напакостившим, измываться?

Либерального «аблакаты» описал Достоевский; Достоевского при жизни травили, а после смерти называли «певцом униженных и оскорбленных». Описал еще то, о чем я говорю, Толстой; а кто обносил решоточкой могилу этого чудака? Кто теперь голосит о том, как бы над этой могилой не «надругались»? А почему вы знаете, может быть, рад был бы Лев Николаевич, если бы на его могиле поплевали и побросали окурков? Плевки — божьи, а решоточка — не особенно.

Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью.

Всё — так.

Я знаю, что говорю. Конем этого не объедешь. Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают.

Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие».

Не беспокойтесь. Неужели может пропасть хоть крупинка истинно ценного? Мало мы любили, если трусим за любимое. «Совершенная любовь изгоняет страх». Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, потеряв их, народ не все потеряет. Дворец разрушаемый — не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, — не кремль. Царь, сам свалившийся с престола, — не царь. Кремль у нас в сердце, цари — в голове. Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с головой.

Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так «бескровно» и так «безболезненно» и разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью, между «образованными» и «необразованными», между интеллигенцией и народом?

Не вас ли надо будить теперь от «векового сна»? Не вам ли надо крикнуть: «*Noli tangere circulos meos*»?¹ Ибо вы мало любили, а с вас много спрашивается, больше, чем с кого-нибудь. В вас не было хрустального звона, этой музыки любви, вы оскорбляли художника — пусть художника, — но через него вы оскорбляли самую душу народную. Любовь творит чудеса, музыка завораживает зверей. А вы (все мы) жили без музыки и без любви. Лучше уж молчать сейчас, если нет музыки, не слышать музыки. Ибо все, кроме музыки, все, что без музыки, всякая «сухая материя» — сейчас только разбудит и озлит зверя. До человека без музыки сейчас достучаться нельзя.

А лучшие люди говорят: «Мы разочаровались в своем народе»; лучшие люди ехидничают, надмеваются, злобствуют, не видят вокруг ничего, кроме хамства и зверства (а человек — тут, рядом); лучшие люди говорят даже: «никакой революции и не было»; те, кто места себе не находил от ненависти к «царизму», готовы опять броситься в его объятия, только бы забыть то, что сейчас происходит; вчерашние «пораженцы» ломают руки над «германским засилием», вчерашние «интернационалисты» плачутся о «святой Руси»; безбожники от рождения готовы ставить свечки, молясь об одолении врага внешнего и внутреннего.

Не знаю, что страшнее: красный петух и самосуды в одном стане или эта гнетущая немзыкальность — в другом?

Я обращаюсь ведь к «интеллигенции», а не к «буржуазии».

¹ «Не тронь моих чертежей» (лат.).

Той никакая музыка, кроме фортепьян, и не снилась. Для той все очень просто: «в ближайшем будущем наша возьмет», будет «порядок», и все — по-старому; гражданский долг заключается в том, чтобы беречь добро и шкуру; пролетарии — «мерзавцы»; слово «товарищ» — ругательное; свое уберег — и сутки прочь: можно и посмеяться над дураками, задумавшими всю Европу взбаламутить, потрясти брюхом, благо удалось урвать где-нибудь лишний кусок.

С этими не поспоришь, ибо дело их — бесспорное: брюшное дело. Но ведь это — «полупросвещенные» или совсем «непросвещенные» люди; слыхали они разве только о том, что нахрюкали им в семье и школе. Что нахрюкали, то и спрашивается:

Семья: «Слушайся папу и маму». «Прикапливай деньги к старости». «Учись, дочка, играть на рояли, скоро замуж выйдешь». «Не играй, сынок, с уличными мальчишками, чтобы не опорочить родителей и не изорвать пальто».

Низшая школа: «Слушайся наставников и почитай директора». «Ябедничай на скверных мальчишек». «Получай лучшие отметки». «Будь первым учеником». «Будь услужлив и угодлив». «Паче всего — закон божий».

Средняя школа: «Пушкин — наша национальная гордость». «Пушкин обожал царя». «Люби царя и отечество». «Если не будете исповедоваться и причащаться, вызовут родителей и сбавят за поведение». «Замечай за товарищами, не читает ли кто запрещенных книг». «Хорошенькая горничная — ты».

Высшая школа: «Вы — соль земли». «Существование бога доказать невозможно». «Человечество движется по пути прогресса, а Пушкин воспевал женские ножки». «Вам еще рано принимать участие в политической жизни». «Царю показывайте кукиш в кармане». «Заметьте, кто говорил на сходке».

Государственная служба: «Враг внутренний есть студент». «Бабенка недурна». «Я тебе покажу, как рассуждать». «Сегодня приедет его превосходительство, всем быть на местах». «Следите за Ивановым и доложите мне».

Что спрашивать с того, кто все это добросовестно слушал и кто всему этому поверил? Но ведь интеллигенты, кажется, «переоценили» все эти ценности? Им приходилось ведь слышать и другие слова? Ведь их просвещали наука, искусство и литература? Ведь они пили из источников не только загаженных, но также — из источников прозрачных и головокружительно бездонных, куда взглянуть опасно и где вода поет неслыханные для непосвященных песни?

У буржуа — почва под ногами определенная, как у свиньи — навоз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконе, царь на троне. Вытащи это — и все полетит вверх тормашками.

У интеллигента, как он всегда хвалился, такой почвы никогда не было. Его ценности невещественны. Его царя можно отнять только с головой вместе. Уменье, знанье, методы, навыки, таланты — имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи, — что же нам терять?

Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над которой пролетает революционный циклон.

Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастьем ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг — сухие полешки, стружки, щепочки; а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), — бегать кругом и кричать: «Ах, ах, сгорим!»

Я не говорю о политических деятелях, которым «тактика» и «момент» не позволяют показывать души. Думаю, не так уж мало сейчас в России людей, у которых на душе весело, которые хмурятся по обязанности.

Я говорю о тех, кто политики не делает; о писателях, например (если они делают политику, то грешат против самих себя, потому что «за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь»: политики не сделают, а свой голос потеряют). Я думаю, что не только право, но и обязанность их состоит в том, чтобы быть нетактичными, «бестактными»: слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом реве и звоне мирового оркестра.

Русской интеллигенции — точно медведь на ухо наступил: мелкие страхи, мелкие словечки. Не стыдно ли издеваться над безграмотностью каких-нибудь объявлений или писем, которые писаны доброй, но неуклюжей рукой? Не стыдно ли гордо отмахиваться на «дурацкие» вопросы? Не стыдно ли прекрасное слово «товарищ» произносить в кавычках?

Это — всякий лавочник умеет. Этим можно только озлобить человека и разбудить в нем зверя.

Как аукнется — так и откликнется. Если считаете всех жуликами, то одни жулики к вам и придут. На глазах — сотни жуликов, а за глазами — миллионы людей, пока «непросвещенных», пока «темных». Но просветятся они не от вас.

Среди них есть такие, которые сходят с ума от самосудов, не могут выдержать крови, которую пролили в темноте своей; такие, которые бьют себя кулаками по несчастной голове: мы — глупые, мы понять не можем; а есть такие, в которых еще спят творческие силы; они могут в будущем сказать такие слова, ка-

ких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная литература.

Надменное политиканство — великий грех. Чем дольше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом. Ужасна и опасна эта эластичная, сухая, невкусная «адогматическая догматика», приправленная снисходительной душевностью. За душевностью — кровь. Душа кровь притягивает. Бороться с ужасами может лишь дух. К чему загораживать душевностью пути к духовности? Прекрасное и без того трудно.

А дух есть музыка. Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки.

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию.

9 января 1918



СЕРГЕЙ ЕСЕНИН





СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.

От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.

Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.

И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.

1910

* * *

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

1910

* * *

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.

Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.

И пускай со звонами плачут глухари,
Есть тоска веселая в аlostях зари.

1910

* * *

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой, вы, луга и дубравы,—
Я одурманен весной.

Радуют тайные вести,
Светятся в душу мою.
Думаю я о невесте,
Только о ней лишь пою.

Сыпь ты, черемуха, снегом,
Пойте вы, птицы, в лесу.
По полю зыбистым бегом
Пеной я цвет разнесу.

1910

* * *

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Выходи встречать к околице, красотка, жениха.

Васильками сердце светится, горит в нем бирюза.
Я играю на тальяночке про синие глаза.

То не зори в струях озера свой выткали узор,
Твой платок, шитьем украшенный, мелькнул за
косогор.

Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха.
Пусть послушает красавица припаски жениха.

1910—1912

* * *

Матушка в Купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.

Травы ворожбиные ноги ей кололи,
Плакала родимая в купырях от боли.

Не дознамо печени судорга схватила,
Охнула кормилица, тут и породила.

Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,
Сутемень колдовная счастье мне пророчит.

Только не по совести счастье наготове,
Выбираю удалью и глаза и брови.

Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.

1912

БЕРЕЗА

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.

На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.

А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

1913

ПОРОША

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белою косынкой
Подвязалась сосна.

Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.

1914

В ХАТЕ

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою —
Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную
Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

1914

* * *

Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914

* * *

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь,
Сенокос некошенный,
Лес да монастырь.

Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.

Под соломой-ризою
Выструги стропил,
Ветер плесень сизую
Солнцем окропил.

В окна бьют без промаха
Вороны крылом,
Как метель, черемуха
Машет рукавом.

Уж не сказ ли в прутнике
Жисть твоя и быль,
Что под вечер путнику
Нашептал ковыль?

1914

* * *

Черная, потом пропахшая выть!
Как мне тебя не ласкать, не любить?

Выйду на озеро в синюю гать,
К сердцу вечерняя льнет благодать.

Серым веретьем стоят шалаши,
Глухо баюкают хлюпь камыши.

Красный костер окровил таганы,
В хворосте белые веки луны.

Тихо, на корточках, в пятнах зари
Слушают сказ старика косари.

Где-то вдали, на кукане реки,
Дремную песню поют рыбаки.

Оловом светится лужная голь...
Грустная песня, ты — русская боль.

1914

РУСЬ

1

Потонула деревня в ухабинах,
Заслонили избенки леса.
Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса.

Воют в сумерки долгие, зимние,
Волки грозные с тощих полей.
По дворам в погорающем инее
Над застрехами храп лошадей.

Как совиные глазки, за ветками
Смотрят в шали пурги огоньки.
И стоят за дубровными сетками,
Словно нечисть лесная, пеньки.

Запугала нас сила нечистая,
Что ни прорубь — везде колдуны.
В злую заморозь, в сумерки мглистые
На березках висят галуны.

2

Но люблю тебя, родина кроткая!
А за что — разгадать не могу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей,
Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

3

Понакаркали черные вороны:
Грозным бедам широкий простор.
Крутит вихорь леса во все стороны,
Машет саваном пена с озер.

Грянул гром, чашка неба расколота,
Тучи рваные кутают лес.
На подвесках из легкого золота
Закачались лампадки небес.

Повестили под окнами сотские
Ополченцам идти на войну.
Загыгыкали бабы слободские,
Плач прорезал кругом тишину.

Собирались мирные пахари
Без печали, без жалоб и слез,
Клали в сумочки пышки на сахаре
И пихали на кряжистый воз.

По селу до высокой околицы
Провожал их огулом народ...
Вот где, Русь, твои добрые молодцы,
Вся опора в годину невзгод.

4

Затомилась деревня невесточкой —
Как-то милые в дальнем краю?
Отчего не уведомят весточкой, —
Не погибли ли в жарком бою?

В роще чудились запахи ладана,
В ветре бластились стуки костей.
И пришли к ним нежданно-негаданно
С дальней волости груды вестей.

Сберегли по ним пахари памятку,
С по́том вывели всем по письму.
Подхватили тут родные грамотку,
За ветловую сели тесьму.

Собрались над четницей Лушею
Допытаться любимых речей.
И на корточках плакали, слушая,
На успехи родных силачей.

5

Ах, поля мои, борозды милые,
Хороши вы в печали своей!
Я люблю эти хижины хилые
С поджиданьем седых матерей.

Припаду к лапоточкам берестяным,
Мир вам, грабли, коса и соха!
Я гадаю по взорам невестиным
На войне о судьбе жениха.

Помирился я с мыслями слабыми,
Хоть бы стать мне кустом у воды.
Я хочу верить в лучшее с бабами,
Тепля свечку вечерней звезды.

Разгадал я их думы несметные,
Не спугнет их ни гром и ни тьма.
За сохою под песни заветные
Не причудится смерть и тюрьма.

Они верили в эти каракули,
Выводимые с тяжким трудом,
И от счастья и радости плакали,
Как в засуху над первым дождем.

А за думой разлуки с родимыми
В мягких травах, под бусами рос,
Им мерещился в даях за дымами
Над лугами веселый покос.

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,
Лишь к тебе я любовь берегу.
Весела твоя радость короткая
С громкой песней весной на лугу.

1914

* * *

В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.

Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.

Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.

Все они убийцы или воры,
Как судил им рок.
Полюбил я грустные их взоры
С впадинами щек.

Много зла от радости в убийцах,
Их сердца просты,
Но кривятся в почернелых лицах
Голубые рты.

Я одну мечту, скрывая, нежу —
Что я сердцем чист.
Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

И когда с улыбкой мимоходом
Распрямлю я грудь,
Языком залижет непогода
Прожитой мой путь.

1915

КОРОВА

Дряхлая, выпали зубы,
Свиток годов на рогах.
Бил ее выгонщик грубый
На перегонных полях.

Сердце неласково к шуму,
Мыши скребут в уголке.
Думает грустную думу
О белоногом телке.

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Скоро на гречневом сее,
С той же сыновней судьбой,
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.

Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога...
Снится ей белая роща
И травяные луга.

1915

ПЕСНЬ О СОБАКЕ

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать...
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

1915

* * *

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

С алым соком ягоды на коже,
Нежная, красивая, была
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.

Зерна глаз твоих осыпались, завяли,
Имя тонкое растаяло, как звук,
Но остался в складках смятой шали
Запах меда от невинных рук.

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Пусть порой мне шепчет синий вечер,
Что была ты песня и мечта,
Всё ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —
К светлой тайне приложил уста.

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

1915—1916

Запели тесаные дроги,
Бегут равнины и кусты.
Опять часовни на дороге
И поминальные кресты.

Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка.
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку,—
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

И не отдам я эти цепи
И не расстанусь с долгим сном,
Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем.

1916

ЛИСИЦА

А. М. Ремизову

На раздробленной ноге приковыляла,
У норы свернулася в кольцо.
Тонкой прошвой кровь отмежевала
На снегу дремучее лицо.

Ей все бластился в колючем дыме выстрел,
Колыхалась в глазах лесная топь.
Из кустов косматый ветер взбыстрил
И рассыпал звонистую дробь.

Как желна, над нею мгла металась,
Мокрый вечер липок был и ал.
Голова тревожно подымалась,
И язык на ране застывал.

Желтый хвост упал в метель пожаром,
На губах — как прелая морковь...
Пахло инеем и глиняным угаром,
А в ошур сочилась тихо кровь.

1916

* * *

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

С чьей-то ласковости вешней
Отгрустил я в синей мгле
О прекрасной, но нездешней,
Неразгаданной земле.

Не гнетет немая млечность,
Не тревожит звездный страх.
Полюбил я мир и вечность,
Как родительский очаг.

Все в них благостно и свято,
Все тревожное светло.
Плещет рдяный мак заката
На озерное стекло.

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

1917

* * *

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Я сегодня увидел в пуще
След широких колес на лугу.
Треплет ветер под облачной кущей
Золотую его дугу.

На рассвете он завтра промчится,
Шапку-месяц пригнув под кустом,
И игриво взмахнет кобылица
Над равниною красным хвостом.

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров...
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров.

1917

* * *

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

1917—1918

* * *

Л. И. Кашиной

Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая березка,
Что загляделась в пруд?

Что шепчет тебе ветер?
О чем звенит песок?
Иль хочешь в косы-ветви
Ты лунный гребешок?

Открой, открой мне тайну
Твоих древесных дум,
Я полюбил печальный
Твой предосенний шум.

И мне в ответ березка:
«О любопытный друг,
Сегодня ночью звездной
Здесь слезы лил пастух.

Луна стелила тени,
Сияли зеленыя.
За голые колени
Он обнимал меня.

И так, вдохнувши глубоко,
Сказал под звон ветвей:
«Прощай, моя голубка,
До новых журавлей».

1918

* * *

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат.

Здравствуй, златое затишье,
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде.

Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.

Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!

1918

КАНТАТА

Спите, любимые братья.
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья,
В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.

1918

НЕБЕСНЫЙ БАРАБАНЩИК

Л. Н. Старку

1

Гей вы, рабы, рабы!
Брюхом к земле прилипли вы.
Нынче луну с воды
Лошади выпили.

Листьями звезды льются
В реки на наших полях.
Да здравствует революция
На земле и на небесах!

Души бросаем бомбами,
Сеем пурговый свист.
Что нам слюна иконная
В наши ворота ввысь?

Нам ли страшны полководцы
Белого стада горилл?
Взвихренной конницей рвется
К новому берегу мир.

2

Если это солнце
В заговоре с ними,—
Мы его всей ратью
На штыках подыдем.

Если этот месяц
Друг их черной силы,—
Мы его с лазури
Камнями в затылок.

Разметим все тучи,
Все дороги взвесим,
Бубенцом мы землю
К радуге привесим.

Ты звени, звени нам,
Мать-земля сырая,
О полях и рощах
Голубого края.

3

Солдаты, солдаты, солдаты —
Сверкающий бич над смерчем.
Кто хочет свободы и братства,
Тому умирать нипочем.

Смыкайтесь же тесной стеною.
Кому ненавистен туман,
Тот солнце корявой рукою
Сорвет на золотой барабан.

Сорвет и пойдет по дорогам
Лить зов над озерами сил —
На тени церквей и острогов,
На белое стадо горилл.

В том зове калмык и татарин
Почуют свой чаемый град,
И черное небо хвостами,
Хвостами коров вспламенят.

4

Верьте, победа за нами!
Новый берег недалек.
Волны белыми когтями
Золотой скребут песок.

Скоро, скоро вал последний
Миллионом брызнет лун.
Сердце — свечка за обедней
Пасхе массы и коммун.

Ратью смуглой, ратью дружной
Мы идем сплотить весь мир.
Мы идем, и пылью вьюжной
Тает облако горилл.

Мы идем, а там, за чашей,
Сквозь белесость и туман
Наш небесный барабанщик
Лупит в солнце-барабан.

1918

* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918

* * *

Клюеву

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь.
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

1918

* * *

Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Я сегодня влюблен в этот вечер,
Близок сердцу желтеющий дол.
Отрок-ветер по самые плечи
Заголил на березке подол.

И в душе и в долине прохлада,
Синий сумрак как стадо овец,
За калиткою смолкшего сада
Прозвенит и замрет бубенец.

Я еще никогда бережливо
Так не слушал разумную плоть,
Хорошо бы, как ветками ива,
Опрокинуться в розовость вод.

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать...
Где ты, где, моя тихая радость —
Все любя, ничего не желать?

1918

* * *

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветер,
По-осеннему шепчут листья.

1920

ИЗ «СОРОКОУСТА»

...Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд?

А за ним
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Неужель он не знает, что в полях бессиянных
Той поры не вернет его бег,
Когда пару красивых степных россиянок
Отдавал за коня печенег?
По-иному судьба на торгах перекрасила
Наш разбуженный скрежетом плес,
И за тысячи пудов конской кожи и мяса
Покупают теперь паровоз.

Черт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживется.
Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.
Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях,—
Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.
Оттого-то в сентябрьскую склень
На сухой и холодный суглинок,
Головой разможжась о плетень,
Облилась кровью ягод рябина.
Оттого-то выросла тужиль
В переборы тальянки звонкой.
И соломой пропахший мужик
Захлебнулся лихой самогонкой.

Я последний поэт деревни,
Скромн в песнях дощатый мост.
За прощальной стою обедней
Кадящих листвою берез.

Догорит золотистым пламенем
Из телесного воска свеча,
И луны часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час.

На тропу голубого поля
Скоро выйдет железный гость.
Злак овсяный, зарею пролитый,
Соберет его черная горсть.

Не живые, чужие ладони,
Этим песням при вас не жить!
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Будет ветер сосать их ржанье,
Панихидный справляя пляс.
Скоро, скоро часы деревянные
Прохрипят мой двенадцатый час!

1920

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная грудa,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»

1922

* * *

Не жалею, не зову, не плачу.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шлаться босиком.

Дух бродяжий, ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвести и умереть.

1922

* * *

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мгlistом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.
Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе, —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омут в сердце мгlistом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом.

1922

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых крапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщъ,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюды кирпичный,
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе — полевая солома,
Мир тебе — деревянный дом!

* * *

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Был я весь — как запущенный сад,
Был на женщин и зелье падкий.
Разонравилось пить и плясать
И терять свою жизнь без оглядки.

Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут,
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.

Поступь нежная, легкий стан,
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным.

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонко касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

Я б навеки пошел за тобой
Хоть в свои, хоть в чужие дали...
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

1923

* * *

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.

По-смешному я сердцем влип,
Я по-глупому мысли занял.
Твой иконный и строгий лик
По часовням висел в рязанях.

Я на эти иконы плевал,
Чтил я грубость и крик в повесе,
А теперь вдруг растут слова
Самых нежных и кротких песен.

Не хочу я лететь в зенит,
Слишком многое телу надо.
Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?

Я не нищий, ни жалок, ни мал
И умею расслышать за пылом:
С детства нравиться я понимал
Кобелям да степным кобылам.

Потому и себя не сберег
Для тебя, для нее и для этой.
Невеселого счастья залог —
Сумасшедшее сердце поэта.

Потому и грущу, осев,
Словно в листья, в глаза косые...
Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.

1923

* * *

Пускай ты выпита другим,
Но мне осталось, мне осталось
Твоих волос стеклянный дым
И глаз осенняя усталость.

О возраст осени! Он мне
Дороже юности и лета.
Ты стала нравиться вдвойне
Воображению поэта.

Я сердцем никогда не лгу,
И потому на голос чванства
Бестрепетно сказать могу,
Что я прощаюсь с хулиганством.

Пора расстаться с озорной
И непокорною отвагой.
Уж сердце напилось иной,
Кровь отрезвляющею брагой.

И мне в окошко постучал
Сентябрь багряной веткой ивы,
Чтоб я готов был и встречал
Его приход неприхотливый.

Теперь со многим я мирюсь
Без принужденья, без утраты.
Иною кажется мне Русь,
Иными — кладбища и хаты.

Прозрачно я смотрю вокруг
И вижу, там ли, здесь ли, где-то ль,
Что ты одна, сестра и друг,
Могла быть спутницей поэта.

Что я одной тебе бы мог,
Воспитываясь в постоянстве,
Пропеть о сумерках дорог
И уходящем хулиганстве.

1923

* * *

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

Это золото осеннее,
Эта прядь волос белесых —
Все явилось, как спасенье
Беспокойного повесы.

Я давно мой край оставил,
Где цветут луга и чащи.
В городской и горькой славе
Я хотел прожить пропащим.

Я хотел, чтоб сердце глуше
Вспоминало сад и лето,
Где под музыку лягушек
Я растил себя поэтом.

Там теперь такая ж осень...
Клен и липы в окна комнат,
Ветки лапами забросив,
Ищут тех, которых помнят.

Их давно уж нет на свете.
Месяц на простом погосте
На крестах лучами метит,
Что и мы придем к ним в гости,
Что и мы, отжив тревоги,
Перейдем под эти кущи.
Все волнистые дороги
Только радость льют живущим.

Дорогая, сядь же рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

1923

* * *

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

1923

* * *

Ты прохладой меня не мучай
И не спрашивай, сколько мне лет,
Одержимый тяжелой падучей,
Я душой стал как желтый скелет.

Было время, когда из предместья
Я мечтал по-мальчишески — в дым,
Что я буду богат и известен
И что всеми я буду любим.

Да! Богат я, богат с излишком.
Был цилиндр, а теперь его нет.
Лишь осталась одна манишка
С модной парой избитых штиблет.

И известность моя не хуже,—
От Москвы по парижскую рвань
Мое имя наводит ужас,
Как заборная, громкая брань.

И любовь, не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жечь.
Знаю, чувство мое перезрело,
А твое не успело расцвести.

Мне пока горевать еще рано,
Ну, а если есть грусть — не беда!
Золотей твоих кос по курганам
Молодая шумит лебеда.

Я хотел бы опять в ту местность,
Чтоб под шум молодой лебеды
Утонуть навсегда в неизвестность
И мечтать по-мальчишески — в дым.



С. Есенин. «Сорокоуст».
Художник А. А. Пармонов.

Но мечтать о другом, о новом,
Непонятном земле и траве,
Что не выразить сердцу словом
И не знает назвать человек.

1923

* * *

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Не храпи, запоздалая тройка!
Наша жизнь пронеслась без следа.
Может, завтра больничная койка
Упокоит меня навсегда.

Может, завтра совсем по-другому
Я уйду, исцеленный навек,
Слушать песни дождей и черемух,
Чем здоровый живет человек.

Позабуду я мрачные силы,
Что терзали меня, губя.
Облик ласковый! Облик милый!
Лишь одну не забуду тебя.

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.

Расскажу, как текла былая
Наша жизнь, что былой не была...
Голова ль ты моя удалая,
До чего ж ты меня довела?

1923

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли —
Были синие глаза, да теперь поблекли.

Где ты радость? Темь и жуть, грустно и обидно.
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.

Руки вытяну — и вот слушаю на ощупь:
Едем... кони... кони... снег... проезжаем рощу.

«Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам».

А ямщик в ответ одно: «По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели».

«Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!»
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.

Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.

И вместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрой повязкой.

На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.

Наклонились и хрипят: «Эх ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.

Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли,—
Синие твои глаза в кабаках промокли».

ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось,—
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

1924

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Я посетил родимые места,
Ту сельщину,
Где жил мальчишкой,
Где каланчой с березовою вышкой
Взметнулась колокольня без креста.

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать;
Приметный клен уж под окном не машет,
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатою кашей.

Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность:
Какая незнакомая мне местность.
Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы
Высокий серый камень.

Здесь кладбище!
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы
Застыли с распростертыми руками.

По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
«Прохожий!
Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?»

«Татьяна... Гм...
Да вон за той избой.
А ты ей что?
Сродни?
Аль, может, сын пропащий?»

«Да, сын.
Но что, старик, с тобой?
Скажи мне,
Отчего ты так глядишь скорбяще?»

«Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда!..»
«Ах, дедушка, ужели это ты?»
И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.

.
«Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто...
Скоро в гроб.
Давно пора бы было воротиться».
Он говорит, а сам все морщит лоб.
«Да!.. Время!..
Ты не коммунист?»
«Нет!..»
«А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки,
На церкви комиссар снял крест,
Теперь и богу негде помолиться.
Уж я хожу украдкой нынче в лес,
Молюсь осинам...
Может, пригодится.

Пойдем домой —
Ты все увидишь сам».

И мы идем, топча межой кукольной.
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит на колокольню.

.
.

«Здорово, мать! Здорово!» —
И я опять тяну к глазам платок.
Тут разрыдаться может и корова,
Глядя на этот бедный уголок.
На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя,—
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.

Пришли соседи...
Женщина с ребенком.
Уже никто меня не узнает.
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.

Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.

«Ну, говори, сестра!»

И вот сестра разводит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Энгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

И мне смешно,
Как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот берет.

.
.

По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.

1924

ПУШКИНУ

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган.

Но эти милые забавы
Не затемнили образ твой,
И в бронзе выкованной славы
Трясешь ты гордой головой.

А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.

1924

* * *

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

Для меня было все тогда новым,
Много в сердце теснилось чувств,
А теперь даже нежное слово
Горьким плодом срывается с уст.

И знакомые взору просторы
Уж не так под луной хороши.
Буераки... пеньки... косогоры
Обпечалили русскую ширь.

Нездоровое, хилое, низкое,
Водянистая, серая гладь.
Это все мне родное и близкое,
От чего так легко зарыдать.

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.

Потому никому не рассыпать
Эту грусть смехом ранних лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет.

1924

РУСЬ СОВЕТСКАЯ

А. Сахарову

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком.
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.

И в голове моей проходят роем думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, невымытыми речами
Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля.
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.

Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщина лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.

«Уж мы его — и этак и раз-этак,—
Буржуя энтото... которого в Крыму...»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе, и тем уж я доволен,
Пускай меня сегодня не поют —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов идти по выбитым следам.

Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь, у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть,—
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

1924

* * *

Издатель славный! В этой книге
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге
Коммуной вздыбленную Русь.

Пускай о многом неумело
Шептал бумаге карандаш,
Душа спросонок хрипло пела,
Не понимая праздник наш.

Но ты видением поэта
Прочтешь не в буквах, а в другом,
Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком.

И, разбирая опыт смелый,
Меня насмешке не предашь,—
Лишь потому так неумело
Шептал бумаге карандаш.

1924

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник —
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924

БАЛЛАДА О ДВАДЦАТИ ШЕСТИ

*С любовью —
прекрасному художнику Г. Якулову*

Пой песню, поэт,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой.
Море тоже рокошет
Песнь.
Их было
26.

26 их было,
26.
Их могилы пескам
Не занести.

Не забудет никто
Их расстрел
На 207-ой
Версте.
Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.

Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.
26 их было,
26.
Кто с прострелом в груди,
Кто в боку,
Говорят:
«Нам пора в Баку —
Мы посмотрим,
Пока есть туман,
Как живет
Азербайджан».

.
.

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял их
Отряд англичан.

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.

На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
Их было
26.

Все помнят, конечно,
Тот,
18-ый, несчастный
Год.
Тогда буржуа
Всех стран
Обстреливали
Азербайджан.

Тяжел был Коммуне
Удар.
Не вынес сей край
И пал,
Но жутче всем было
Весть
Услышать
Про 26.

В пески, что как плавленный
Воск,
Свезли их
За Красноводск.
И кто саблей,
Кто пулей в бок,
Всех сложили на желтый
Песок.

26 их было,
26.

Их могилы пескам
Не занести.
Не забудет никто
Их расстрел
На 207-ой
Версте.

Там за морем гуляет
Туман.
Видишь, встал из песка
Шаумян.
Над пустыней костлявый
Стук.
Вон еще 50
Рук
Вылезают, стирая
Плеснь.
26 их было,
26.

.
Ночь как будто сегодня
Бледней.
Над Баку
26 теней.
Теней этих
26.
О них наша боль
И песнь.

То не ветер шумит,
Не туман.
Слышишь, как говорит
Шаумян:
«Джапаридзе,
Иль я ослеп,
Посмотри:
У рабочих хлеб.
Нефть — как черная
Кровь земли.
Паровозы кругом...
Корабли...
И во все корабли,
В поезда
Вбита красная наша
Звезда».

Джапаридзе в ответ:
«Да, есть.
Это очень приятная
Весть.
Значит, крепко рабочий
Класс
Держит в цепких руках
Кавказ.

Ночь, как дыню,
Катит луну.
Море в берег
Струит волну.
Вот в такую же ночь
И туман
Расстрелял нас
Отряд англичан».

Коммунизм —
Знамя всех свобод.
Ураганом вскипел
Народ.
На империю встали
В ряд
И крестьянин
И пролетариат.
Там, в России,
Дворянский бич
Был наш строгий отец
Ильич.
А на Востоке
Здесь
26 их было,
26.

.
Свет небес все синей
И синей.
Молкнет говор
Дорогих теней.
Кто в висок прострелен,
А кто в грудь.
К Ахч-Куйме
Их обратный путь...

Пой, поэт, песню,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой...
Море тоже рокошет
Песнь.
26 их было,
26.

1924

СУКИН СЫН

Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг.
Мне припомнилась нынче собака,
Что была моей юности друг.

Нынче юность моя отшумела,
Как подгнивший под окнами клен,
Но припомнил я девушку в белом,
Для которой был пес почтальон.

Не у всякого есть свой близкий,
Но она мне как песня была,
Потому что мои записки
Из ошейника пса не брала.

Никогда она их не читала,
И мой почерк ей был незнаком,
Но о чем-то подолгу мечтала
У калины за желтым прудом.

Я страдал... Я хотел ответа...
Не дождался... уехал... И вот
Через годы... известным поэтом
Снова здесь, у родимых ворот.

Та собака давно околела,
Но в ту ж масть, что с отливом в синь,
С лаем ливисто ошалелым
Меня встрел молодой ее сын.

Мать честная! И как же схожи!
Снова выплыла боль души.
С этой болью я будто моложе,
И хоть снова записки пиши.

Рад послушать я песню былую,
Но не лай ты! Не лай! Не лай!
Хочешь, пес, я тебя поцелую
За пробуженный в сердце май?

Поцелую, прижмусь к тебе телом
И, как друга, введу тебя в дом...
Да, мне нравилась девушка в белом,
Но теперь я люблю в голубом.

1924

* * *

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда,—
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да ракитник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

1924

СТАНСЫ

Посвящается П. Чагину

Я о своем таланте
Много знаю.
Стихи — не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может —
О девушке, о звездах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном —
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулевке.

Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жестко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу все
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму вам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветер, по краю,
Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

«Смотри,— он говорит,—
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Черных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических туманов,
Воспой, поэт,
Что крепче и живей».

Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку.

Я полон дум об индустриальной мощи,
Я слышу голос человеческих сил.

Довольно с нас
Небесных всех светил —
Нам на земле
Устроить это проще.

И, самого себя
По шее глядя,
Я говорю:
«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».

1924

РУСЬ УХОДЯЩАЯ

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Здрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,
Ну где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.

И я, я сам,
Не молодой, не старый,
Для времени навозом обречен.
Не потому ль кабацкий звон гитары
Мне навевает сладкий сон?

Гитара милая,
Звени, звени!

Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Советскую я власть виню,
И потому я на нее в обиде,
Что юность светлую мою
В борьбе других я не увидел.

Что видел я?
Я видел только бой
Да вместо песен
Слышал канонаду.
Не потому ли с желтой головой
Я по планете бегал до упаду?

Но все ж я счастлив.
В сонме бурь
Неповторимые я вынес впечатленья.
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

Но есть иные люди.
Те
Еще несчастней и забытей.
Они, как отрубь в решете,
Средь непонятных им событий.

Я знаю их
И подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человеческих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.

Кто бросит камень в этот пруд?
Не троньте!
Будет запах смрада.
Они в самих себе умрут,
Истлеют падью листопада.

А есть другие люди,
Те, что верят,
Что тянут в будущее робкий взгляд.
Почесывая зад и перед,
Они о новой жизни говорят.

Я слушаю. Я в памяти смотрю,
О чем крестьянская судачит оголь.
«С Советской властью жить нам по нутрю...
Теперь бы ситцу... Да гвоздей немного...»

Как мало надо этим брадачам,
Чья жизнь в сплошном
Картофеле и хлебе.
Чего же я ругаюсь по ночам
На неудачный, горький жребий?

Я тем завидую,
Кто жизнь провел в бою,
Кто защищал великую идею.
А я, сгубивший молодость свою,
Воспоминаний даже не имею.

Какой скандал!
Какой большой скандал!
Я очутился в узком промежутке.
Ведь я мог дать
Не то, что дал,
Что мне давалось ради шутки.

Гитара милая,
Звени, звени!
Сыграй, цыганка, что-нибудь такое,
Чтоб я забыл отравленные дни,
Не знавшие ни ласки, ни покоя.

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Здрав штаны,
Бежать за комсомолом.

1924

ПИСЬМО К ЖЕНЩИНЕ

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.

Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел —
Катиться дальше, вниз.

Любимая!
Меня вы не любили.
Не знали вы, что в сонмище людском
Я был, как лошадь, загнанная в мыле,
Пришпоренная смелым ездоком.

Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несет нас рок событий.

Лицом к лицу
Лица не увидеть.
Большое видится на расстоянье.
Когда кипит морская гладь,
Корабль в плачевном состоянье.

Земля — корабль!
Но кто-то вдруг
За новой жизнью, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Ее направил величаво.

Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

Тогда и я,
Под дикий шум,
Но зрело знающий работу,
Спустился в корабельный трюм,
Чтоб не смотреть людскую рвоту.

Тот трюм был —
Русским кабаком.
И я склонился над стаканом,
Чтоб, не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном.

Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрчивал в скандалах.

Но вы не знали,
Что в сплошном дыму,
В развороченном бурей быте
С того и мучаюсь,
Что не пойму,
Куда несет нас рок событий...

.

Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был
И что со мною случилось!

Любимая!
Сказать приятно мне:
Я избежал паденья с кручи.
Теперь в Советской стороне
Я самый яростный попутчик.

Я стал не тем,
Кем был тогда.
Не мучил бы я вас,
Как это было раньше.
За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ламанша.

Простите мне...
Я знаю: вы не та —
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен.

Живите так,
Как вас ведет звезда,
Под кущей обновленной сени.
С приветствием,
Вас помнящий всегда
Знакомый ваш

1924 *Сергей Есенин*

ПОЭТАМ ГРУЗИИ

Писали раньше
Ямбом и октавой.
Классическая форма
Умерла,
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Земля далекая!
Чужая сторона!
Грузинские кремнистые дороги.
Вино янтарное
В глаза струит луна,
В глаза глубокие,
Как голубые роги.

Поэты Грузии!
Я ныне вспомнил вас.
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Курю,
Люблю в пирах и в разговорах.

Я — северный ваш друг
И брат!
Поэты — все единой крови.
И сам я тоже азиат
В поступках, в помыслах
И слове.

И потому в чужой
Стране
Вы близки
И приятны мне.

Века всё смелют,
Дни пройдут,
Людская речь
В один язык сольется.
Историк, сочиняя труд,
Над нашей рознью улыбнется.

Он скажет:
В пропасти времен
Есть изысканья и приметы...
Дрались сонмища племен,
Зато не ссорились поэты.

Свидетельствует
Вещий знак:
Поэт поэту
Есть кунак.

Самодержавный
Русский гнет
Сжимал все лучшее за горло,

Его мы кончили —
И вот
Свобода крылья распростерла.

И каждый в племени своем,
Своим мотивом и наречьем,
Мы всяк
По-своему поем,
Поддавшись чувствам
Человечьим...

Свершился дивный
Рок судьбы:
Уже мы больше
Не рабы.

Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

1924

Ц В Е Т Ы

I

Цветы мне говорят прощай,
Головками кивая низко.
Ты больше не увидишь близко
Родное поле, отчий край.

Любимые! Ну что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

II

Весенний вечер. Синий час.
Ну как же не любить мне вас,
Как не любить мне вас, цветы?
Я с вами выпил бы на «ты».

Шуми левкой и резеда.
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда.
Шуми левкой и резеда.

III

Ах, колокольчик! твой ли пыл
Мне в душу песней позвонил
И рассказал, что васильки
Очей любимых далеки.

Не пой! не пой мне! Пощади.
И так огонь горит в груди.
Она пришла, как к рифме «вновь»
Неразлучимая любовь.

IV

Цветы мои! не всякий мог
Узнать, что сердцем я продрог,
Не всякий этот холод в нем
Мог растопить своим огнем,

Не всякий, длани кто простер,
Поймать сумеет долю злую.
Как бабочка — я на костер
Лечу и огненность целую.

V

Я не люблю цветы с кустов,
Не называю их цветами.
Хоть прикасаюсь к ним устами,
Но не найду к ним нежных слов.

Я только тот люблю цветок,
Который врос корнями в землю.
Его люблю я и приемлю,
Как северный наш василек.

VI

И на рябине есть цветы,
Цветы — предшественники ягод,
Они на землю градом лягут,
Багрец свергая с высоты.

Они не те, что на земле.
Цветы рябин другое дело.
Они как жизнь, как наше тело,
Делимое в предвечной мгле.

VII

Любовь моя! прости, прости.
Ничто не обошел я мимо.
Но мне милее на пути,
Что для меня неповторимо.

Неповторимы ты и я.
Помрем — за нас придут другие.
Но это все же не такие —
Уж я не твой, ты не моя.

VIII

Цветы, скажите мне прощай,
Головками кивая низко,
Что не увидеть больше близко
Ее лицо, любимый край.

Ну что ж! пускай не увидеть!
Я поражен другим цветеньем
И потому словесным пенем
Земную буду славить гладь.

IX

А люди разве не цветы?
О милая, почувствуй ты,
Здесь не пустынные слова.

Как стебель тулово качая,
А эта разве голова
Тебе не роза золотая?

Цветы людей и в солнь и в стыть
Умеют ползать и ходить.

X

Я видел, как цветы ходили,
И сердцем стал с тех пор добрей,
Когда узнал, что в этом мире
То дело было в октябре.

Цветы сражались друг с другом,
И красный цвет был всех бойчей.
Их больше падало под вьюгой,
Но все же мощностью упругой
Они сразили палачей.

XI

Октябрь! Октябрь!
Мне страшно жаль
Те красные цветы, что пали.
Головку розы режет сталь,
Но все же не боюсь я стали.

Цветы ходячие земли!
Они и сталь сразят почище,
Из стали пустят корабли,
Из стали сделают жилища.

XII

И потому, что я постиг,
Что мир мне не монашья схима,
Я ласково влагаю в стих,
Что все на свете повторимо.

И потому, что я пою,
Пою и вовсе не впустую,
Я милой голову мою
Отдам, как розу золотую.

1924

ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ

* * *

Улеглась моя бывшая рана —
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоём саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.



С. Есенин. «Письмо матери».
Художник А. А. Пармонов.

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду...
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

1924

* * *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты — моя» сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

* * *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

1924

* * *

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: «За Ефратом
Розы лучше смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне —
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

19.XII. 1924

* * *

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени — Россия —
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки —
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напой дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре —
Я тебе придумаю о нем.
Все равно — глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

1924

* * *

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой.
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце,
Ведь и так коротка наша жизнь,
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке
Осеньет своя благодать.
Потому и прекрасные щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегут по полям.

1925

* * *

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,
Садом — в цветенье диком.
Ты не удержишься взглядом,
Чтоб не припасть к гвоздикам.
Лугом пройдешь, как садом.

Шепот ли, шорох иль шелест —
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразится во взгляде
Месяца желтая прелесть,
Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся пери,
Тихий, как флейта Гассана.
В крепких объятиях стана
Нет ни тревог, ни потери,
Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

1925

* * *

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травой.
Ты же, путник, мертвым не внимай,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:
Губы к розам так и тянет, тянет.
Помирись лишь в сердце со врагом —
И тебя блаженством ошафранит.

Жить — так жить, любить — так уж
влюбляться.
В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, —
Так вторично скажет листьев медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.

1925

* * *

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем? Кому мне песни петь? —
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья.
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

1925

* * *

Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом уресе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе —
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...

Март, 25 год

* * *

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом — значит петь раздолье,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поет — ему не больно,
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого —
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в коране,
Запрещая крепкие напитки,
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Влагою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
«Ну и что ж, помру себе бродягой,—
На земле и это нам знакомо».

1925

Руки милой — пара лебедей —
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.

Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой' золотою,
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.

Я не знаю, как мне жизнь прожить:
Догореть ли в ласках милой Шаги
Иль под старость трепетно тужить
О прошедшей песенной отваге?

У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что — для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.

Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да сгубила пара лебедей.

1925

«Отчего луна так светит тускло
На сады и стены Хороссана?
Словно я хожу равниной русской
Под шуршащим пологом тумана», —

Так спросил я, дорогая Лала,
У молчащих ночью кипарисов,
Но их рать ни слова не сказала,
К небу гордо головы завывсив.

«Отчего луна так светит грустно?» —
У цветов спросил я в тихой чаще,
И цветы сказали: «Ты почувствуй
По печали розы шелестящей».

Лепестками роза расплескалась,
Лепестками тайно мне сказала:
«Шаганэ твоя с другим ласкалась,
Шаганэ другого целовала.

Говорила: «Русский не заметит...
Сердцу — песнь, а песне жизнь и тело...»
Оттого луна так тускло светит,
Оттого печально побледнела.

Слишком много виделось измены,
Слез и мук, кто ждал их, кто не хочет.

.
Но и все ж вовек благословенны
На земле сиреневые ночи.

1925

* * *

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участия...
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрую укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети,
Часто смеемся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула.
Новой напьемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

1925

* * *

Голубая да веселая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется —
Эта песня в сердце отзовется.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Ты — ребенок, в этом спора нет,
Да и я ведь разве не поэт?
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости.
Много роз бывает на пути,
Много роз склоняется и гнется,
Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе — ты и я —
За такие милые края,
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.
Пусть вся жизнь моя за песню продана,
Но за Гелию в тених ветвей
Обнимает розу соловей.

1925

КАПИТАН ЗЕМЛИ

Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир —
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

Не то что мы,
Которым все так
Близко, —
Впадают в диво
И слоны...
Как скромный мальчик
Из Симбирска
Стал рулевым
Своей страны.

Средь рева волн
В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,
Он много мыслил
По-марксистски,
Совсем по-ленински
Творил.

Нет!
Это не разгулье Стеньки!

Не пугачевский
Бунт и трон!
Он никого не ставил
К стенке.
Все делал
Лишь людской закон.

Он в разуме
Отваги полный
Лишь только прилегал
К рулю,
Чтобы об мыс
Дробились волны,
Простор давая
Кораблю.

Он — рулевой
И капитан,
Страшны ль с ним
Шквальные откосы?
Ведь, собранная
С разных стран,
Вся партия — его
Матросы.

Не трусь,
Кто к морю не привык:
Они за лучшие
Обеты
Зажгут,
Сойдя на материк,
Путеводительные светы.

Тогда поэт
Другой судьбы,
И уж не я,
А он меж вами
Споет вам песню
В честь борьбы
Другими,
Новыми словами.

Он скажет:
«Только тот пловец,
Кто, закалив
В бореньях душу,
Открыл для мира наконец
Никем не виданную
Сушу».

17 январь 25. Батум

СОБАКЕ КАЧАЛОВА

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и невсяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

* * *

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя — поле безбрежное —
Дышит запахом меда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,
Но того, что прошло, не кляну.
Словно тройка коней оголтелая
Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.
И пропали под дьявольский свист.
А теперь вот в лесной обители
Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?
Все спокойно впивает грудь.
Стой, душа, мы с тобой проехали
Через бурный положенный путь.

Разберемся во всем, что видели,
Что случилось, что случилось в стране,
И простим, где нас горько обидели
По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,
Только жаль на тридцатом году —
Слишком мало я в юности требовал,
Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжелудясь,
Так же гнется, как в поле трава...
Эх ты, молодость, буйная молодость,
Золотая сорвиголова!

1925

* * *

Заря окликает другую,
Дымится овсяная гладь...
Я вспомнил тебя, дорогую,
Моя одряхлевшая мать.

Как прежде ходя на пригорок,
Костыль свой сжимая в руке,
Ты смотришь на лунный опорок,
Плывущий по сонной реке.

И думаешь горько, я знаю,
С тревогой и грустью большой,
Что сын твой по отчему краю
Совсем не болеет душой.

Потом ты идешь до погоста
И, в камень уставясь в упор,
Вдыхаешь так нежно и просто
За братьев моих и сестер.

Пускай мы росли ножевые,
А сестры росли, как май,
Ты все же глаза живые
Печально не подымай.

Довольно скорбеть! Довольно!
И время тебе подсмотреть,
Что яблоне тоже больно
Терять своих листьев медь.

Ведь радость бывает редко,
Как вешняя звень поутру,
И мне — чем сгнивать на ветках —
Уж лучше сгореть на ветру.

1925

* * *

Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь.
Спит черемуха в белой накидке.

В деревянные крылья окна
Вместе с рамами в тонкие шторы
Вяжет взбалмошная луна
На полу кружевные узоры.

Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге...
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.

Сад польщит, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый».

Только я в эту цветь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Ничего не могу пожелать,
Все, как есть, без конца принимая.

Принимаю — приди и явись,
Всё явись, в чем есть боль и отрада...
Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.

1925

* * *

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, —
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.

Равнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил,
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Россия! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

1925

* * *

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе,
И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

V—25

* * *

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить —
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели...
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

1925

* * *

Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синее тихая река.

Я — беспечный парень. Ничего не надо.
Только б слушать песни — сердцем подпевать,
Только бы струилась легкая прохлада,
Только б не сгибалась молодая стать.

Выйду за дорогу, выйду под откосы,—
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы.
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?»

На земле милее. Полно плавать в небо.
Как ты любишь долы, так бы труд любил.
Ты ли деревенским, ты ль крестьянским не был?
Размахнись косою, покажи свой пыл».

Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка —
Но косою выводят строчки хоть куда.
Под весенним солнцем, под весенней тучкой
Их читают люди всякие года.

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.

В этих строчках—песня, в этих строчках—слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.

1925

* * *

Спит ковыль. Равнина дорогая,
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не воьет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живетcя на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревёнчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

1925

* * *

Я помню, любимая, помню
Сиянье твоих волос.
Не радостно и не легко мне
Покинуть тебя привелось.

Я помню осенние ночи,
Березовый шорох теней,
Пусть дни тогда были короче,
Луна нам светила длинней.

Я помню, ты мне говорила:
«Пройдут голубые года,
И ты позабудешь, мой милый,
С другою меня навсегда».

Сегодня цветущая липа
Напомнила чувствам опять,
Как нежно тогда я сыпал
Цветы на кудрявую прядь.

И сердце, остыть не готовясь
И грустно другую любя,
Как будто любимую повесть
С другой вспоминает тебя.

1925

* * *

Листья падают, листья падают.
Стонет ветер,
Протяжен и глух.
Кто же сердце порадует?
Кто успокоит, мой друг?

С отягченными всками
Я смотрю и смотрю на луну.
Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.

Предрассветное. Синее. Раннее.
И летающих звезд благодать.
Загадать бы какое желание,
Да не знаю, чего пожелать.

Что желать под житейскою ношею,
Проклиная удел свой и дом?
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.

Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне —
Не кому-нибудь —
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.

Чтоб под этою белою лунностью,
Принимая счастливый удел,
Я над песней не таял, не млея
И с чужою веселою юностью
О своей никогда не жалел.

1925

* * *

Над окошком месяц. Под окошком ветер.
Облетевший тополь серебрист и светел.

Дальний плач тальянки, голос одинокий —
И такой родимый, и такой далекий.

Плачет и смеется песня лиховая.
Где ты, моя липа? Липа вековая?

Я и сам когда-то в праздник спозаранку
Выходил к любимой, развернув тальянку.

А теперь я милой ничего не значу.
Под чужую песню и смеюсь и плачу.

1925

* * *

Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!
Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?
Не шуми, осина, не пыли, дорога.
Пусть несется песня к милой до порога.

Пусть она услышит, пусть она поплачет.
Ей чужая юность ничего не значит.
Ну, а если значит — проживет не мучась.
Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?

Лейся, песня, пуще, лейся, песня, звяньше.
Все равно не будет то, что было раньше.
За былую силу, гордость и осанку
Только и осталась песня под тальянку.

1925

* * *

Сестре Шуре

Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Не в плохой, а в хорошей обиде —
Повторяешь ты юность мою.

Ты — мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную теребя?

Запоешь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?

Что поет теперь мать за куделью?
Я навеки покинул село,
Только знаю — багряной метелью
Нам листвы на крыльцо намело.

Знаю то, что о нас с тобой вместе
Вместо ласки и вместо слез
У ворот, как о сгибшей невесте,
Тихо воет покинутый пес.

Но и все ж возвращаться не надо,
Потому и достался не в срок,
Как любовь, как печаль и отрада,
Твой красивый рязанский платок.

1925

* * *

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня —
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабу, —
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

1925

* * *

Сестре Шуре

Ты запой мне ту песню, что прежде
Напевала нам старая мать.
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь —
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну, а я с такою,
Вот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою —
Вижу вновь дорогие черты.

Ты мне пой. Ведь моя отрада —
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада,
И опавшие листья с рябин.

Ты мне пой, ну, а я припомню
И не буду забывчиво хмур:
Так приятно и так легко мне
Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан,
И ее золотистые косы,
И холщовый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жестко —
Мне за песнею и за вином
Показалась ты той березкой,
Что стоит под родимым окном.

1925

* * *

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, черт их на землю принес.
В заливчатском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слез.

Ни луны, ни собачьего лая
В далеке, в стороне, в пустыре.
Поддержись, моя жизнь удалая,
Я еще не навек постарел.

Пой, ямщик, вперекор этой ночи, —
Хочешь, сам я тебе подпою
Про лукавые девичьи очи,
Про веселую юность мою.

Эх, бывало, заломишь шапку,
Да заложишь в оглобли коня,
Да приляжешь на сена охапку,—
Вспоминай лишь, как звали меня.

И откуда бралась осанка,
А в полуночную тишину
Разговорчивая тальянка
Уговаривала не одну.

Все прошло. Поредел мой волос.
Конь издох, опустел наш двор.
Потеряла тальянка голос,
Разучившись вести разговор.

Но и все же душа не остыла,
Так приятны мне снег и мороз,
Потому что над всем, что было,
Колокольчик хохочет до слез.

1925

* * *

Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет.
Сердцу приятно с тихой болью
Что-нибудь вспомнить из ранних лет.

Снег у крыльца как песок зыбучий.
Вот при такой же луне, без слов,
Шапку из кошки на лоб нахлобучив,
Тайно покинул я отчий кров.

Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый,—
Старый хозяин своей избы.

Молча я комкаю новую шапку,
Не по душе мне соболий мех.
Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабу,
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей,—
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас,—
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

1925

* * *

Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,
По равнине голой катится бубенчик.

Эх вы, сани, сани! Конь ты мой буланый!
Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим — что такое?
И станцуем вместе под тальянку трое.

1925

* * *

Вечером синим, вечером лунным
Был я когда-то красивым и юным.

Неудержимо, неповторимо
Все пролетело... далече... мимо...

Сердце остыло, и выцвели очи...
Синее счастье! Лунные ночи!

1925

* * *

Свищет ветер, серебряный ветер,
В шелковом шелесте снежного шума.
В первый раз я в себе заметил —
Так я еще никогда не думал.

Пусть на окошках гнилая сырость,
Я не жалею, и я не печален.
Мне все равно эта жизнь полюбилась,
Так полюбилась, как будто вначале.

Взглянет ли женщина с тихой улыбкой —
Я уж взволнован. Какие плечи!
Тройка ль проскачет дорогой зыбкой —
Я уже в ней и скачу далече.

О, мое счастье и все удачи!
Счастье людское землей любимо.
Тот, кто хоть раз на земле заплачет, —
Значит, удача промчалась мимо.

Жить нужно легче, жить нужно проще,
Все принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.

1925

* * *

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Неприглядная дорога,
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эх вы, сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец — крестьянин,
Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,
Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень.

Эх, гармошка, смерть-отрава,
Знать, с того под этот вой
Не одна лихая слава
Пропадала трын-травой.

1925

* * *

Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! Ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо,—
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.

X—1925

* * *

Клен ты мой опавший, клен заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись, под метелью белой?

Или что увидел? Или что услышал?
Словно за деревню погулять ты вышел.

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу,
Утонул в сугробе, приморозил ногу.

Ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий,
Не дойду до дома с дружеской попойки.

Там вон встретил вербу, там сосну приметил,
Распевал им песни под метель о лете.

Сам себе казался я таким же кленом,
Только не опавшим, а вовсю зеленым.

И, утратив скромность, одуревши в доску,
Как жену чужую, обнимал березку.

28 XI 25

* * *

Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью,
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело,—
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.

Что отлюбили мы давно,
Ты не меня, а я — другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.

Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.

30 XI 25

* * *

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И, пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну и что же, лови, я не струшу.
Только как бы твой пыл не погас?
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты лишь отзвук, лишь только тень.
Мне в лице твоём снится другая,
У которой глаза — голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой
И, пожалуй, на вид холодна,
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь,
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь навек:
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.

1 XII 25

* * *

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова,
Не грусти и не печаль бровей,—
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

1925

ПОЭМЫ

ЛЕНИН

Отрывок из поэмы «Гуляй-поле»

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край!
Душа сжимается от боли.
Уж сколько лет не слышит поле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и доли.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?
Не сон, не сон, я вижу въявь,
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю, светит ли луна
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...

Но понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор.

.
Россия —
Страшный, чудный звон.

В деревьях березь, в цветъ — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

.

Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На поприще крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.
.

Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром,
И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.
. :

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите всё в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».

.

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

.

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Л е н и н у м е р!»
Их смерть к тоске не привела.

.

Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

1924

АННА СНЕГИНА

А. Воронскому

1

«Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.

Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодию
Рассажены тополя.

Мы в важные очень не лезем,
Но все же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.

Оброки платили мы к сроку,
Но — грозный судья — старшина
Всегда прибавлял к оброку
По мере муки и пшена.
И чтоб избежать напасти,
Излишек нам был без тягót.
Раз — власти, на то они власти,
А мы лишь простой народ.

Но люди — все грешные души.
У многих глаза — что клыки.
С соседней деревни Криуши
Косились на нас мужики.
Житье у них было плохое,
Почти вся деревня вскачь
Пахала одной сохою
На паре заезженных кляч.

Каких уж тут ждать обилий,—
Была бы душа жива.
Украдкой они рубили
Из нашего леса дрова.
Однажды мы их застали...
Они в топоры, мы тож.
От звона и скрежета стали
По телу катилась дрожь.

В скандале убийством пахнет.
И в нашу и в их вину
Вдруг кто-то из них как ахнет! —
И сразу убил старшину.

На нашей быдластой сходке
Мы делу условили ширь.
Судили. Забили в колодки
И десять услали в Сибирь.
С тех пор и у нас неуряды.
Скатилась со счастья вожжа.
Почти что три года кряду
У нас то падеж, то пожар».

*

Такие печальные вести
Возница мне пел весь путь.
Я в радовские предместья
Ехал тогда отдохнуть.

Война мне всю душу изъела,
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.
Я понял, что я — игрушка,
В тылу же купцы да знать,
И, твердо простившись с пушками,
Решил лишь в стихах воевать.
Я бросил мою винтовку,
Купил себе «липу»¹, и вот
С такою-то подготовкой
Я встретил 17-й год.

Свобода взметнулась неистово.
И в розово-смердном огне
Тогда над страной калифствовал
Керенский на белом коне.
Война «до конца», «до победы».
И ту же сермяжную рать
Прохвосты и дармоеды
Сгоняли на фронт умирать.
Но все же не взял я шпагу...
Под грохот и рев мортир
Другую явил я отвагу —
Был первый в стране дезертир.

¹ «Л и п а» — поддельный документ. (Примеч. С. А. Есенина.)

*

Дорога довольно хорошая,
Приятная хладная звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
«Ну, вот оно, наше Радово,—
Промолвил возница,—
Здесь!
Недаром я лошади вкладывал
За норов ее и спесь.
Позволь, гражданин, на чайшко.
Вам к мельнику надо?
Так вон!..
Я требую с вас без излишка
За дальний такой прогон».
.

Даю сороковку.
«Мало!»
Даю еще двадцать.
«Нет!»
Такой отвратительный малый.
А малому тридцать лет.
«Да что ж ты?
Имеешь ли душу?
За что ты с меня гребешь?»
И мне отвечает туша:
«Сегодня плохая рожь.
Давайте еще незвонких
Десяток иль штукек шесть —
Я выпью в шинке самогонки
За ваше здоровье и честь...»

*

И вот я на мельнице...
Ельник
Осыпан свечьми светляков.
От радости старый мельник
Не может сказать двух слов:
«Голубчик! Да ты ли?
Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог!»

В апреле прозябнуть трудно,
Особенно так в конце.
Был вечер задумчиво чудный,
Как дружья улыбка в лице.
Объятья мельника круты,
От них заревет и медведь,
Но все же в плохие минуты
Приятно друзей иметь.

«Откуда? Надолго ли?»
«На год».
«Ну, значит, дружище, гуляй!
Сим летом грибов и ягод
У нас хоть в Москву отбавляй.
И дичи здесь, братец, до черта,
Сама так под порох и прет.
Подумай ведь только...
Четвертый
Тебя не видали мы год...»

.
.

Беседа окончена...
Чинно
Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»
Далекие, милые были,
Тот образ во мне не угас...
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

2

«Ну что же! Вставай, Сергуша!
Еще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.

Я сам-то сейчас уеду
К помещице Снегиной...
Ей
Вчера настрелял я к обеду
Прекраснейших дупелей».

Привет тебе, жизни денница!
Встаю, одеваюсь, иду.
Дымком отдаёт росяница
На яблонях белых в саду.
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек.
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калёк!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют ещё!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек.

Нет, нет!
Не пойду навеки.
За то, что какая-то мразь
Бросает солдату-калеке
Пятак или гривенник в грязь.

«Ну, доброе утро, старуха!
Ты что-то немного сдала?»
И слышу сквозь кашель глухо:
«Дела одолели, дела.
У нас здесь теперь беспокойно.
Испариной все зацвело.
Сплошные мужицкие войны —
Дерутся селом на село.
Сама я своими ушами
Слыхала от прихожан:
То радовцев бьют криушане,
То радовцы бьют криушан.
А все это, значит, безвластье.
Прогнали царя...
Так вот...
Посыпались все напасти
На наш неразумный народ.
Открыли зачем-то остроги,
Злодеев пустили лихих.

Теперь на большой дороге
Покою не знай от них.
Вот тоже, допустим... с Криуши...
Их нужно б в тюрьму за тюрьмой,
Они ж, воровские души,
Вернулись опять домой.
У них там есть Прон Оглоблин,
Булдыжник, драчун, грубиян.
Он вечно на всех озлоблен,
С утра по неделям пьян
И нагло в третьевом годе,
Когда объявили войну,
При всем честном народе
Убил топором старшину.
Таких теперь тысячи стало
Творить на свободе гнусь.
Пропала Расея, пропала...
Погибла кормилица Русь...»

Я вспомнил рассказ возницы
И, взяв свою шляпу и трость,
Пошел мужикам поклониться,
Как старый знакомый и гость.

*

Иду голубою дорожкой
И вижу — навстречу мне
Несется мой мельник на дрожках
По рыхлой еще целине.
«Сергуха! За милую душу!
Постой, я тебе расскажу!
Сейчас! Дай поправить вожжу,
Потом я тебя оглоушу.
Чего ж ты мне утром ни слова?
Я Снегиным так и бряк.
Приехал ко мне, мол, веселый
Один молодой чудаки.
(Они ко мне очень желанны,
Я знаю их десять лет.)
А дочь их замужняя Анна
Спросила:
— Не тот ли, поэт?
— Ну, да,— говорю,— он самый.
— Блондин?

— Ну конечно, блондин!
— С кудрявыми волосами?
— Забавный такой господин!
— Когда он приехал?
— Недавно.
— Ах, мамочка, это он!
Ты знаешь,
Он был забавно
Когда-то в меня влюблен.
Был скромный такой мальчишка,
А нынче...
Поди ж ты...
Вот...
Писатель...
Известная шишка...
Без просьбы уж к нам не придет».

И мельник, как будто с победы,
Лукаво прищурил глаз:
«Ну ладно! Прощай до обеда.
Другое сдержу про запас».

Я шел по дороге в Криушу
И тростью сшибал зеленя.
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо роман.

*

Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу, на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.

Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
«Здорово, друзья!»
«Э, охотник!»
Здорово, здорово!
Садись!
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Что нового в Питере слышно?
С министрами, чай, ведь знаком?
Недаром, едрит твою в дышло,
Воспитан ты был кулаком.
Но все ж мы тебя не порочим.
Ты — свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.
Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод...
Скажи:
Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других?»

И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню
Под звон головы:
«Скажи,
Кто такое «Ленин»?»
Я тихо ответил:
«Он — вы».

3

На корточках ползали слухи,
Судили, решали, шепча.
И я от моей старухи
Достаточно их получал.

Однажды, вернувшись с тяги,
Я лег подремать на диван.
Разносчик болотной влаги,
Меня прознобил туман.
Трясло меня, как в лихорадке,
Бросало то в холод, то в жар,
И в этом проклятом припадке
Четыре я дня пролежал.

Мой мельник с ума, зная, спятил.
Поехал,
Кого-то привез...
Я видел лишь белое платье
Да чей-то привздернутый нос.
Потом, когда стало легче,
Когда прекратилась трясь,
На пятые сутки под вечер
Простуда моя улеглась.
Я встал.
И лишь только пола
Коснулся дрожащей ногой,
Услышал я голос веселый:
«А!
Здравствуйте, мой дорогой!
Давненько я вас не видала.
Теперь из ребяческих лет
Я важная дама стала,
А вы — знаменитый поэт.

.

Ну, сядем.
Прошла лихорадка?
Какой вы теперь не такой!
Я даже вздохнула украдкой,
Коснувшись до вас рукой.
Да...
Не вернуть, что было.
Все годы бегут в водоем.
Когда-то я очень любила
Сидеть у калитки вдвоем.
Мы вместе мечтали о славе...
И вы угодили в прицел,
Меня же про это заставил
Забыть молодой офицер...»

Я слушал ее и невольно
 Оглядывал стройный лик.
 Хотелось сказать:
 «Довольно!
 Найдите другой язык!»

Но почему-то, не знаю,
 Смущенно сказал невпопад:
 «Да... Да...
 Я сейчас вспоминаю...
 Садитесь.
 Я очень рад.
 Я вам прочитаю немного
 Стихи
 Про кабацкую Русь...
 Отделано четко и строго.
 По чувству — цыганская грусть».
 «Сергей!
 Вы такой нехороший.
 Мне жалко,
 Обидно мне,
 Что пьяные ваши дебоши
 Известны по всей стране.
 Скажите:
 Что с вами случилось?»
 «Не знаю».
 «Кому же знать?»
 «Наверно, в осеннюю сырость
 Меня родила моя мать».
 «Шутник вы...»
 «Вы тоже, Анна».
 «Кого-нибудь любите?»
 «Нет».
 «Тогда еще более странно
 Губить себя с этих лет:
 Пред вами такая дорога...»

Сгущалась, туманилась даль...
 Не знаю, зачем я трогал
 Перчатки ее и шаль.

.

Луна хохотала, как клоун.
 И в сердце хоть прежнего нет,

По-странному был я полон
Наплывом шестнадцати лет.
Расстались мы с ней на рассвете
С загадкой движений и глаз...

Есть что-то прекрасное в лете,
А с летом прекрасное в нас.

*

Мой мельник...
Ох, этот мельник!
С ума меня сводит он.
Устроил волынку, бездельник,
И бегают, как почтальон.
Сегодня опять с запиской,
Как будто бы кто-то влюблен:
«Придите.
Вы самый близкий.
С любовью
Оглоблин Прон».

Иду.
Прихожу в Криушу.
Оглоблин стоит у ворот
И спьяну в печенки и в душу
Костит обнищальный народ.
«Эй, вы!
Тараканье отродье!
Все к Снегиной!..
Р-раз и квас!
Даешь, мол, твои угоды
Без всякого выкупа с нас!»
И тут же, меня завидя,
Снижая сварливую прыть,
Сказал в неподдельной обиде:
«Крестьян еще нужно варить».

«Зачем ты позвал меня, Проша?»
«Конечно, ни жать, ни косить.
Сейчас я достану лошадь
И к Снегиной... вместе...
Просить...»
И вот запрягли нам клячу.
В оглоблях мосластая шкетъ —
Таких отдают с придачей,
Чтоб только самим не иметь.

Мы ехали мелким шагом,
И путь нас смешил и злил:
В подъемах по всем оврагам
Телегу мы сами везли.
Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад.
Слезаем.
Подходим к террасе
И, пыль отряхая с плеч,
О чьем-то последнем часе
Из горницы слышим речь:
«Рыдай не рыдай — не помога...
Теперь он холодный труп...
Там кто-то стучит у порога...
Припудрись...
Пойду отопру...»

Дебелая грустная дама
Откинула добрый засов.
И Прон мой ей брякнул прямо
Про землю,
Без всяких слов.
«Отдай!..—
Повторял он глухо.—
Не ноги ж тебе целовать!»

Как будто без мысли и слуха
Она принимала слова.
Потом в разговорную очередь
Спросила меня
Сквозь жуть:
«А вы, вероятно, к дочери?
Присядьте...
Сейчас доложу...»

Теперь я отчетливо помню
Тех дней роковое кольцо.
Но было совсем не легко мне
Увидеть ее лицо.
Я понял —
Случилось горе.
И молча хотел помочь.
«Убили... Убили Борю...

Оставьте!
Уйдите прочь!
Вы — жалкий и низкий трусишка.
Он умер...
А вы вот здесь...»

Нет, это уж было слишком.
Не всякий рожден перенести.
Как язвы, стыдись оплеухи,
Я Прону ответил так:
«Сегодня они не в духе...
Поедем-ка, Прон, в кабак...»

4

Все лето провел я в охоте.
Забыл ее имя и лик.
Обиду мою
На болоте
Оплакал рыдальщик-кулик.

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочъ,
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь.
Заря холодней и багровей.
Туман припадает ниц.
Уже в облетевшей дуброве
Разносится звон синиц.
Мой мельник всю улыбаётся,
Какая-то веселость в нем.
«Теперь мы, Сергуха, по зайцам
За милую душу пальнем!»
Я рад и охоте...
Коль нечем
Развеять тоску и сон.
Сегодня ко мне под вечер,
Как месяц, вкатился Прон.
«Дружище!
С великим счастьем!
Настал ожидаемый час!
Приветствую с новой властью!
Теперь мы всех р-раз и квас!

Без всякого выкупа с лета
Мы пашни берем и леса.
В России теперь Советы
И Ленин — старшой комиссар.
Дружище!
Вот это номер!
Вот это почин так почин.
Я с радости чуть не помер,
А брат мой в штаны намочил.
Едри ж твою в бабушку плюнуть!
Гляди, голубарь, веселей!
Я первый сейчас же коммуны
Устрою в своем селе».

У Прона был брат Лабуля,
Мужик — что твой пятый туз:
При всякой опасной минуте
Хвальбишка и дьявольский трус.
Таких вы, конечно, видали.
Их рок болтовней наградил.
Носил он две белых медали
С японской войны на груди.
И голосом хриплым и пьяным
Тянул, заходя в кабак:
«Прославленному под Ляояном
Ссудите на четвертак...»
Потом, насосавшись до дури,
Взволнованно и горячо
О сдавшемся Порт-Артуре
Соседу слезил на плечо.
«Голубчик! —
Кричал он. —
Петя!
Мне больно... Не думай, что пьян.
Отвагу мою на свете
Лишь знает один Ляоян».

Такие всегда на примете.
Живут, не мозоля рук.
И вот он, конечно, в Совете,
Медали запрятал в сундук.
Но с тою же важной осанкой,
Как некий седой ветеран,
Хрипел под сивушной банкой
Про Нерчинск и Турухан:

«Да, братец!
Мы горе видали,
Но нас не запугивал страх...»

.

Медали, медали, медали
Звенели в его словах.
Он Прону вытягивал нервы,
И Прон материл не судом.
Но все ж тот поехал первый
Описывать снегинский дом.

В захвате всегда есть скорость:
«Даешь! Разберем потом!»

Весь хутор забрали в волость
С хозяйками и со скотом.

А мельник...

.

Мой старый мельник
Хозяек привез к себе,
Заставил меня, бездельник,
В чужой ковыряться судьбе.
И снова нахлынуло что-то...
Тогда я всю ночь напролет
Смотрел на скривленный заботой
Красивый и чувственный рот.

Я помню —
Она говорила:
«Простите... Была не права...
Я мужа безумно любила.
Как вспомню... болит голова...
Но вас
Оскорбила случайно...
Жестокость была мой суд...
Была в том печальная тайна,
Что страстью преступной зовут.
Конечно,
До этой осени
Я знала б счастливую быль...
Потом бы меня вы бросили,
Как выпитую бутылъ...
Поэтому было не надо...

Ни встреч... ни вообще продолжать...
Тем более с старыми взглядами
Могла я обидеть мать».

Но я перевел на другое,
Уставясь в ее глаза.
И тело ее тугое
Немного качнулось назад.
«Скажите,
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?»
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор...

.

«Смотрите...
Уже светает.
Заря как пожар на снегу...
Мне что-то напоминает...
Но что?..
Я понять не могу...
Ах!.. Да...
Это было в детстве...
Другой... Не осенний рассвет...
Мы с вами сидели вместе...
Нам по шестнадцать лет...»

Потом, оглядев меня нежно
И лебедя выгнув рукой,
Сказала как будто небрежно:
«Ну ладно...
Пора на покой...»

.

Под вечер они уехали.
Куда?
Я не знаю куда.
В равнине, проложенной вехами,
Дорогу найдешь без труда.

Не помню тогдашних событий,
Не знаю, что сделал Прон.
Я быстро умчался в Питер
Развеять тоску и сон.

Суровые, грозные годы!
 Но разве всего описать?
 Слышали дворцовые своды
 Солдатскую крепкую «мать».

Эх, удаль!
 Цветение в далях!
 Недаром чумазый сброд
 Играл по дворам на роялях
 Коровам тамбовский фокстрот.
 За хлеб, за овес, за картошку
 Мужик залучил граммофон,—
 Слюнявя козлиную ножку,
 Танго себе слушает он.
 Сжимая от прибыли руки,
 Ругаясь на всякий налог,
 Он мыслит до дури о штуке,
 Катающейся между ног.

Шли годы
 Размашисто, пылко...
 Удел хлебороба гас.
 Немало попрело в бутылках
 «Керенок» и «ходей» у нас.
 Фефела! Кормилец! Касатик!
 Владелец земель и скотом,
 За пару измызганных «катек»
 Он даст себя выдрать кнутом.

Ну ладно.
 Довольно стонов!
 Не нужно насмешек и слов!
 Сегодня про участь Прона
 Мне мельник прислал письмо:
 «Сергуха! За милую душу!
 Привет тебе, братец! Привет!
 Ты что-то опять в Криушу
 Не кажешься целых шесть лет.
 Утешь!
 Соберись, на милость!
 Прижваривай по весне!
 У нас здесь такое случилось,
 Чего не расскажешь в письме.

Теперь стал спокой в народе,
И буря пришла в угомон.
Узнай, что в двадцатом годе
Расстрелян Оглоблин Прон.

Расея...
Дуровая зыкъ она.
Хошь верь, хошь не верь ушам —
Однажды отряд Деникина
Нагрянул на криушан.
Вот тут и пошла потеха...
С потехи такой — околеть.
Со скрежетом и со смехом
Гульнула казацкая плеть.
Тогда вот и чикнули Проню,
Лабутя ж в солому залез
И вылез,
Лишь только кони
Казацкие скрылись в лес.
Теперь он по пьяной морде
Еще не устал голосить:
«Мне нужно бы красный орден
За храбрость мою носить».
Совсем прокатились тучи...
И хоть мы живем не в раю,
Ты все ж приезжай, голубчик,
Утешить судьбину мою...»

*

И вот я опять в дороге.
Ночная июньская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ни шатко ни валко, как встарь.
Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...
Ельник
Усыпан свечьми светляков.

По-старому старый мельник
Не может связать двух слов:
«Голубчик! Вот радость! Сергуха!
Озяб, чай? Поди, продрог?
Да ставь ты скорее, старуха,
На стол самовар и пирог.
Сергунь! Золотой! Послушай!

.

И ты уж старик по годам...
Сейчас я за милую душу
Подарок тебе передам».
«Подарок?»
«Нет...
Просто письмишко.
Да ты не спеши, голубок.
Почти что два месяца с лишком
Я с почты его приволок».

Вскрываю... читаю... Конечно!
Откуда же больше и ждать!
И почерк такой беспечный,
И лондонская печать.

«Вы живы?.. Я очень рада...
Я тоже, как вы, жива.
Так часто мне снится ограда,
Калитка и ваши слова.
Теперь я от вас далеко...
В России теперь апрель.
И синею заволокой
Покрыта береза и ель.
Сейчас вот, когда бумаге
Вверяю я грусть моих слов,
Вы с мельником, может, на тяге
Подслушиваете тетеревов.
Я часто хожу на пристань
И, то ли на радость, то ль в страх,
Гляжу средь судов все пристальней
На красный советский флаг.
Теперь там достигли силы.
Дорога моя ясна...
Но вы мне по-прежнему милы,
Как родина и как весна».

.

Письмо как письмо.
Беспричинно.
Я в жисть бы таких не писал.

По-прежнему с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.

*Январь 1925 г.
Батум*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

ЖЕЛЕЗНЫЙ МИРГОРОД

1

...Да, я вернулся не тем. Много дано мне и много отнято.
Перевешивает то, что дано.

Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое переломилось особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой. Поэтому краткое описание моих скитаний начинаю с Америки.

Если взять это с точки зрения океана, то все-таки и это ничтожно, особенно тогда, когда в водяных провалах эта громадина качается своей тушей, как поскользающийся... (Простите, что у меня нет образа для сравнения: я хотел сказать — как слон, но это превосходит слона приблизительно в 10 тысяч раз. Эта громадина сама — образ. Образ без всякого подобия. Вот тогда я очень ясно почувствовал, что проповедуемый мною и моими друзьями «имажинизм» иссякает. Почувствовал, что дело не в сравнениях, а в самом органическом.) Но если взглянуть на это с точки зрения того, на что способен человек, то можно развести руками и сказать: «Милый, да что ты наделал? Как тебе?.. Да как же это?..»

Когда я вошел в корабельный ресторан, который площадью немного побольше нашего Большого театра, ко мне подошел мой спутник и сказал, что меня просят в нашу кабину.

Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять, через огромный коридор, спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ваннные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показались смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше.

Вспомнил про «дым отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских шоссе наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию.

Милостивые государи!

С того дня я еще больше влюбился в коммунистическое строительство. Пусть я не близок коммунистам, как романтик в моих поэмах, — я близок им умом и надеюсь, что буду, быть может, близок и в своем творчестве. С такими мыслями я ехал в страну Колумба. Ехал океаном шесть дней, проводя жизнь среди ресторанной и отдыхающей в фокстроте публики.

¹ Пароход «Париж» (англ.).

На шестой день, около полудня, показалась земля. Через час глазам моим предстал Нью-Йорк.

Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов. Рассказать ее будет ничтожно. Милые, глупые российские доморощенные урбанисты и электрификаторы в поэзии! Ваши «кузницы» и ваши «лефы» — как Тула перед Берлином или Парижем.

Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Хочется скорее на берег, но... прежде должны осмотреть паспорта...

В сутолоке сходящих подходим к какому-то важному субъекту, который осматривает документы. Он долго вертит документы в руках, долго обмеривает нас косыми взглядами и спокойно по-английски говорит, что мы должны идти в свою кабину, что в Штаты он нас впустить не может и что завтра он нас отправит на Элис-Аленд.

Элис-Аленд — небольшой остров, где находятся карантин и всякие следственные комиссии. Оказывается, что Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы. Завтра на Элис-Аленд... Могут отослать обратно, но могут и посадить...

В кабину к нам неожиданно являются репортеры, которые уже знали о нашем приезде. Мы выходим на палубу. Сотни кинематографистов и журналистов бегают по палубе, щелкают аппаратами, чертят карандашами и все спрашивают, спрашивают и спрашивают. Это было приблизительно около 4 часов дня, а в 5^{1/2} нам принесли около 20 газет с нашими портретами и огромными статьями о нас. Говорилось в них немного об Айседоре Дункан, о том, что я поэт, но больше всего о моих ботинках и о том, что у меня прекрасное сложение для легкой атлетики и что я наверняка был бы лучшим спортсменом в Америке. Ночью мы грустно ходили со спутником по палубе. Нью-Йорк в темноте еще величественнее. Копны и стога огней кружились над зданиями, громадины с суровой мощью вздрагивали в зеркале залива.

Утром нас отправили на Элис-Аленд. Садясь на маленький пароход в сопровождении полицейских и журналистов, мы взглянули на статую свободы и прыснули со смеху. «Бедная, старая девушка! Ты поставлена здесь ради курьеза!» — сказал я. Журналисты стали спрашивать нас, чему мы так громко смеемся. Спутник мой перевел им, и они тоже засмеялись.

На Элис-Аленде нас по бесчисленным комнатам провели в комнату политических экзаменов. Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напомнили мне рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя.

— Смотри,— сказал я спутнику,— это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены!

— Мистер Есенин,— сказал господин. Я встал.— Подойдите к столу! — вдруг твердо сказал он по-русски. Я ошалел.

— Подымите правую руку и отвечайте на вопросы.

Я стал отвечать, но первый вопрос сбил меня с толку:

— В бога верите?

Что мне было сказать? Я поглядел на спутника, тот мне кивнул головой, и я сказал:

— Да.

— Какую признаете власть?

Еще не легче. Сбивчиво я стал говорить, что я поэт и что в политике ничего не смыслю. Помирились мы с ним, помню, на народной власти. Потом он, не глядя на меня, сказал:

— Повторяйте за мной: «Именем господа нашего Иисуса Христа обещаюсь говорить чистую правду и не делать никому зла. Обещаюсь ни в каких политических делах не принимать участия».

Я повторял за ним каждое слово, потом расписался, и нас выпустили. (После мы узнали, что друзья Дункан дали телеграмму Гардингу. Он дал распоряжение по легком опросе впустить меня в Штаты.) Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине.

— Миргород! Миргород! Свинья спасла!

НЬЮ-ЙОРК

Слома голову я сбежал с паровой лестницы на берег. Вышли с пристани на стрит, и сразу на меня пахло запахом, каким-то знакомым запахом. Я стал вспоминать: «Ах да, это... это тот самый... тот самый запах, который бывает в лавочках со скобяной торговлей». Около пристани на рогожах сидели или лежали негры. Нас встретила заинтересованная газетами толпа.

Когда мы сели в автомобиль, я сказал журналистам: «Mi laik Amerika...»¹

Через десять минут мы были в отеле.

Москва, 14 августа 1923 г.

¹ Мне нравится Америка... (искаж. англ.)

БРОДВЕЙ

На наших улицах слишком темно, чтобы понять, что такое электрический свет Бродвея. Мы привыкли жить под светом луны, жечь свечи перед иконами, но отнюдь не перед человеком.

Америка внутри себя не верит в бога. Там некогда заниматься этой чепухой. Там свет для человека, и потому я начну не с самого Бродвея, а с человека на Бродвее.

Обиженным на жестокость русской революции культурникам не мешало бы взглянуть на историю страны, которая так высоко взметнула знамя индустриальной культуры.

Что такое Америка?

Вслед за открытием этой страны туда потянулся весь неудачливый мир Европы, искатели золота и приключений, авантюристы самых низших марок, которые, пользуясь человеческой игрой в государства, шли на службу к разным правительствам и теснили коренной красный народ Америки всеми средствами.

Красный народ стал сопротивляться, начались жестокие войны, и в результате от многомиллионного народа краснокожих осталась горсточка (около 500 000), которую содержат сейчас, тщательно огородив стеной от культурного мира, кинематографические предприниматели. Дикий народ пропал от виски. Политика хищников разложила его окончательно. Гайавату заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью на болота Флориды, частью в снега Канады.

Но и все же, если взглянуть на ту беспощадную мощь железобетона, на повисший между двумя городами Бруклинский мост, высота которого над землей равняется высоте 20-этажных домов, все же никому не будет жаль, что дикий Гайавата уже не охотится здесь за оленем. И не жаль, что рука строителей этой культуры была иногда жестокой.

Индеец никогда бы не сделал на своем материке того, что сделал «белый дьявол».

Сейчас Гайавата — этнографический киноартист; он показывает в фильмах свои обычаи и свое дикое несложное искусство. Он все так же плавает в отгороженных водах на своих узеньких пирогах, а около Нью-Йорка стоят громады броненосцев, по бокам которых висят десятками уже не шлюпки, а аэропланы, которые поднимаются в воздух по особо устроенным спускным доскам; возвращаясь, садятся на воду, и броненосцы громадными рычагами, как руками великанов, поднимают их и сажают на свои железные плечи.

Нужно пережить реальный быт индустрии, чтобы стать ее поэтом. У нашей российской реальности пока еще, как говорят, «слаба гайка», и потому мне смешны поэты, которые пишут свои стихи по картинкам плохих американских журналов.

В нашем литературном строительстве со всеми устоями на советской платформе я предпочитаю везти телегу, которая есть, чтобы не оболгать тот быт, в котором мы живем. В Нью-Йорке лошади давно сданы в музей, а в наших родных пенатах...

Ну да ладно! Москва не скоро строится. Поговорим пока о Бродвее с точки зрения великих замыслов. Эта улица тоже ведь наша.

Сила Америки развернулась окончательно только за последние двадцать лет. Еще сравнительно не так давно Бродвей походил на наш старый Невский, теперь же это что-то головокружительное. Этого нет ни в одном городе мира. Правда, энергия направлена исключительно только на рекламный бег. Но зато дьявольски здорово! Американцы зовут Бродвей, помимо присущего ему названия «окраинная дорога», — «белая дорога». По Бродвею ночью гораздо светлее и приятнее идти, чем днем.

Перед глазами — море электрических афиш. Там, на высоте 20-го этажа, кувыркаются сделанные из лампочек гимнасты. Там, с 30-го этажа, курит электрический мистер, выпуская электрическую линию дыма, которая переливается разными кольцами. Там, против театра, на вращающемся электрическом колесе танцует электрическая Терпсихора и т. д., все в том же роде, вплоть до электрической газеты, строчки которой бегут по 20-му или 25-му этажу налево непрерывно до конца номера. Одним словом: «Умри, Денис!..» По радио музыка Чайковского из музыкальных магазинов слышится в Сан-Франциско, но любители могут его слушать и в Нью-Йорке, сидя в своей квартире.

Когда все это видишь или слышишь, то невольно поражаешься возможностям человека, и стыдно делается, что у нас в России верят до сих пор в деда с бородой и уповают на его милость.

Бедный русский Гайавата!

БЫТ И ГЛУБЬ ШТАТОВ

Тот, кто знает Америку по Нью-Йорку и Чикаго, тот знает только праздничную или, так сказать, выставочную Америку.

Нью-Йорк и Чикаго есть не что иное, как достижения в производственном искусстве. Чем дальше вглубь, к Калифорнии, впечатление громоздкости исчезает: перед глазами бегут равнины с жиденькими лесами и (увы, страшно похоже на Россию!) маленькие деревянные селения негров. Города становятся похо-

жими на европейские, с той лишь разницей, что если в Европе чисто, то в Америке все взрыто и навалено как попало, как бывает при постройках. Страна все строит и строит.

Черные люди занимаются земледелием и отхожим промыслом. Язык у них американский. Быт — под американцев. Выходцы из Африки, они сохранили в себе лишь некоторые инстинктивные выражения своего народа в песнях и танцах. В этом они оказали огромное влияние на мюзик-холльный мир Америки. Американский фокстрот есть не что иное, как разжиженный национальный танец негров. В остальном негры народ довольно примитивный, с весьма необузданными нравами. Сами американцы — народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры.

Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Business»¹ и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития. Там до сих пор остается неразрешенным вопрос: нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. Все это свидетельствует о том, что американцы — народ весьма молодой и не вполне сложившийся. Та громадная культура машин, которая создала славу Америке, есть только результат работы индустриальных творцов и ничуть не похожа на органическое выявление гения народа. Народ Америки — только честный исполнитель заданных ему чертежей и их последователь. Если говорить о культуре электричества, то всякое зрение упрется в этой области в фигуру Эдисона. Он есть сердце этой страны. Если бы не было этого гениального человека в эти годы, то культура радио и электричества могла бы появиться гораздо позже, и Америка не была бы столь величественной, как сейчас.

Со стороны внешнего впечатления в Америке есть замечательные курьезы. Так, например, американский полисмен одет под русского городского, только с другими кантами.

Этот курьез объясняется, вероятно, тем, что мануфактурная промышленность сосредоточилась главным образом в руках эмигрантов из России. Наши сородичи, видно, из тоски по родине, нарядили полисмена в знакомый им вид формы...

Свет иногда бывает страшен. Море огня с Бродвея освещает в Нью-Йорке толпы продажных и беспринципных журналистов. У нас таких и на порог не пускают, несмотря на то что мы живем чуть ли не при керосиновых лампах, а зачастую и совсем без огня.

Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение. Нравы американцев напоминают незаб-

¹ Бизнес, дела (англ.).

венной гоголевской памяти нравы Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

Как у последних не было города лучше Полтавы, так и у первых нет лучше и культурней страны, чем Америка.

— Слушайте,— говорил мне один американец,— я знаю Европу. Не спорьте со мною. Я изъездил Италию и Грецию. Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?

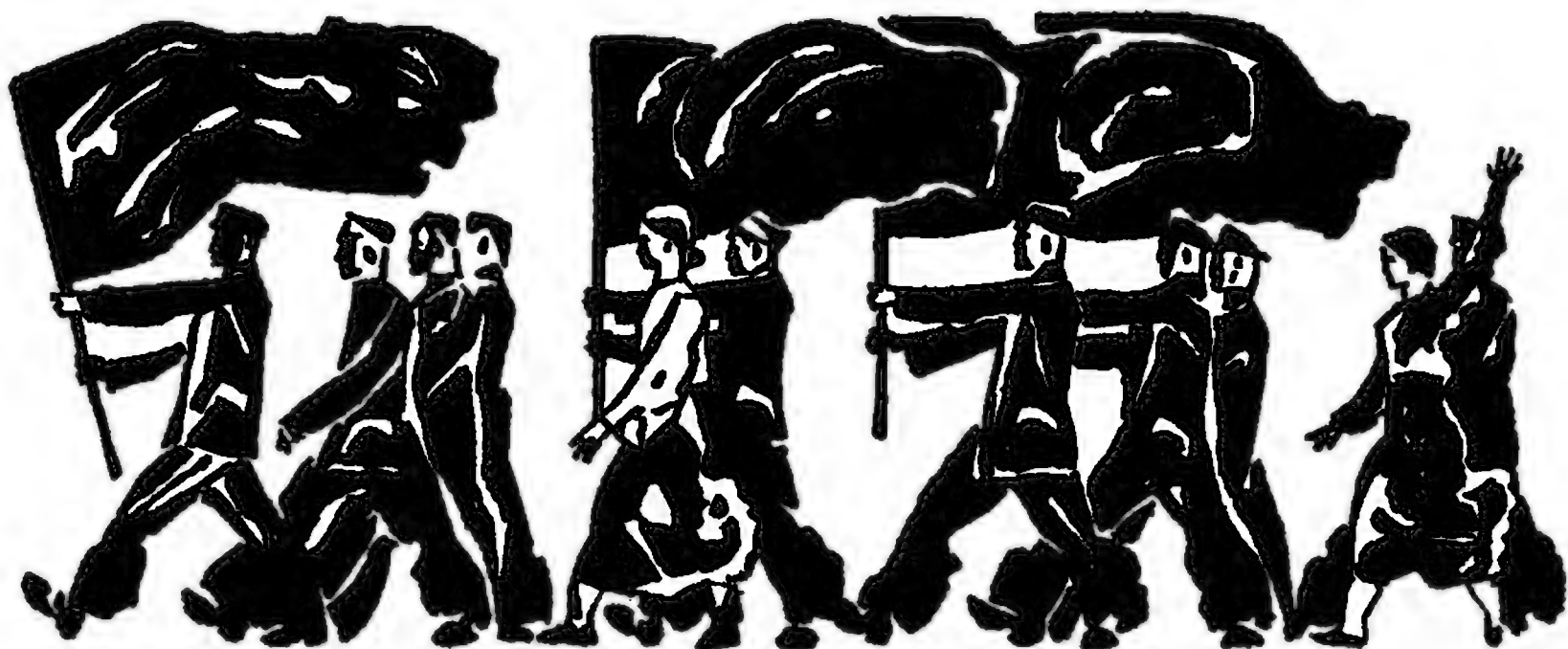
От таких слов и смеяться и плакать хочется. Эти слова замечательно характеризуют Америку во всем, что составляет ее культуру внутреннюю. Европа курит и бросает, Америка подбирает окурки, но из этих окурков растет что-то грандиозное.

1923



ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ





СТИХОТВОРЕНИЯ

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

1913

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки
жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

1914

ГИМН СУДЬЕ

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандалное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобабы.

Банан, ананасы! Радостей груда!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот неизвестно зачем и откуда
на Перу наперли судьи!

И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост,—
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».

Экватор дрожит от кандалных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

1915

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодарностью миноносному.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбежала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносному.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица.

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносином?

1915

ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА

Женщину ль опутываю в трогательный роман,
просто на прохожего гляжу ли —
каждый опасливо придерживает карман.
Смешные!
С нищих —
что с них сжулить?

Сколько лет пройдет, узнают пока —
кандидат на сажень городского морга —
я
бесконечно больше богат,
чем любой Пьерпонт Морган.

Через столько-то, столько-то лет
— словом, не выживу —
с голода сдохну ль,
стану ль под пистолет —
меня,
сегодняшнего рыжего,
профессора́ разучат до последних иот,

как,
когда,
где явлен.
Будет
с кафедры лобастый идиот
что-то молоть о богодьяволе.

Склóнится толпа,
лебезяща,
суетна.
Даже не узнаете —
я не я:
облысевшую голову разрисует она
в рога или в сияния.

Каждая курсистка,
прежде чем лечь,
она
не забудет над стихами моими замлеть.
Я — пессимист,
знаю —
вечно
будет курсистка жить на земле.

Слушайте ж:

все, чем владеет моя душа,
— а ее богатства пойдите смертьте ей! —
великолепие,
что в вечность украсит мой шаг,
и самое мое бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклоненных соберет мировое вече, —
все это — хотите? —
сейчас отдам
за одно только слово
ласковое,
человечье.

Люди!

Пыля проспекты, топоча рожь,
идите со всего земного лона.
Сегодня
в Петрограде

на Надеждинской
ни за грош
продается драгоценнейшая корона.
За человеческое слово —
не правда ли, дешево?
Пойди,
попробуй, —
как же,
найдешь его!

1916

СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ, ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан, —
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,
такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!

Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром,—
ныл бы,
дрождю объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовой,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

1916

* * *

Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй.

1917

ТУЧКИНЫ ШТУЧКИ

Плыли по небу тучки.
Тучек — четыре штучки:

от первой до третьей — люди,
четвертая была верблюдик.

К ним, любопытством объятая,
по дороге пристала пятая,

от нее в небосинем лоне
разбежались за слоником слоник.

И, не знаю, спугнула шестая ли,
тучки взяли все — и растаяли.

И следом за ними, гонясь и сжирав,
солнце погналось — желтый жираф.

1917—1918

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб.—

Ветром опита,
льдом обута,
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...
Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеща вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на́ ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Тебе,
освищенная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъявленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двулика?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овейному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля,—
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава».
Хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушенно тонок.
Ты шлешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус заливчатский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.

Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная! —

1918

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителят стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утек.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало — построить па́рами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армии,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскрой ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть

и на роскошь чужую
в отдых
осовелыми глазками хлопать.
Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

1918

ЛЕВЫЙ МАРШ

(МАТРОСАМ)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синемлузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздывает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами го́ря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат на́нятой,
стальной изливаются ле́евой,—
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!
Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга — вздорны.
Без мозга
рукам нет дела.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.

Нас
продавали на вырез.
Военный вздымался вой.
Когда
над миром вырос
Ленин
огромной головой.
И зѣмли
сели на о́си.
Каждый вопрос — прост.
И выявилось
два
в хао́се
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем кого — мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им идти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улітье — «пождем»!
Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.

Пожарами землю ды́мя,
езде,
где народ испле́нен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это—
не стихов вееру
обмахивать юбиляра уют.—
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

1920

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

*(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,
27 верст по Ярославской жел. дор.)*

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце а́ло.

И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шлаться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведа,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —

жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему, —
skonфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сизжу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,

а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.

Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурировать я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны —
от Адама
до наших лет,
потрясающие театрами именуемые притоны
ариями Ромеов и Джульетт.

Это вам —
пентры,
раздобревшие как кони,
жрущая и ржущая России краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому дракона
цветочки и телеса.

Это вам —
прикрывшиеся листиками мистики,
лбы морщинками изрыв —
футуристики,
имажинистики,
акмеистики,
запутавшиеся в паутине рифм.
Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти — лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся,
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю
я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мелехлюндии
из арсеналов искусств.
Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам.
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»
Пока канителю, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вопль по вещам.

Нет дураков,
жда, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязи.

1921

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она», —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.

Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?

Нет!
не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраничный
грохотать
набатный
ленинский язык.

Разве гром бывает немостою болен?!
Разве сдержишь смерч,
чтоб вихрем не кипел?!

Нет!

не ослабеет ленинская воля
в миллионно сильной воле РКП.

Разве жар
такой
термометрами меряется?!

Разве пульс
такой
секундами гудит?!

Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Нет!
Нет!
Не-е-ет...
Не хотим,
 не верим в белый бюллетень.
С глаз весенних
 сгинь, навязчивая тень!

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Смерть —
не сметь!

Строит,
 рушит, кроит
 и рвет,
тихнет,
 кипит
 и пенится,
гудит,
 говорит,
 молчит
 и ревет —
юная армия:
 ленинцы.
Мы
 новая кровь
 городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
 нить.
Ленин —
 жил,
Ленин —
 жив,
Ленин —
 будет жить.
Залили горем.
 Свезли в мавзолей
частицу Ленина —
 тело.
Но тленью не взять —
 ни земле,
 ни золе —
первейшее в Ленине —
 дело.
Смерть,
 косу положи!
Приговор лжив.
С таким
 небесам
 не блажить.
Ленин —
 жил.
Ленин —
 жив.

Ленин —
будет жить.
Ленин —
жив
шаганьем Кремля —
вождя
капиталовых пленников.
Будет жить,
и будет
земля
гордиться именем:
Ленинка.
Еще
по миру
пройдут мятежи —
сквозь все межи
коммуне
путь проложить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:
«Ленин» и «Смерть» —
слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» —
товарищи.
Тверже
печаль держи.
Грудью
в горе прилив.
Нам —
не ныть.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Ленин рядом.
Вот
он.
Идет
и умрет с нами.

И снова
в каждом рожденном рожден —
как сила,
как знанье,
как знамя.

Земля,
под ногами дрожи.

За все рубежи
слова —
взвивайтесь кружить.

Ленин —
жил.

Ленин —
жив.

Ленин —
будет жить.

Ленин ведь
тоже
начал с азов, —

жизнь —
мастерская геньина.

С низа лет,
с класса низов —
рвись
разгромадиться в Ленина.

Дрожите, дворцов этажи!

Биржа нажив,
будешь
битая
выть.

Ленин —
жил.

Ленин —
жив.

Ленин —
будет жить.

Ленин
больше
самых больших,

но даже
и это
диво

создали всех времен
малыши —

мы,
малыши коллектива.

Мускул
узлом вяжи.
Зубы-ножи —
в знанье —
вонзай крошить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.
Строит,
рушит,
кройт
и рвет,
тихнет,
кипит
и пенится,
гудит,
молчит,
говорит
и ревет —
юная армия:
ленинцы.
Мы
новая кровь
городских жил,
тело нив,
ткацкой идей
нить.
Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

31 марта 1924 г.

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский.

Дайте руку!
Вот грудная клетка.
Слушайте,
уже не стук, а стон;
тревожусь я о нем,
в щенка смирённом львенке.
Я никогда не знал,
что столько
тысяч тонн
в моей
позорно легкомыслой головенке.
Я тащу вас.
Удивляетесь, конечно?
Стиснул?
Больно?
Извините, дорогой.
У меня,
да и у вас,
в запасе вечность.
Что нам
потерять
часок-другой?!
Будто бы вода —
давайте
мчать болтая,
будто бы весна —
свободно
и раскованно!
В небе вон
луна
такая молодая,
что ее
без спутников
и выпускать рискованно.
Я
теперь
свободен
от любви
и от плакатов.
Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.
Можно
убедиться,
что земля поката,—
сядь
на собственные ягодицы
и катись!

Нет,
 не навяжусь в меланхолишке черной,
 да и разговаривать не хочется
 ни с кем.
 Только
 жабры рифм
 топырит учащённо
 у таких, как мы,
 на поэтическом песке.
 Вред — мечта,
 и бесполезно грезить,
 надо
 весть
 служебную нуду.
 Но бывает —
 жизнь
 встает в другом разрезе,
 и большое
 понимаешь
 через ерунду.
 Нами
 лирика
 в штыки
 неоднократно атакована,
 ищем речи
 точной
 и нагой.
 Но поэзия —
 пресволоочнейшая штуковина:
 существует —
 и ни в зуб ногой.
 Например
 вот это —
 говорится или блеется?
 Синемордое,
 в оранжевых усах,
 Навуходонóсором
 библейцем —
 «Коопсах».
 Дайте нам стаканы!
 знаю
 способ старый
 в горе
 дуть винище,
 но смотрите —
 из
 выплывают Red и White Star'ы¹

¹ Красные и белые звезды (англ.).

с ворохом
 разнообразных виз.
 Мне приятно с вами,—
 рад,
 что вы у столика.
 Муза это
 ловко
 за язык вас тянет.
 Как это
 у вас
 говаривала Ольга?..
 Да не Ольга!
 из письма
 Онегина к Татьяне.
 — Дескать,
 муж у вас
 дурак
 и старый мерин,
 я люблю вас,
 будьте обязательно моя,
 я сейчас же
 утром должен быть уверен,
 что с вами днем увижусь я.—
 Было всякое:
 и под окном стояние,
 письма,
 тряски нервное желе.
 Вот
 когда
 и горевать не в состоянии —
 это,
 Александр Сергеич,
 много тяжелей.
 Айда, Маяковский!
 Маячь на юг!
 Сердце
 рифмами вымучь —
 вот
 и любви пришел каюк,
 дорогой Владим Владимыч.
 Нет,
 не старость этому имя!
 Тушу
 вперед стремя,
 я
 с удовольствием
 справлюсь с двоими,

А Некрасов
 Коля,
 сын покойного Алеши,—
 он и в карты,
 он и в стих,
 и так
 неплох на вид.
 Знаете его?
 вот он
 мужик хороший.
 Этот
 нам компания —
 пускай стоит.
 Что ж о современниках?!
 Не просчитались бы,
 за вас
 полсотни отдав.
 От зевоты
 скулы
 разворачивает аж!
 Дорогойченко,
 Герасимов,
 Кириллов,
 Родов —
 какой
 однаобразный пейзаж!
 Ну Есенин,
 мужиковствующих свора.
 Смех!
 Коровою
 в перчатках лаечных.
 Раз послушаешь...
 но это ведь из хора!
 Балалаечник!
 Надо,
 чтоб поэт
 и в жизни был мастак.
 Мы крепки,
 как спирт в полтавском штофе.
 Ну, а что вот Безыменский?!
 Так...
 ничего...
 морковный кофе.
 Правда,
 есть
 у нас
 Асеев Колька.
 Этот может.
 Хватка у него
 моя.

Но ведь надо
 заработать сколько!
 Маленькая,
 но семья.
 Были б живы —
 стали бы
 по Лефу соредактор.
 Я бы
 и агитки
 вам доверить мог.
 Раз бы показал:
 — вот так-то, мол,
 и так-то...
 Вы б смогли —
 у вас
 хороший слог.
 Я дал бы вам
 жиркость
 и сукна,
 в рекламу б
 выдал
 гумских дам.
 (Я даже
 ямбом подсюсюкнул,
 чтоб только
 быть
 приятней вам.)
 Вам теперь
 пришлось бы
 бросить ямб картавый.
 Нынче
 наши перья —
 штык
 да зубья вил,—
 битвы революций
 посерьезнее «Полтавы»,
 и любовь
 пограндиознее
 онегинской любви.
 Бойтесь пушкинистов.
 Старомозгий Плюшкин,
 перышко держа,
 полезет
 с перержавленным.
 — Тоже, мол,
 у лефов
 появился
 Пушкин.

Вот арап!
а состязается —
с Державиным...
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.

Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.

Навели
хрестоматийный глянец.

Вы
по-моему
при жизни
— думаю —

тоже бушевали. Африканец!

Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.

Мы 6 его спросили:
— А ваши кто родители?

Чем вы занимались до 17-го года? —

Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем.

Впрочем,
что ж болтанье! Спиритизма вроде.

Так сказать,
невольник чести...

пулю сражен...

и по сегодня
много ходит —

**ВСЯЧЕСКИХ
ОХОТНИКОВ
до наших жен.**

Хорошо у нас
в Стране Советов.

Можно жить,
работать можно дружно.

Только вот
поэтов,
к сожалению, нету —

впрочем, может,
это и не нужно.

Ну, пора:
 рассвет
 лучища выкалил.

Как бы милиционер разыскивать не стал.

На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.

Ну, давайте,
 подсажу
 на пьедестал.
Мне бы
 памятник при жизни
 полагается по чину.
Заложил бы
 динамиту
 — ну-ка,
 дрызнь!
Ненавижу
 всяческую мертвечину!
Обожаю
 всяческую жизнь!

1924

ВЛАДИКАВКАЗ — ТИФЛИС

Только
 нога
 ступила в Кавказ,
я вспомнил,
 что я —
 грузин.
Эльбрус,
 Казбек. И еще —
 как вас?!
На гору
 горы грузи!
Уже
 на мне
 никаких рубях.
Бродягой,—
 один архалух.
Уже
 подо мной
 такой карабах,
что Ройльсу —
 и то б в похвалу.
Было:
 с ордой,
 загорел и носат,
старее
 всего старья,
я влез,
 веков девятнадцать назад,

вот в этот самый
в Дарьял.

Лезгинщик
и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушой
отсюда
по самый Батум.

От этих дел
не вспомнят ни эги.

История —
врун даровитый
бубнит лишь,
что были
царьки да князьки:

Ираклии,
Нины,
Давиды.

Стена —
и то
знакомая что-то.

В тахтах
вот этой вот башни —
я помню:
я вел
Руставели Шо́той
с царицей
с Тамарою
шашни.

А после
катился,
костями хрустя,
чтоб в пену
Тереку врыться.

Да это что!
Любовный пустяк!

И лучше
резвилась царица.

А дальше
я видел —
в пробоину скал

вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.

Лениво
 от жизни
 взбираясь ввысь,
 гитарой
 душу отверз —
 «Мхолот шен эртс
 рац, ром чемтвис
 Моуция
 маглидган гмертс...»¹
 И утро свободы
 в кровавой росе
 сегодня
 встает поодаль.
 И вот
 я мечу,
 я, мститель Арсен,
 бомбы
 5-го года.
 Живились
 в пажах
 князёвы сынки,
 а я
 ежедневно
 и наново
 опять вспоминаю
 все синяки
 от плеток
 всех Алихановых.
 И дальше
 история наша
 хмурá.
 Я вижу
 правлящих кучку.
 Какие-то люди,
 мутней, чем Кура́,
 французов чмокают в ручку.
 Двадцать,
 а может,
 больше веков
 волок
 угнетателей узы я,
 чтоб только
 под знаменем большевиков
 воскресла
 свободная Грузия.
 Да,
 я грузин,
 но не старенькой нации,

¹ Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом (груз.).

забитой
 в ущелье в это.
Я —
 равный товарищ
 одной Федерации
грядущего мира Советов.
Еще
 омрачается
 день иной
ужасом
 крови и яри.
Мы бродим,
 мы
 еще
 не вино,
ведь мы еще
 только мадча́ри.
Я знаю:
 глупость — эдемы и рай!
Но если
 пелось про это,
должно быть,
 Грузию,
 радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
 чтоб а́эро
 в горы взвились.
Как женщина,
 мною лелеема
надежда,
 что в хвост
 со словом «Тифлис»
вобьем
 фабричные клейма.
Грузин я,
 но не кинто озорной,
острящий
 и пьющий после.
Я жду,
 чтоб гудки
 взревели зурной,
где шли
 лишь кинто
 да ослик.
Я чту
 поэтов грузинских дар,

но ближе
 всех песен в мире,
мне ближе
 всех
 и зурн
 и гитар
лебедок
 и кранов шайри.
Строй
 во всю трудовую прыть,
для стройки
 не жаль ломаний!
Если
 даже
 Казбек помешает —
 срыть!
Все равно
 не видать
 в тумане.

1924

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
 в поэтах
 истерика.
Я Терек не видел.
 Большая потеряйка.
Из омнибуса
 вразвалку
сошел,
 поплевывал
 в Терек с берега,
совал ему
 в пену
 палку.
Чего же хорошего?
 Полный развал!
Шумит,
 как Есенин в участке.
Как будто бы
 Терек
 организовал,
поездом в Боржом,
 Луначарский.
Хочу отвернуть.
 заносчивый нос

и чувствую:
 стыну на грани я,
овладевает
 мною
 гипноз,
воды
 и пены игранье.
Вот башня,
 револьвером
 небу к виску,
разит
 красотою нетроганой.
Поди,
 подчини ее
 преду искусств —
Петру Семенычу
 Когану.
Стою,
 и злоба взяла меня,
что эту
 дикость и выступления
с такой бездарностью
 я
 променял
на славу,
 рецензии,
 диспуты.
Мне место
 не в «Красных нивах»,
 а здесь,
и не построчно,
 а даром
реветь
 стараться в голос во весь,
срывая
 струны гитарам.
Я знаю мой голос:
 паршивый тон,
но страшен
 силою ярой.
Кто видывал,
 не усомнится,
 что
я
 был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
 взвинчена хоть,

Ну что тебе Демон?
Фантазия!
Дух!
К тому ж староват —
мифология.
Не кинь меня в пропасть,
будь добра.
От этой ли
струшу боли я?
Мне
даже
пиджак не жаль ободрать,
а грудь и бока —
тем более.
Отсюда
дашь
хороший удар —
и в Терек
замертво треснется.
В Москве
больнее спускают...
куда!
ступеньки считаешь —
лестница.
Я кончил,
и дело мое сторона.
И пусть,
озверев от помарок,
про это
пишет себе Пастернак,
А мы...
соглашайся, Тамара!
История дальше
уже не для книг.
Я скромный,
и я
бастую.
Сам Демон слетел,
подслушал,
и сник,
и скрылся,
смердя
впустую.
К нам Лермонтов сходит,
презрев времена.
Сияет —
«Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
Бутылку вина!
Налей гусару, Тamarочка!

ВЫВОЛАКИВАЙТЕ БУДУЩЕЕ!

Будущее
 не придет само,
если
 не примем мер.
За жабры его,— комсомол!
За хвост его,— пионер!
Коммуна
 не сказочная принцесса,
чтоб о ней
 мечтать по ночам.

Рассчитай,
 обдумай,
 нацелься —
и иди
 хоть по мелочам.

Коммунизм
 не только
у земли,
 у фабрик в поту.

Он и дома
 за столиком,
в отношениях,
 в семье,
 в быту.

Кто скрипит
 матершиной смачной
целый день,
 как немазанный воз,
тот,
 кто млеет
 под визг балалаечный,
тот
 до будущего
 не дорос.

По фронтам
 пулеметами такать —
не в этом
 одном
 война!

И семей
 и квартир атака
угрожает
 не меньше
 нам.

Кто не выдержал
 натиск домашний,

спит
 в уюте
 бумажных роз,—
до грядущей
 жизни мощной
тот
 пока еще
 не дорос.
Как и шуба,
 и время тоже —
проедает
 быта моль ее.
Наших дней
 залежалых одёжу
перетряхни, комсомолия!

1925

*ИЗ ЦИКЛА «ПАРИЖ»
(1924—1925)*

ПРОЩАНИЕ

(КАФЕ)

Обыкновенно
 мы говорим:
все дороги
 приводят в Рим.
Не так
 у монпарнасца.
Готов поклясться.
И Рем
 и Ромул,
 и Ремул и Ром
в «Ротонду» придут
 или в «Дом»¹.
В кафе
 идут
 по сотням дорог,
плывут
 по бульварной реке.

¹ Кафе на Монпарнасе.

Вплываю и я:
 «Garçon,
 un grog
 américain!»¹
 Сначала
 слова
 и губы
 и скулы
 кафе́йный гомон сливал.
 Но вот
 пошли
 вылупляться из гула
 и лепятся
 фразой
 слова.

«Тут
 проходил
 Маяковский давеча,
 хромо́й —
 не видали рази?» —
 «А с кем он шел?» —
 «С Николай Николаичем». —
 «С каким?» —
 «Да с великим князем!»
 «С великим князем?»
 Будет врать!
 Он кругл
 и лыс,
 как ладонь.
 Чекист он,
 послан сюда
 взорвать...» —
 «Кого?» —
 «Буа-дю-Булонь»².
 Езжай, мол, Мишка...»
 Другой поправил:
 «Вы врете,
 противно слушать!
 Совсем и не Мишка он,
 а Павел.
 Бывало сядем —
 Павлуша! —

¹ Официант,
 гrog
 по-американски! (франц.)

² Булонский лес.

А тут же
 его супруга,
 княжна,
 брюнетка,
 лет под тридцать...» —
 «Чья?
 Маяковского?
 Он не женат». —
 «Женат —
 и на императрице». —
 «На ком?
 Ее ж расстреляли...» —
 «И он
 поверил...
 Сделайте милость!
 Ее ж Маяковский спас
 за трильон!
 Она же ж
 омолодилась!»
 Благоразумный голос:
 «Да нет,
 вы врете —
 Маяковский — поэт». —
 «Ну да, —
 вмешалось двое саврасов, —
 в конце
 семнадцатого года
 в Москве
 чекой конфискован Некрасов
 и весь
 Маяковскому отдан.
 Вы думаете —
 сам он?
 Сбондил до йот —
 весь стих,
 с запятыми,
 скраден.
 Достанет Некрасова
 и продает —
 червонцев по десять
 на день».
 Где вы,
 свахи?
 Подымись, Агафья!
 Предлагается
 жених невиданный.
 Видано ль,
 чтоб человек
 с такою биографией

был бы холост
и старел невыданный?!
Париж,
тебе ль,
столице столетий,
к лицу
эмигрантская нудь?
Смахни
за ушми
эмигрантские сплетни.
Провинция! —
не продохнуть.—
Я вышел
в раздумье —
черт его знает!
Отплюнулся —
тьфу напасть!
Дыра
в ушах
не у всех сквозная —
другому
может запасть!
Слушайте, читатели,
когда прочтете,
что с Черчиллем
Маяковский
дружбу вертит
или
что женился я
на кулиджевской тете,
то, покорнейше прошу,—
не верьте.

1925

ПРОЩАНИЕ

В авто,
последний франк разменяв.
— В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
проводя меня,
во всей
невозможной красе.

Подступай
 к глазам,
 разлуки жижа;
сердце
 мне
 сентиментальностью расквась!
Я хотел бы
 жить
 и умереть в Париже,
если б не было
 такой земли —
 Москва.

1925

*ИЗ «СТИХОВ ОБ АМЕРИКЕ»
(1925—1926)*

6 МОНАХИНЬ

Воздев
 печеные
 картошки личек,
черней,
 чем негр,
 не выдавший бань,
шестеро благочестивейших католичек
влезло
 на борт
 парохода «Эспань».
И сзади
 и спереди
 ровней, чем веревка.
Шали,
 как с гвоздика,
 с плеч висят,
а лица
 обвила
 белейшая гофрировка,
как в пасху
 гофрируют
 ножки поросят.
Пусть заполнится годами
 жизни квота —
стоит
 только вспомнить это диво,

раздирает
 рот
 зевота
 шире Мексиканского залива.
 Трезвые,
 чистые,
 как раствор борной,
 вместе,
 эскадроном, садятся есть.
 Пообедав, сообща
 скрываются в уборной.
 Одна зевнула —
 зевают шесть.
 Вместо известных
 симметричных мест,
 где у женщин выпуклость, —
 у этих выем:
 в одной выемке —
 серебряный крест,
 в другой — медали
 со Львом
 и с Пием.
 Продрав глазенки
 раньше, чем можно, —
 в раю
 (у ж о!)
 отоспятся лишек, —
 оркестром без дирижера
 шесть дорожных
 вынимают
 евангелишек.
 Придешь ночью —
 сидят и бормочут.
 Рассвет в розы —
 бормочут, стервозы!
 И днем,
 и ночью, и в утра, и в полдни
 сидят
 и бормочут,
 дуры господни.
 Если ж
 день
 чуть-чуть
 помрачнеет с виду,
 сойдут в кабину,
 12 галош
 наденут вместе
 и снова выйдут,

и снова
идет
елейный скулёж.
Мне б
язык испанский!
Я б спросил, взъяренный:
— Ангелицы,
попросту
ответ поэту дайте —
если
люди вы,
то кто ж
тогда
ворóны?
А если
вы вороны,
почему вы не летаете?
Агитпропщики!
не лезьте вон из кожи.
Весь земной
обревизуйте шар.
Самый
замечательный безбожник
не придумает
кощунственное шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай
с гвоздей своей доски,
а вторично явишься —
сю да
не суйся —
всё равно:
повесишься с тоски!

1925

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Испанский камень
слепащ и бел,
а стены —
зубьями пил.
Пароход
до двенадцати
уголь ел
и пресную воду пил.

Повел
 пароход
 окованным носом
и в час,
сопя,
 вобрал якоря
 и понесся.
Европа
 скрылась, мельчась.
Бегут
 по бортам
 водяные глыбы,
огромные,
 как годá.
Надо мною птицы,
 подо мною рыбы,
а кругом —
 вода.
Недели
 грудью своей атлетической —
то работяга,
 то в стельку пьян —
вдыхает
 и гремит
 Атлантический
океан.
«Мне бы, братцы,
к Сахаре подобраться...
Развернись и плюнь —
пароход внизу.
Хочу топлю,
хочу везу.
Выходи сухой —
сварю ухой.
Людей не надо нам —
малы к обеду.
Не трону...
 ладно...
пускай едут...»
Волны
 будоражить мастера:
детство выплеснут;
 другому —
 голос милой.
Ну, а мне б
 опять
 знамена простирать!

Вон —
пошло,
затахтело,
загромило!

И снова
вода
присмирела сквозная,
и нет
никаких сомнений ни в ком.
И вдруг,
откуда-то —
черт его знает! —
встает
из глубин
водный Ревком.

И гвардия капель —
воды партизаны —
взбираются
ввысь
с океанского рва,
до неба метнутся
и падают заново,
порфиру пены в клочки изодрав.
И снова
спаялись воды в одно,
волне
повелев
разбурлиться вождем.

И прет волнища
с-под тучи
на дно —
приказы
и лозунги
сыплет дождем.

И волны
клянутся
всеобщему Цюку
оружие бурь
до победы не класть.

И вот победили —
экватору в циркуль
Советов-капель бескрайняя власть.
Последних волн небольшие митинги
шумят
о чем-то
в возвышенном стиле.

И вот
океан
улыбнулся умытенький

и замер
на время
в покое и в штиле.
Смотрю за перила.
Старайтесь, приятели!
Под трапом,
нависшим
ажурным мостком,
при океанском предприятии
потеет
над чем-то
волновий мостком.
И под водой
деловито и тихо
дворцом
растет
кораллов плетенка,
чтоб легче жилось
трудоу китихе
с рабочим китом
и дошкольным китенком.
Уже
и луну
положили дорожкой.
Хоть прямо
на пузе,
как по' суху, лазь.
Но враг не сунется —
в небо
сторожко
глядит,
не сморгнув,
Атлантический глаз.
То стынешь
в блеске лунного лака,
то стонешь,
облитый пеною ран.
Смотрю,
смотрю —
и всегда одинаков,
любим,
близок мне океан.
Вовек
твой грохот
удержит ухо.
В глаза
тебя
опрокинуть рад.

По шири,
 по делу,
 по крови,
 по духу —
моей революции
 старший брат.

1925

МЕЛКАЯ ФИЛОСОФИЯ НА ГЛУБОКИХ МЕСТАХ

Превращусь
 не в Толстого, так в толстого,—
ем,
 пишу,
 от жары балда.
Кто над морем не философствовал?
Вода.

Вчера
 океан был злой,
 как черт,
сегодня
 смирней
 голубицы на яйцах.
Какая разница!
 Все течет...
Все меняется.

Есть
 у воды
 своя пора:
часы прилива,
 часы отлива.
А у Стеклова
 вода
 не сходила с пера.
Несправедливо.

Дохлая рыбка
 плывет одна.
Висят
 плавнички,
 как подбитые крылышки.

Плывет недели,
и нет ей —
ни дна,
ни покрышки.
Навстречу
медленней, чем тело тюленья,
пароход из Мексики,
а мы —
туда.
Иначе и нельзя.
Разделение
труда.
Это кит — говорят.
Возможно, и так.
Вроде рыбьего Бедного —
обхвата в три.
Только у Демьяна усы наружу,
а у кита
внутри.
Годы — чайки.
Вылетят в ряд —
и в воду —
брюшко рыбешкой пичкать.
Скрылись чайки.
В сущности говоря,
где птички?
Я родился,
рос,
кормили соскою, —
жил,
работал,
стал староват...
Вот и жизнь пройдет,
как прошли Азорские
острова.

3.VII — Атлантический океан

1925

БЛЕК ЭНД УАЙТ

Если
 Гавану
 окинуть мигом —
рай-страна,
 страна что надо.
Под пальмой
 на ножке
 стоят фламинго.
Цветет
 коларио
 по всей Ведадо.
В Гаване
 все
 разграничено четко:
у белых доллары,
 у черных — нет.
Поэтому
 Вилли
 стоит со щеткой
у «Энри Клей энд Бок, лимитед».
Много
 за жизнь
 повымел Вилли —
одних пылинок
 целый лес,—
поэтому
 волос у Вилли
 вылез,
поэтому
 живот у Вилли
 влез.
Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
 вор,
 портовой инспектор,
кинет
 негру
 цент на бегу.
От этой грязи скроешься разве?
Разве что
 стали б
 ходить на голове.
И то
 намели бы
 больше грязи:

волосьев тыщи,
а ног —
две.

Рядом
шла
нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстный джаз.

Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаване как раз.

В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.

Одно
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:

«Белый
ест
ананас спелый,
черный —
гнилью моченый.

Белую работу
делает белый,
черную работу —
черный».

Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.

И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.

И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.

Негр
 подходит
 к туше дебелой:
«Ай бэг ёр пáрдон¹, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
 белый-белый,
должен делать
 черный негр?
Черная сигара
 не идет в усах вам —
она для негра
 с черными усами.
А если вы
 любите
то сахар кофий с сахаром,
 извольте
 делать сами».
Такой вопрос
 не проходит даром.
Король
 из белого
 становится желт.
Вывернулся
 король
 сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки
 и ушел.
Цвели
 кругом
 чудеса ботаники.
Бананы
 сплетали
 сплошной кров.
Вытер
 негр
 о белые подштанники
руку,
 с носа утершую кровь.
Негр
 посопел подбитым носом,
поднял щетку,
 держась за скулу.
Откуда знать ему,
 что с таким вопросом
надо обращаться
 в Коминтерн,
 в Москву?

5/VII — Гавана

1925

¹ Прошу прощения (англ.).

БРОДВЕЙ

Асфальт — стекло. Иду и звеню.
Леса и травинки — сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока — стриты.
А между — (куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
немые в звоне.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек мо́ней?»
Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с каплями из носу,
сосет
как будто
не грудь, а доллар —
занят
серьезным бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.

Хочешь под землю —
 бери собвей,
на небо —
 бери элевейтер.
Вагоны
 едут
 и дымам под рост,
и в пятках
 домовьих
 трутся,
и вынесут
 хвост
 на Бру́клинский мост,
и спрячут
 в норы
 под Гу́дзон.
Тебя ослепило,
 ты
 осовел.
Но,
 как барабанная дробь,
из тьмы
 по темени:
 «Кофе Максве́л
гуд
 ту ди ласт дроп».

А лампы
 как станут
 ночь копать,
ну, я доложу вам —
 пламечко!
Налево посмотришь —
 мамочка мать!
Направо —
 мать моя мамочка!

Есть что поглядеть московской братве.
И за́ день
 в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
 Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
 от Нью-Йорка города.
Но
 кепчонку
 не сдерну с виска.
У советских
 собственная гордость:
на буржуев
 смотрим свысока.

6 августа — Нью-Йорк
1925

НЕБОСКРЕБ В РАЗРЕЗЕ

Возьми
разбольшущий
дом в Нью-Йорке,
взгляни
насквозь
на зданье на то.
Увидишь —
старейшие
норки да каморки —
совсем
дооктябрьский
Елец аль Конотоп.
Первый —
ювелиры,
караул бессменный,
замок
зацепился ставням о бровь.
В сером
герои кино,
полисмены,
лягут
собаками
за чужое добро.
Третий —
спят бюро-конторы.
Ест
промокашки
рабий пот.
Чтоб мир
не забыл,
хозяин который,
на вывесках
золотом
«Вильям Шпрот».
Пятый.
Подсчитав
приданные сорочки,
мисс
перезрелая
в мечте о женихах.
Вздымая грудью
ажурные строчки,
почесывает
пышных подмышек меха.
Седьмой.
Над очагом
домашним
высясь,

силы сберегши
 спортом смолоду,
сэр
 своей законной миссис,
узнав об измене,
 кровавит морду.
Десятый.
 Медовый.
 Пара легла.
Счастливей,
 чем Ева с Адамом были.
Читают
 в «Таймсе»
 отдел реклам:
«Продажа в рассрочку автомобилей».
Тридцатый.
 Акционеры
 сидят увлечены,
делят миллиарды,
 жадны и озабочены.
Прибыль
 треста
 «изготовление ветчины
из лучшей
 дохлой
 чикагской собачины».
Сороковой.
 У спальни
 опереточной дивы.
В скважину
 замочную,
 сосредоточив прыть,
чтоб Ку́лидж дал развод,
 детективы
мужа
 должны
 в кровати накрыть.
Свободный художник,
 рисующий задочки,
дремлет в девяностом,
 думает одно:
как бы ухажнуть
 за хозяйской дочкой —
да так,
 чтоб хозяину
 всучить полотно.
А с крыши стаял
 скатертный снег.

Лишь ест
 в ресторанной выси
большие крохи
 уборщик негр,
а маленькие крошки —
 крысы.
Я смотрю,
 и злость меня берет
на укрывшихся
 за каменный фасад.
Я стремился
 за 7000 верст вперед,
а приехал
 на 7 лет назад.

1925

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее
 и мне не жалко слов.
От похвал
 красней,
 как флага нашего материйка,
хоть вы
 и разъюнайтед стетс
 оф
Америка.
Как в церковь
 идет
 помешавшийся верующий,
как в скит
 удаляется,
 строг и прост,—
так я
 в вечерней
 сереющей мёрещи
вхожу,
 смиранный, на Бруклинский мост.
Как в город
 в сломанный
 прет победитель
на пушках — жерлом
 жирафу под рост —

борьба
 за конструкции
 вместо стилей,
расчет суровый
 гаек
 и стали.
Если
 придет
 окончание света —
планету
 хаос
 разделает влоск,
и только
 один останется
 этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
 как из косточек,
 тоньше иголок,
тучнеют
 в музеях стоящие
 ящеры,
так
 с этим мостом
 столетий геолог
сумел
 воссоздать бы
 дни настоящие.
Он скажет:
 — Вот эта
 стальная лапа
соединяла
 моря и прерии,
отсюда
 Европа
 рвалась на Запад,
пустив
 по ветру
 индейские перья.
Напомнит
 машину
 ребро вот это —
сообразите,
 хватит рук ли,
чтоб, став
 стальной ногой
 на Мангэтен,
к себе
 за губу
 притягивать Бруклин?
По проводам
 электрической пряди —

я знаю —
 эпоха
 после пара —
здесь
 люди
 уже
 орали по радио,
здесь
 люди
 уже
 взлетали по аэро.
Здесь
 жизнь
 была
 одним — беззаботная,
другим —
 голодный
 протяжный вой.
Отсюда
 безработные
в Гудзон
 кидались
 вниз головой.
И дальше
 картина моя
 без загвоздки
по струнам-канатам,
 аж звездам к ногам.
Я вижу —
 здесь
 стоял Маяковский,
стоял
 и стихи слагал по слогам.—
Смотрю,
 как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
 как в ухо впивается клещ.
Бру́клинский мост —
да...
 Это вещь!

1925

ДОМОЙ!

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
 души и моря глубь,
Тот,
 кто постоянно ясен —

тот,
 по-моему,
 просто глуп.
 Я в худшей каюте
 из всех кают —
 всю ночь надо мною
 ногами куют.
 Всю ночь,
 покой потолка возмутив,
 несется танец,
 стонет мотив:
 «Маркита,
 Маркита,
 Маркита моя,
 зачем ты,
 Маркита,
 не любишь меня...»
 А зачем
 любить меня Марките?!
 У меня
 и франков даже нет.
 А Маркиту
 (толечко моргните!)
 за сто франков
 препроводят в кабинет.
 Небольшие деньги —
 поживи для шику —
 нет,
 интеллигент,
 взбивая грязь вихров,
 будешь всучивать ей
 швейную машинку,
 по стежкам
 строчащую
 шелка́ стихов.
 Пролетарии
 приходят к коммунизму
 низом —
 низом шахт,
 серпов
 и вил,—
 я ж
 с небес поэзии
 бросаюсь в коммунизм,
 потому что
 нет мне
 без него любви.
 Все равно —
 сослался сам я
 или послан к маме —

389

прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

1925

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир в иной.
Пустота... Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка.
В горле
горе комом —
не смешок.
Вижу —
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
— Прекратите!
Бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?!
Вы ж
такое
загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему?
Зачем?
Недоуменье смяло.

Критики бормочут:
— Этому вина
то...
да сё...
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина.—
Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.
Ну, а класс-то
жажду
заливает квасом?
Класс — он тоже
выпить не дурак.
Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостóв —
стали б
содержанием
премного одарённей.
Вы бы
в день
писали
строк по сто́,
утомительно
и длинно,
как Доронин.
А по-моему,
осуществись
такая бредь,
на себя бы
раньше наложили руки.
Лучше уж
от водки умереть,
чем от скуки!
Не откроют
нам
причин потери
ни петля,
ни ножик перочинный.
Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причины.

Подражатели обрадовались:
 бис!
 Над собою
 чуть не взвод
 расправу учинил.
 Почему же
 увеличивать
 число самоубийств?
 Лучше
 увеличь
 изготовление чернил!
 Навсегда
 теперь
 язык
 в зубах затворится.
 Тяжело
 и неуместно
 разводить мистерии.
 У народа,
 у языкотворца,
 умер
 звонкий
 забулдыга подмастерье.
 И несут
 стихов заупокойный лом,
 с прошлых
 с похорон
 не переделавши почти.
 В холм
 тупые рифмы
 загонять колом —
 разве так
 поэта
 надо бы почтить?
 Вам
 и памятник еще не слит,—
 где он,
 бронзы звон
 или гранита грань? —
 а к решеткам памяти
 уже
 понанесли
 посвящений
 и воспоминаний дрянь.
 Ваше имя
 в платочки рассоплено,
 ваше слово
 слюнявит Собинов
 и выводит
 под березкой дохлой —

«Ни слова,
 о дру-уг мой,
 ни вздо-о-о-о-ха».
 Эх,
 поговорить бы и́наче
 с этим самым
 с Леонидом Лоэнгринычем!
 Встать бы здесь
 гремящим скандалистом:
 — Не позволю
 мямлить стих
 и мять! —
 Оглушить бы
 их
 трехпалым свистом
 в бабушку
 и в бога душу мать!
 Чтобы разнеслась
 бездарнейшая по́гань,
 раздувая
 темь
 пиджачных парусов,
 чтобы
 врассыпную
 разбежался Коган,
 встреченных
 увеча
 пиками усов.
 Дрянь
 пока что
 мало поредела.
 Дела много —
 только поспевать.
 Надо
 жизнь
 сначала переделать,
 переделав —
 можно воспевать.
 Это время —
 трудновато для пера,
 но скажите
 вы,
 калеки и калекши,
 где,
 когда,
 какой великий выбирал
 путь,
 чтобы протоптанней
 и легче?

тысячи лет
 миллионов сердца.
Конечно,
 различны поэтов сорта.
У скольких поэтов
 легкость руки!
Тянет,
 как фокусник,
 строчку изо рта
и у себя
 и у других.
Что говорить
 о лирических кастратах?!
Строчку
 чужую
 вставит — и рад.
Это
 обычное
 воровство и растрата
среди охвативших страну растрат.
Эти
 сегодня
 стихи и оды,
в аплодисментах
 ревомые ревя,
войдут
 в историю
 как накладные расходы
на сделанное
 нами —
 двумя или тремя.
Пуд,
 как говорится,
 соли столовой
съешь
 и сотней папирос клуби,
чтобы
 добыть
 драгоценное слово
из артезианских
 людских глубин.
И сразу
 ниже
 налога рост.
Скиньте
 с обложенья
 нуля колесо!

Рубль девяносто
 сотня папирос,
рубль шестьдесят
 столовая соль.
В вашей анкете
 вопросов масса:
— Были выезды?
 Или выездов нет? —
А что,
 если я
 десяток пегасов
загнал
 за последние
 15 лет?!
У вас —
 в мое положение войдите —
про слуг
 и имущество
 с этого угла.
А что,
 если я
 народа водитель
и одновременно —
 народный слуга?
Класс
 гласит
 из слова из нашего,
а мы,
 пролетарии,
 двигатели пера.
Машину
 души
 с годами изнашиваешь.
Говорят:
 — в архив,
 исписался,
 пора! —
Всё меньше любитя,
 всё меньше дерзается,
и лоб мой
 время
 с разбега крушит.
Приходит
 страшнейшая из амортизаций —
амортизация
 сердца и души.

И когда
 это солнце
 разжиревшим боровом
взойдет
 над грядущим
 без нищих и калек,—
я
 уже
 сгнию,
 умерший под забором,
рядом
 с десятком
 моих коллег.
Подведите
 мой
 посмертный баланс!
Я утверждаю
 и — знаю — не налгу:
на фоне
 сегодняшних
 дельцов и пролаз
я буду
 — один! —
 в непролазном долгу.
Долг наш —
 реветь
 медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
 у бурь в кипеньи.
Поэт
 всегда
 должник вселенной,
платящий
 на горе
 проценты
 и пени.
Я
 в долгу
 перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
 багдадские небеса,
перед Красной Армией,
 перед вишнями Японии —
перед всем,
 про что
 не успел написать.

А зачем
 вообще
 эта шапка Сене?
Чтобы — целься рифмой
 и ритмом ярись?
Слово поэта —
 ваше воскресение,
ваше бессмертие,
 гражданин канцелярист.
Через столетья
 в бумажной раме
возьми строку
 и время верни!
И встанет
 день этот
 с фининспекторами,
с блеском чудес
 и с вонью чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
 в энкапее
 на бессмертье билет
и, высчитав
 действие стихов,
 разложите
заработок мой
 на триста лет!
Но сила поэта
 не только в этом,
что, вас
 вспоминая,
 в грядущем икнут.
Нет!
 И сегодня
 рифма поэта —
ласка,
 и лозунг,
 и штык,
 и кнут.
Гражданин фининспектор,
 я выплачу пять,
все
 нули
 у цифры скрестя!
Я
 по праву
 требую пядь

в ряду
 беднейших
 рабочих и крестьян.
А если
 вам кажется,
 что всего делов —
это пользоваться
 чужими словами,
то вот вам,
 товарищи,
 мое стилó,
и можете
 писать
 сами!

1926

ПОСЛАНИЕ ПРОЛЕТАРСКИМ ПОЭТАМ

Товарищи,
 позвольте
 без позы,
 без маски —
как старший товарищ,
 неглупый и чуткий,
поразговариваю с вами,
 товарищ Безыменский,
товарищ Светлов,
 товарищ Уткин.
Мы спорим,
 аж глотки просят лужения,
мы
 задыхаемся
 от эстрадных побед,
а у меня к вам, товарищи,
 деловое предложение:
давайте
 устроим
 веселый обед!
Расстелим внизу
 комплименты ковровые,
если зуб на кого —
 отпилим зуб;

розданные
Луначарским
венки лавровые —
сложим
в общий
товарищеский суп.
Решим,
что все
по-своему правы.
Каждый поет
по своему
голоску!
Разрежем
общую курицу славы
и каждому
выдадим
по равному куску.
Бросим
друг другу
шпильки подсовывать,
разведем
изысканный
словесный ажур.
А когда мне
товарищи
предоставят слово —
я это слово возьму
и скажу:
— Я кажусь вам
академиком
с большим задом,
один, мол, я
жрец
поэзий непролазных.
А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.
Многие
пользуются
напостóвской тряскою,
с тем
чтобы себя
обозвать получше.
— Мы, мол, единственные,
мы пролетарские...—
А я, по-вашему, что —
валютчик?

Я
по существу
 мастеровой, братцы,
не люблю я
 этой
 философии нудовой.
Засучу рукавчики:
 работать?
 драться?
Сделай одолжение,
 а ну, давай!
Есть
 перед нами
 огромная работа —
каждому человеку
 нужное стихачество.
Давайте работать
 до седьмого пота
над поднятием количества,
 над улучшением качества.
Я меряю
 по коммуне
 стихов сорта,
в коммуны
 душа
 потому влюблена,
что коммуна,
 по-моему,
 огромная высота,
что коммуна,
 по-моему,
 глубочайшая глубина.
А в поэзии
 нет
 ни друзей,
 ни родных,
по протекции
 не свяжешь
 рифм лычки.
Оставим
 распределение
 орденов и наградных,
бросим, товарищи,
 наклеивать ярлычки.
Не хочу
 похвастать
 мыслью новенькой.

но по-моему —
 утверждаю без авторской спеси —
коммуна —
 это место,
 где исчезнут чиновники
и где будет
 много
 стихов и песен.
Стоит
 изумиться
 рифмочек парой нам —
мы
 почитаем поэта гением.
Одного
 называют
 красным Байроном,
другого —
 самым красным Гейнем.
Одного боюсь —
 за вас и сам, —
чтоб не обмелели
 наши души,
чтоб мы
 не возвели
 в коммунистический сан
плоскость раешников
 и ерунду частушек.
Мы духом одно,
 понимаете сами:
по линии сердца
 нет раздела.
Если
 вы не за нас,
 а мы
 не с вами,
то черта ль
 нам
 остается делать?
А если я
 вас
 когда-нибудь крою
и на вас
 замахивается
 перо-рука,
то я, как говорится,
 добыл это кровью,
я
больше вашего
 рифмы строгал.

Товарищи,
 бросим
 замашки торгашьи
— моя, мол, поэзия —
 мой лабаз! —
всё, что я сделал,
 все это ваше —
рифмы,
 темы,
 дикция,
 бас!
Что может быть
 капризней славы
 и пепельней?
В гроб, что ли,
 братъ,
 когда умру?
Наплевать мне, товарищи,
 в высшей степени
на деньги,
 на славу
 и на прочую муру!
Чем нам
 делить
 поэтическую власть,
сгрудим
 нежность слов
 и слова-бичи,
и давайте
 без завистей
 и без фамилий
 класть
в коммунову стройку
 слова-кирпичи.
Давайте,
 товарищи,
 шагать в ногу.
Нам не надо
 брюзжащего
 лысого парика!
А ругаться захочется —
 врагов много
по другую сторону
 красных баррикад.

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ—

ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Я не даром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
 горящий,
 как расплавленное лето,
разворачивался
 и входил
 товарищ «Теодор
Нетте».
Это — он.
 Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
— Здравствуй, Нетте!
 Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
 канатов
 и крюков.
Подойди сюда!
 Тебе не мелко?
От Батума,
 чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте,—
 в бытность человеком
ты пивал чай
 со мною в дипкуг-^а
Медлил ты.
 Захрапывали сони.
Глаз
 кося
 в печати сургуча,
напролет
 болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
 стихи уча.
Засыпал к утру.
 Курок
 аж палец свел...
Суньтеса —
 кому охота!
Думал ли,
 что через год всего
встречусь я
 с тобою —
 с пароходом.

За кормой лунища.
Ну и здорово!
Залегла,
просторы на́двое порвав.
Будто на́век
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,
сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
других желаний нету —

**встретить я хочу
мой смертный час
так,
как встретил смерть
товарищ Нетте.**

15 июля, Ялта
1926

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ
ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ
ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Перья-облака́,
 закат расканарейте!
Опускайся,
 южной ночи гнет!
Пара
 пароходов
 говорит на рейде:
то один моргнет,
 а то
 другой моргнет.
Что сигналият?
 Напрягаю я
 морщины лба.
Красный раз...
 угаснет,
 и зеленый...
Может быть,
 любовная мольба.
Может быть,
 ревнует разозленный.
Может, просит:
 — «Красная Абхазия»!
Говорит
 «Советский Дагестан». —
Я устал,
 один по морю лазая,
подойди сюда
 и рядом стань.—

Но в ответ
 коварная
 она:
— Как-нибудь
 один
 живи и грейся.

Я
теперь
 по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
 трехтрубный крейсер.
— Все вы,
 бабы,
 трясогузки и каналы...
Что ей крейсер,
 дылда и пачкун? —
Поскулил
 и снова засигналил:
— Кто-нибудь,
 пришлите табачку!..
Скучно здесь,
 нехорошо
 и мокро.
Здесь
 от скуки
 отсыреет и броня...—
Дремлет мир,
 на Черноморский округ
синь-слезищу
 морем обронея.

1926

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
 и одёжи!
Насилу,
 пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.

И, глуша прощаньем свистка,
рванулся
 курьерский
 с Курского!
Заводы.
 Березы от леса до хат
бегут,
 листочками вороча,
и чист,
 как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Из-за горизонтов,
 лесами сломанных,
толпа надвигается
 мазанок.
Цветисты бочка́
 из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
 можете лопаться —
в ответ
 снисходительно cedят смешок
уста
 украинца хлопца.
Пространства бегут,
 с хвоста нарастав,
их жарит
 солнце-кухарка.
И поезд
 уже
 бежит на Ростов,
далёко за дымный Харьков.
Поля —
 на миллионы хлебных тонн —
как будто
 их гладят рубанки,
а в хлебной охре
 серебряный Дон
блестит
 позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
 началось кавказское —
то го́ловы сахара высят хребты,
то в солнце —
 пожарной каскою.

Лечу

ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седьны.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят

из седла
осетины.

Верх

гор —
лед,

низ

жар
пьет,

и солнце льет йод.

Тифлисцев

узнаешь и метров за сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
эткими парижками.

По-своему

всякий

зубрит азы,

аж цифры по-своему снятся им.

У каждого третьего —

свой язык

и собственная нация.

Однажды,

забросив в гостиницу хлам,
забыл,

где я ночую.

Я

адрес

по-русски

спросил у хохла,

хохол отвечал:

— Нэ чую.—

Когда ж переходят

к научной теме,

им

рамки русского

узки;

с Тифлисской

Казанская академия

переписывается по-французски.

И я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что — Бодлер, Маларме
и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардые
французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лился,

я знаю,
 в Москве решали судьбу
и Киевов
 и Тифлисов.
Москва
 для нас
 не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
 не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
 разных истока
 во мне
 речевых.
Я
 не из кацапов-разинь.
Я —
 дедом казак,
 другим —
 сечевик,
а по рождению
 грузин.
Три
 разных капли
 в себе совмещав,
беру я
 право вот это —
покрыть
 всесоюзных совмещан.
И ваших
 и русопетов.

1927

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий. Объясняться лишне.
Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
даёт жилищный,
мой,
рабочий,
кооператив.
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.
Все хорошо. Но больше всего
мне
понравилось —
это:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованная,
это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.
Вода в кране —
холодная крайне.
Кран
другой
не тронешь рукой.
Можешь
холодной
мыть хохол,
горячей —
пот пор.
На кране
одном
написано:
«Хол.»,

«Гор.».

ВЕШАТЬСЯ ХОЧЕТСЯ.

НИ ЧАЯ КЛОКОТАНЬЕ.

и мертвый расхохочется

плещущего щекотания.

пришел

К СОЦИАЛИЗМУ В ГОСТИ,

ЗАХВАТЫВАЕТ ДЫХ.

блузу на гвоздик,

И...

бултых!

И МОЕШЬСЯ

ДОЛГО, ДОЛГО.

СИДИШЬ,

ПОКА ОХОТА.

В комнате

лето и Волга —

рыб и пароходов.

на тебе

десятилетнего стажа,

корою с дерева,

сходит сажа,

И уж распаришься,

разжаришься уж!

вертай ручки:

прохладный

ДОЖДИК-ДУШ

из дырчатой
 железной тучки.
Ну ж и ласковость в этом душе!
Тебя
 никакой
 не возьмет упадок:
погладит волосы,
 потреплет уши
и течет
 по желобу
 промежду лопаток.
Воду
 стираешь
 с мокрого тельца
полотенцем,
 как зверь, мохнатым.
Чтобы суше пяткам —
 пол
 стелется,
извиняюсь за выражение,
 пробковым матом.
Себя разглядевши
 в зеркало вправленное,
в рубаху
 в чистую —
 влазь.
Влажу и думаю:
 — Очень правильная
эта,
 наша,
 Советская власть.

Свердловск

28 января 1928 г.

ТРУС

В меру
 и черны́ и русы,
пряча взгляды,
 пряча вкусы,
боком,
 тенью,
 в стороне, —



В. Маяковский. «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка».
Художник В. В. Юдин.

он
усвоит
мнение старшино:
— Мнение —
это не именье,
потерять его
не страшно.—
Хоть грабьте,
хоть режьте возле него,
не будет слушать ни плач,
ни вой.
«Наше дело
маленькое —
я сам по себе
не великий немой,
и рот
водою
наполнен мой,
вроде
умывальника я».
Трус
оброс
бумаг
корою.
«Где решать?!
Другие пусть.
Вдруг не выйдет?
Вдруг покроют?
Вдруг
возьму
и ошибусь?»
День-деньской
сплетает тонко
узы
самых странных свадеб —
увязать бы
льва с ягненком,
с кошкой
мышь согласовать бы.
Весь день
сердечко
ужас кройт,
предлогов для трепета —
кипа.
Боятся автобусов
и Эркай,

ПОМПАДУР

Член ЦИКа тов. Рухула Алы Оглы Ахундов ударил по лицу пассажира в вагоне-ресторане поезда Москва — Харьков за то, что пассажир отказался закрыть занавеску у окна. При составлении дознания тов. Ахундов выложил свой циковский билет.

«Правда», № 111/3943.

Мне неведомо,
в кого я попаду,
знаю только —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
выезжает
отдыхать
на воды.

Как шар,
положенный
в намеченную лузу,
он лысой головой
для поворотов —
тут
и носит
синюю
положенную блузу,
как министерский
раззолоченный сюртук.

Победу
масс,
позволивших
ему
надеть
незыблемых
мандатов латы,
немедля
приписал он
своему уму,
почел
пожизненной
наградой за таланты.

Со всякой массою
 такой
 порвал давно.
Хоть политический,
 но капиталец —
 нажит.
И кажется ему,
 что навсегда
 дано
ему
 над всеми
 «володеть и княжить».
Внизу
 какие-то
 приходят, семеня,—
его
 не развлечешь
 противною картиной.
Как будто говорит:
 «Не трогайте
 меня
касанием плотвы
 густой,
 но беспартийной».
С его мандатами
 какой,
 скажите,
 риск?
С его знакомствами
 ему
 считаться не с кем.
Соседу по столу,
 напившись в дым и дрызг,
орет он:
 «Гражданин,
 задернуть занавеску!»
Взбодрен заручками
 из ЦИКа и из СТО,
помешкавшего
 награждает оплеухой,
и собеседник
 сверзился под стол,
придерживая
 окровавленное ухо.

Расселся,
хоть на лбу
теши дубовый кол,—
Чего, мол,
буду объясняться зря я?!
Величественно
положил
мандат на протокол:
«Прочесть
и расходиться, козыряя!»
Но что случилось?
Не берут под козырек?
Сановник
под значком
топырит
грудью
платье.
Не пыжьтесь, помпадур!
Другой зарок
дала
великая
негнущаяся партия.
Метлою лозунгов
звенит железо фраз,
метлою бурь
по дуракам подуло.
— Товарищи,
подыдем ярость масс
за партию,
за коммунизм,
на помпадуров! —
Неизвестно мне,
в кого я попаду,
но уверен —
попаду в кого-то...
Выдающийся
советский помпадур
ехал
отдыхать на воды.

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Нет,
не те «молодежь».
кто, забившись
в лужайку да в лодку,
начинает
под визг и галдеж
прополаскивать
водкой
глотку.

Нет,
не те «молодежь»,
кто весной
ночами хорошими,
раскривлявшись
модой одеж,
подметают
бульвары
клешами.

Нет,
не те «молодежь»,
кто восхода
жизни зарево,
услыхав в крови
зудеж,
на романы
разбазаривает.

Разве
это молодость?
Нет!

Мало
быть
восемнадцати лет.

Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:

«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар

тем,
 кто влит в боевой КИМ,
тем,
 кто бьется,
 чтоб дни труда
были радостны
 и легки!

1928

ПОДЛИЗА

Этот сорт народа —
 тих
и бесформен,
 словно студень,—
очень многие
 из них
в наши
 дни
 выходят в люди.
Худ умом
 и телом чахл
Петр Иванович Болдашкин.
В возмутительных прыщах
зря
 краснеет
 на плечах
не башка —
 а набалдашник.
Этот
 фрукт
 теперь согрет
солнцем
 нежного начальства.
Где причина?
 В чем секрет?
Я
 задумываюсь часто.
Жизнь
 его
 идет на лад;
на него
 не брошу тень я.

Клад его —
его талант:
нежный
способ
обхожденья.
Лижет ногу,
лижет руку,
лижет в пояс,
лижет ниже, —
как кутенок
лижет
суку,
как котенок
кошку лижет.
А язык?!
На метров тридцать
догонять
начальство
вылез —
мыльный весь,
аж может
бриться,
даже
кисточкой не мылась.
Все похвалит,
впавши
в раж,
что
фантазия позволит —
ваш катар,
и чин,
и стаж,
вашу доблесть
и мозоли.
И ему
пошли
чины,
на него
в быту
равненье.
Где-то
будто
вручены

чуть ли не —
 бразды правленья.
 Раз
 уже
 в руках вожжа,
 всех
 сведя
 к подлизным взглядам,
 расслюнявит:
 «Уважать,
 уважать
 начальство
 надо...»
 Мы
 глядим,
 уныло ахая,
 как растёт
 от ихней братии
 архи-разиерархия
 в издевательстве
 над демократией.

Вея шваброй
 верхом,
 низом,
 сместь бы
 всех,
 кто поддались,
 всех,
 радеющих подлизам,
 всех
 радетельских
 подлиз.

1928

СТИХИ О РАЗНИЦЕ ВКУСОВ

Лошадь
 сказала,
 взглянув на верблюда:
 «Какая
 гигантская
 лошадь-ублюдок».

Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?!
Ты
просто-напросто —
верблюд недоразвитый».
И знал лишь
бог седобородый,
что это —
животные
разной породы.

1928

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я
растранжирую.
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
эту красавицу взял
и сказал:
— правильно сказал
или неправильно? —
Я, товарищ,—
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц красивей,

я видал
 девиц стройнее.
Девушкам
 поэты любви.
Я ж умен
 и голосист,
заговариваю зубы —
только
 слушать согласись.
Не поймать
 меня
 на дряни,
на прохожей
 паре чувств.
Я ж
 навек
 любовью ранен —
еле-еле волочусь.
Мне
 любовь
 не свадьбой мерить:
разлюбила —
 уплыла.
Мне, товарищ,
 в высшей мере
наплевать
 на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
 не двадцать,—
тридцать...
 с хвостиком.
Любовь
 не в том,
 чтоб кипеть крутей,
не в том,
 что жгут угольями,
а в том,
 что встает за горами грудей
над
 волосами-джунглями.
Любить —
 это значит:
 в глубь двора

вбежать
и до ночи грачей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Ивановны
считая
своим
соперником.
Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.
Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней — до неба...
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом не был,
я бы
стал бы
звездочетом.

Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят на́земь.
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полон
до крышки.
Тут бы
и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
с какой-то
грошовой столовой,
когда
докипело это,
из зева
до звезд
взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
хвост
небесам на треть,
блестит
и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.

Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте...

1928

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,

дай
 про этот
 важный вечер
рассказать
 по-человечьи.
Пять часов,
 и с этих пор
стих
 людей
 дремучий бор,
вымер
 город заселенный,
слышу лишь
 свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
 молний поступь,
гром
 ругнѣй
 в небесной драме,—
не гроза,
 а это
 просто
ревность
 двигает горами.
Глупых слов
 не верь сырью,
не пугайся
 этой тряски,—
я взнуздаю,
 я смирю
чувства
 отпрысков дворянских.
Страсти корь
 сойдет коростой,
но радость
 неиссыхаемая,
буду долго,
 буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
 жѣны,
 слезы...
 ну их! —
вспухнут веки,
 впору Вию.

1928

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется —
идти,
приветствовать,
рапортовать!
«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адская
будет
сделана
и делается уже.

Освещаем,
 одеваем нищъ и о́голь,
ширится
 добыча
 угля и руды...
А рядом с этим,
 конечно,
 много,
много
 разной
 дряни и ерунды.
Устаешь
 отбиваться и отгрызаться.
Многие
 без вас
 отбились от рук.
Очень
 много
 разных мерзавцев
ходят
 по нашей земле
 и вокруг.
Нету
 им
 ни числа,
 ни клички,
целая
 лента типов
 тянется.
Кулаки
 и волокитчики,
подхалимы,
 сектанты
 и пьяницы,—
ходят,
 гордо
 выпятив груди,
в ручках сплошь
 и в значках нагрудных...
Мы их
 всех,
 конечно, скрутим,
но всех
 скрутить
 ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
 по фабрикам дымным,

по землям,
 покрытым
 и снегом
 и жнивьем,
вашим,
 товарищ,
 сердцем
 и именем
думаем,
 дышим,
 боремся
 и живем!..»

Грудой дел,
 суматохой явлений
день отошел,
 постепенно стемнев.
Двое в комнате.
 Я
 и Ленин —
фотографией
 на белой стене.

1929

ПАРИЖАНКА

Вы себе представляете
 парижских женщин
с шеей разжемченной,
 разбриллиантенной
 рукой...
Бросьте представлять себе!
 Жизнь —
 жестче —
у моей парижанки
 вид другой.
Не знаю, право,
 молода
 или стара она,
до желтизны
 отшлифованная
 в лощеном хамье.
Служит
 она
 в уборной ресторана —

маленького ресторана —
Гранд-Шомьер.
Выпившим бургундского
может захотеться
для облегчения
пойти пройтись.
Дело мадмуазель
подавать полотенце,
она
в этом деле
просто артист.
Пока
у трюмо
разглядываешь прыщик,
она,
разулыбив
облупленный рот,
пудрой подпудрит,
духами попрыщет,
подаст пипифакс
и лужу подотрет.
Раба чревоугодий
торчит без солнца,
в клозетной шахте
по суткам
клопея,
за пятьдесят сантимов!
(по курсу червонца
с мужчины
около
четырех копеек).
Под умывальником
ладони омывая,
дыша
диковиной
парфюмерных зелий,
над мадмуазелью
недоумеая,
хочу
сказать
мадмуазели:
— Мадмуазель,
ваш вид,
извините,
жалок.

На уборную молодость
губить не жалко вам?
Или
мне
наврали про парижанок,
или
вы, мадмуазель,
не парижанка.
Выглядите вы
туберкулезно
и вяло.
Чулки шерстяные...
Почему не шелка?
Почему
не шлют вам
пармских фиалок
благородные мусью
от полного кошелька? —
Мадмуазель молчала,
грохот наваливал
на трактир,
на потолок,
на нас.
Это,
кружа
веселье карнавалово,
весь
в парижанках
гудел
Монпарнас.
Простите, пожалуйста,
за стих раскрежещенный
и
за описанные
вонючие лужи,
но очень
трудно
в Париже
женщине,
если
женщина
не продается,
а служит.

КРАСАВИЦЫ

(РАЗДУМЬЕ НА ОТКРЫТИИ Grand opéra¹)

В смокинг вштопорен,
побрит что надо.
По гранд
 по опере
гуляю грандом.
Смотрю
 в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
всё мне
 нравится.
Талии —
 кубки.
Ногти —
 в глянце.
Крашенные губки
розою убиганятся.
Ретушь —
 у глаза.
Оттеняет синь его.
Спины
 из газа
цвета лососиньего.
Упадая
 с высоты,
пол
 метут
 шлейфы.
От такой
 красоты
сторонитесь, рефы.
Повернет —
 в брильянтах уши.
Пошевелился шаля —
на грудишке
 ряд жемчужин
обнажают
 шеншиля.
Платье —
 пухом.

¹ Большого оперного театра.

Не дыши.
Аж на старом
на морже
только фай
да крепдешин,
только
облако жоржет.
Брошки — блещут...
на́ тебе! —
с платья
с полуголого.
Эх,
к такому платью бы
да еще бы...
голову.

1929

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.

С почтеньем
 берут, например,
 паспорта
с двухспальным
 английским левою.
Глазами
 доброто дяю выев,
не переставая
 кланяться,
берут,
 как будто берут чаевые,
паспорт
 американца.
На польский —
 глядят,
 как в афишу коза.
На польский —
 выпяливают глаза
в тугой
 полицейской слоновости —
откуда, мол,
 и что это за
географические новости?
И не повернув
 головы кочан
и чувств
 никаких
 не изведав,
берут,
 не моргнув,
 паспорта датчан
и разных
 прочих
 шведов.
И вдруг,
 как будто
 ожогом,
 рот
скривило
 господину.
Это
 господин чиновник
 берет
мою
 краснокожую паспортину.
Берет —
 как бомбу,
 берет —
 как ежа,

как бритву
 обоюдоострую,
берет,
 как гремучую
 в 20 жал
змею
 двухметроворостую.
Моргнул
 многозначще
 глаз носильщика,
хоть вещи
 снесет задаром вам.
Жандарм
 вопросительно
 смотрит на сыщика,
сыщик
 на жандарма.
С каким наслаждением
 жандармской кастой
я был бы
 исхлестан и распят
за то,
 что в руках у меня
 молоткастый,
серпастый
 советский паспорт.
Я волком бы
 выгрыз
 бюрократизм.
К мандатам
 почтения нету.
К любым
 чертям с матерями
 катись
любая бумажка.
 Но эту...
Я достаю
 из широких штанин
дубликатом
 бесценного груза.
Читайте,
 завидуйте,
 я —
 гражданин
Советского Союза.

Я СЧАСТЛИВ!

Граждане,
 у меня
 огромная радость.
Разулыбьте
 сочувственные лица.
Мне
 обязательно
 поделиться надо,
стихами
 хотя бы
 поделиться.
Я
 сегодня
 дышу как слон,
походка
 моя
 легка,
и ночь
 пронеслась,
 как чудесный сон,
без единого
 кашля и плевка.
Неизмеримо
 выросли
 удовольствий дозы.
Дни осени —
 баней воняют,
а мне
 цветут,
 извините, —
 розы,
и я их,
 представьте,
 обоняю.
И мысли
 и рифмы
 покрасивели
 и особенные,
аж вытаращит
 глаза
 редактор.
Стал вынослив
 и работоспособен,
как лошадь
 или даже —
 трактор.
Бюджет
 и желудок
 абсолютно превосходен,

укреплен
и приведен в равновесие.
Стопроцентная
экономия
на основном расходе —
и поздоровел
и прибавил в весе я.
Как будто
на язык
за кусом кус
кладут
воздушнейшие торта —
такой
установился
феерический вкус
в благоуханных
апартаментах
рта.
Голова
снаружи
всегда чиста,
а теперь
чиста и изнутри.
В день
придумывает
не меньше листа,
хоть Толстому
ноздрю утри.
Женщины
окружили,
платья испестря,
все
спрашивают
имя и отчество,
я стал
определенный
весельчак и остряк —
ну просто —
душа общества.
Я
порозовел
и пополнел в лице,
забыл
и гриппы
и кровать.
Граждане,
вас
интересует рецепт?

Открыть?
или... не открывать?
Граждане,
вы утомились от жданья,
готовы корить и крыть.
Не волнуйтесь,
сообщаю: граждане —
я
сегодня —
бросил курить.

1929

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

*К этому месту будет подвезено
в пятилетку 1 000 000 вагонов стро-
ительных материалов. Здесь будет
гигант металлургии, угольный гигант
и город в сотни тысяч людей.*

Из разговора

По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старую
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»

Темно свинцовоночие,
и дождик
 толст, как жгут,
сидят
 в грязи
 рабочие,
сидят,
 лучину жгут.
Сливеют
 губы
 с холода,
но губы
 шепчут в лад:
«Через четыре
 года
здесь
 будет
 город-сад!»
Свела
 промозглость
 корчею —
неважный
 мокр
 уют,
сидят
 впотьмах
 рабочие,
подмокший
 хлеб
 жуют.
Но шепот
 громче голода —
он кроет
 капель
 спад:
«Через четыре
 года
здесь
 будет
 город-сад!
Здесь
 взрывы закудахтают
в разгон
 медвежьих банд,
и взроет
 недра
 шахтою
стоугольный
 «Гигант».

Здесь
встанут
стройки
стенами.

Гудками,
пар,
сипи́.

Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.

Здесь дом
дадут
хороший нам
и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».

Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно —
«город-сад».

Я знаю —
город
будет,

я знаю —
саду
цвести,

когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

**Огромные вопросы,
огромней слоних,
страна
решает
миллионнолобая.**

А сбоку
ходят
индивидумы,
а у них
мнение обо всем
особое.

Смотрите,
в ударных бригадах
Союз,
держат темп
и не ленятся,
но индивидум в ответ:
«А я
остаюсь
при моем,
особом мнении».

**Мы выполним
 пятилетку,
 мартены вспламеня,
не в пять годов,
 а в меньше,
но индивидум
 не верит:
 «А у меня
имеется, мол,
 особое мненьице».**

В индустриализацию
льем заем,
а индивидум
сидит в томлении
и займа не покупает
и настаивает на своем
собственном,
особенном мнении.

Колхозим
 хозяйства
 бедняцких масс,
кулацкой
 не спугнуты
 злобою,
а индивидумы
 шепчут:
 «У нас



В. Маяковский. «Стихи детям».
Художник В. В. Юдин.

мнение
имеется
особое».
Субботниками
бьет
рабочий мир
по неразгруженным
картофелям и поленьям,
а индивидуумы
нам
заявляют:
«Мы
посидим
с особым мнением».
Не возражаю!
Консервируйте
собственный разум
прикосновением
ничьим
не попортив,
но тех,
кто в работу
впрягся разом,—
не оттягивайте
в сторонку
и напротив,
Трясина
старья
для нас не годна —
ее машиной
выжжем до дна.
Не втыкайте
в работу
клинья,—
и у нас
и у массы
и мысль одна
и одна
генеральная линия.

1929

СТИХИ ДЕТЯМ

(1925—1929)

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое
х о р о ш о
и что такое
п л о х о? —
У меня
секретов нет,—
слушайте, детишки,—
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

— Если ветер
крыши рвет,
если
град загрохал,—
каждый знает —
это вот
для прогулок
плохо.

Дождь покапал
и прошел.

Солнце
в целом свете.

Это —
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице,—
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
— Не трожь
тех,
кто меньше ростом! —
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!

Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрюта говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.

От вороны
карапуз
убежал, заохав.

Мальчик этот
просто трус.

Это
очень плохо.

Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.

Этот
в грязь полез
и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.

Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.

Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.

Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свиненок.

Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать хорошо,
и не буду —
плохо».

ЧТО НИ СТРАНИЦА—ТО СЛОН, ТО ЛЬВИЦА

Льва показываю я,
посмотрите нате —
он теперь не царь зверья,
просто председатель.

Этот зверь зовется лама.
Лама дочь
и лама мама.

Маленький пеликан
и пеликан великан.

Как живые в нашей книжке
слон,
слониха
и слонишки.

Двух- и трехэтажный рост,
с блюдо уха оба,
впереди на морде хвост
под названьем «хобот».
Сколько им еды, питья,
сколько платья снашивать!
Даже ихнее дитя
ростом с папу с нашего.
Всех прошу посторониться,
разевай пошире рот,—
для таких мала страница,
дали целый разворот.

Крокодил. Гроза детей.
Лучше не гневите.
Только он сидит в воде
и пока не виден.

Вот верблюд, а на верблюде
возят кладь

и ездят люди.

Он живет среди пустынь,
ест невкусные кусты,
он в работе круглый год —

он,
верблюды,
рабочий скот.

Кенгуру.
Смешная очень.

Руки вдвое короче.
Но за это
у ней
ноги вдвое длинней.

Жираф-длинношейка —
ему
никак
для шеи не выбрать воротника.
Жирафке лучше:
жирафу-мать
есть
жирафёнку
за что обнимать.

Обезьян.
Смешнее нет.
Что сидеть, как статуя?!
Человеческий портрет,
даром что хвостатая.
Зверю холодно зимой.
Зверик из Америки.
Видел всех.
Пора домой.
До свиданья, зверики!

1926

ВОЗЬМЕМ ВИНТОВКИ НОВЫЕ

Возьмем винтовки новые,
на штык флажки!
И с песнею
в стрелковые
пойдем кружки.
Раз,
два!
Все
в ряд!

Впе-
ред,
от-
ряд.
Когда
война-метелица
придет опять —
должны уметь мы целиться,
уметь стрелять.

Ша-
гай
кру-
че!
Цель-
ся
луч-
ше!

И если двинет армии
страна моя —
мы будем
санитарами
во всех боях.

Ра-
нят
в ле-
су,
к сво-
им
сне-
су.

Бесшумною разведкою —
тиха нога —
за камнем
и за веткою
найдем врага.

Пол-
зу
день,
ночь
мо-
им
по-
мочь.

Блестят винтовки новые,
на них
флажки.

1927

1928

КЕМ БЫТЬ?

У меня растут года —
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Нужные работники —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сначала

мы

берем бревно
и пилим доски
длинные и плоские.
Эти доски

вот так

зажимает

стол-верстак.

От работы

пила

раскалилась добела.

Из-под пилки

сыплются опилки.

Рубанок

в руки —

работа другая:

сучки, закорюки

рубанком стругаем.

Хороши стружки —

желтые игрушки.

А если

нужен шар нам

круглый очень,

на станке токарном

круглое точим.

Готовим понемножку

то ящик,

то ножку.

Сделали вот столько

стульев и столиков!

Столяру хорошо,

а инженеру —

лучше,

я бы строить дом пошел,

пусть меня научат.

Я
 сначала
 начерчу
дом
 такой,
 какой хочу.
Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание
 славное,
живое словно.
Это будет
 перёд,
называется фасад.
Это
 каждый разберет —
это ванна,
 это сад.
План готов,
 и вокруг
сто работ
 на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.
Где трудна работка,
там
 визжит лебедка,
подымает балки,
будто палки,
перетащит кирпичи,
закаленные в печи.
По крыше выложили жечь —
и дом готов,
 и крыша есть.
Хороший дом,
 большущий дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нем
удобно и просторно.

Инженеру хорошо,
а доктору —
 лучше.
Я 6 детей лечить пошел —
пусть меня научат.
Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
— Здравствуйте, дети!

Кто у вас болен?
Как живете,
как животик? —
Погляжу
 из очков
кончики язычков.
— Поставьте
 этот градусник
под мышку, детишки.—
И ставят дети радостно
градусник под мышки.
— Вам бы
 очень хорошо
проглотить порошок
и микстуру,
 ложечкой
пить понемножечку.
Вам
 в постельку лечь
 поспать бы,
вам —
 компрессик на живот,
и тогда
 у вас
 до свадьбы
всё, конечно, заживет.—

Докторам хорошо,
а рабочим —
 лучше,
я б в рабочие пошел —
пусть меня научат.

Вставай!
 Иди!
 Гудок зовет —
и мы приходим на завод.
Народа — уйма целая,
тысяча двести.
Чего один не сделает —
сделаем вместе.
Можем
 железо
ножницами резать,
краном висящим
тяжести тащим,
молот паровой
гнет и рельсы травой.

Олово плавим,
машинами правим.
Работа всякого
нужна одинаково.
Я гайки делаю,
а ты
для гайки
делаешь винты.

И идет
работа всех
прямо в сборочный цех.
Болты,
лезьте
в дыры ровные,
части
вместе
сбей
огромные.

Там —
дым,
здесь —
гром.

Гро-
мим
весь
дом.

И вот
вылазит паровоз,
чтоб вас
и нас
и нес
и вез.

На заводе хорошо,
а в трамвае —
лучше,
я б кондуктором пошел,
пусть меня научат.

Кондукторам
езда везде.
С большою сумкой кожаной
ему всегда,
ему весь день
в трамваях ездить можно.
— Большие и дети,
берите билетик,
билеты разные,
бери любые,

зеленые,
 красные
и голубые! —
Ездим рельсами.
Окончилась рельса,
и слезли у леса мы —
садись
 и грейся.

Кондуктору хорошо,
а шоферу —
 лучше.
Я б в шоферы пошел —
пусть меня научат.

Фырчит машина скорая,
летит, скользя.
Хороший шофер я —
сдержать нельзя.
Только скажите
 вам куда надо, —
без рельсы
 жителей
доставлю на дом.
Е-
 дем,
ду-
 дим:
«С пу-
 ти
уй-
 ди!»

Быть шофером хорошо,
а летчиком —
 лучше,
я бы в летчики пошел,
пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
«В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели».
Бояться не надо
ни дождя,
 ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.

Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору
облетаю гору.
«Вези, мотор,
 чтоб нас довез
до звезд
 и до луны,
хотя луна
 и масса звезд
совсем отдалены».
Летчику хорошо,
а матросу —
 лучше.
Я б в матросы пошел —
пусть меня научат.

У меня на шапке лента,
на матроске —
 якоря.
Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете, —
морской дорожкой
на реях и по мачте
карабкаюсь кошкой.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная, —
открою
 полюс
 Южный,
а Северный —
 наверное.

Книгу переверошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
 на вкус!

ПЕСНЯ-МОЛНИЯ

За море синеволное,
за сто земель
и вод
разлейся, песня-молния,
про пионерский слет.
Идите,
слов не тратя,
на красный
наш костер!
Сюда,
миллионы братьев!
Сюда,
миллион сестер!
Китайские акулы,
умерьте
вашу прыть,—
мы
с китайчонком-кули
пойдем
акулу крыть.
Веди
светло и прямо
к работе
и к боям,
моя
большая мама —
республика моя.
Растем от года к году мы,
смотри,
земля-старик,—
садами
и заводами
сменили пустыри.
Везде
родные наши,
куда ни бросишь глаз.
У нас большой папаша —
стальной рабочий класс.
Иди
учиться рядышком,
безграмотная старь.
Пора,
товарищ бабушка,
садиться за букварь.

Вперед,
отряды сжатые,
по ленинской тропе!
У нас
один вожатый —
товарищ ВКП.

1929

ПОЭМЫ

ОБЛАКО В ШТАНАХ

ТЕТРАПТИХ

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут;
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огрómив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный

— и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибоя.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала,—
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождейки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,—
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.

Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится,—
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на́ зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:
«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть»,—
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей за́гиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дра́зните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздражали Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев,—
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня мало́.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Алло!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,—
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо
стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,—
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil»¹.

¹ «Ничто» (лат.).

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.
Пока выкипчивают, рифмами пиликая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица му́ку молча пёрла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi¹ и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки плоче.

Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хóрах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!

¹ Такси (франц.).

А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщъ,
а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея —
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»

А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеее просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерией ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеля,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу,—
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоты в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,

и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрёзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слёзовой течи
растянул себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая! —
и окровавленную дам, как знамя.

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм
бросаются в разинутый люк —
сквозь свой
до крика разодранный глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезенные веки,
вылез,
встал,
пошел
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
«Хорошо!»

Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту,
крикнуть:
«Пейте какао Ван-Гутена!»

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

А из сигарного дыма
ликерною рюмкой
вытягивалось пропитое лицо Северянина.

Как вы смеее называться поэтом
и, серенький, чирикать, как перепел!

Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной —
«изящно пляшу ли», —
смотрите, как развлекаюсь
я —
площадной
сутенер и карточный шулер!

От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставляю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди
на цепочке Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;
вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
«цаца, цаца, цаца!»
Вдруг
и тучи
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.

Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громадные ноздри задорно высморкал,
и небе лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.

И кто-то,
запутавшись в облачных путях,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифе!

Выньте, гуляющие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закившие в блохастом грязненьке!

Идите!
Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!
Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опошлить!
Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околевая, закат.

Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,
перекусит
и съест.

Видите —
небо опять иудит
пригоршню обрызганных предательством
звезд?

Пришла.
Пирует Мамаем,
задом на город насев.
Эту ночь глазами не проломаем,
черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,
вином обливаю душу и скатерть
и вижу:
в углу — глаза круглы,—
глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному
сиянием трактирную ораву!
Видишь — опять
голгофнику оплеванному
предпочитают Вараवву?

Может быть, нарочно я
в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.

Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должные подрасти,
мальчики — отцами,
девочки — забеременели.

И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.

Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии
тринадцатый апостол.

И когда мой голос
похабно ухаает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.

4

Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
«удивительно честный».

Мария,
видишь —
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир продырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске, —
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять! —
черствая булка вчерашней ласки.

Дождь обрыдал тротуары,
лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да! —
на ресницах морозных сосулеч
слезы из глаз —
да! —
из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,
проевшись насквозь,
и сочилось сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала
вместе с иссосанной булкой
жевотина старых котлет.

Мария!
Как в зажиревшее ухо втиснуть им тихое слово?
Птица
побирается песней,
поет,
голодна и звонка,
а я человек, Мария,
простой,
выхарканный чахоточной ночью в грязную руку Пресни.

Мария, хочешь такого?
Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее ссадиной пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!
Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят,—
это сквозь жизнь я тащу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц,—
«любящие Маяковского!» —
да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,
в боящейся дрожи ли,
но дай твоих губ неисцветшую прелесть:
я с сердцем ни разу до мая не дожили,
а в прожитой жизни
лишь сотый апрель есть.

Мария!
Поэт сонеты поет Тиане,
а я —
весь из мяса,
человек весь —
тело твоё просто прошу,
как просят христиане —
«хлеб наш насущный
даждь нам днесь».

Мария — дай!

Мария!
Имя твоё я боюсь забыть,
как поэт боится забыть
какое-то
в муках ночей рожденное слово,
величием равное богу.

Тело твоё
я буду беречь и любить,
как солдат,

обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
перееханную поездом лапу.

Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадой
солнце землю —
голову Крестителя.

И когда мое количество лет
выпляшет до конца —
миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок о бок,
наклонюсь
и скажу ему на́ ухо:

— Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!

Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!

Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

1914—1915

ЛЮБЛЮ

ОБЫКНОВЕННО ТАК

Любовь любому рожденному дадена,—
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на' день
очерствевает сердечная почва.
На сердце тело надето,
на тело — рубаха.
Но и этого мало!
Один —
идиот! —
манжеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожица.
Любовь поцветет,
поцветет —
и скукожится.

МАЛЬЧИШКОЙ

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трусами муштровано.
А я —
убёг на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатёй под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не занает.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!»
А тоже —
с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стовёрстым скалам?!»

ЮНОШЕЙ

Юношеству занятий масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.

Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на́ море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазнаются.
«Чего — мол — стоят лучёнышки эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы — все на свете.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Французский знаете.
Делите.
Множьте.
Склоняете чудно.
Ну и склоняйте!
Скажите —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человеческий,
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.
И вся она — с крохотный глобус.
А я
боками учил географию —
недаром же
наземь
ночёвкой хлопаюсь!

Мутят Иловайских больные вопросы:
— Была ль рыжа́ борода Барбароссы? —
Пускай!
Не копаюсь в пропы́ленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —
фамилья ж против,
скулит родовая.
Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всегда себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбёнками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в уши я.
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.

ВЗРОСЛОЕ

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за́ сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.

Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,
Страстною площадью лёжа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только вёсен,
за 20 лет в распалённого ввалено!
Их груз нерастраченный — просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

ЧТО ВЫШЛО

Больше чем можно,
больше чем надо —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комковатый сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко —
ты знаешь,
я же
ладно сложен —

и всё же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться —
некуда, кажется — полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
праобраза Мопассанова.

ЗОВУ

Поднял силачом,
понес акробатом.
Как избирателей сзывают на митинг,
как сёла
в пожар
созывают набатом —
я звал:
«А вот оно!
Вот!
Возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:
«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго́ бы...»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

ТЫ

Пришла —
деловито,
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница.
Должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал,
так было весело,
было легко мне.

НЕВОЗМОЖНО

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более —
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,
не рояль,
то я ли
сердце снес бы, обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов не хватит —
кладём в несгораемый».

Любовь
в тебя —
богатством в железо —
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
потрачу в полночи
рублей, пятнадцать лирической мелочи.

ТАК И СО МНОЙ

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
— я же люблю! —
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаετε, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь, —
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я
к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

ВЫВОД

Не смоят любовь
ни ссоры,
ни вёрсты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъёмля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

1922

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

*Российской
коммунистической партии
посвящаю*

Время —
 начинаю
 про Ленина рассказ.
Но не потому,
 что горя
 нету более,
время
 потому,
 что резкая тоска
стала ясною
 осознанною болью.
Время,
 снова
 ленинские лозунги развихрь.
Нам ли
 растекаться
 слезной лужею, —
Ленин
 и теперь
 живее всех живых.
Наше знание —
 сила
 и оружие.
Люди — лодки.
 Хотя и на суше.

Проживешь
 свое
 пока,
много всяких
 грязных ракушек
налипает
 нам
 на бока.
А потом,
 пробивши
 бурю разозленную,
сядешь,
 чтобы солнца близ,
и счищаешь
 водорослей
 бороду зеленую
и медуз малиновую слизь.
Я
 себя
 под Лениным чищу,
чтобы плыть
 в революцию дальше.
Я боюсь
 этих строчек тыщи,
как мальчишкой
 боишься фальши.
Рассияют головою венчик,
я тревожусь,
 не закрыли чтоб
настоящий,
 мудрый,
 человечий,
ленинский
 огромный лоб.
Я боюсь,
 чтоб шествия
 и мавзолеи,
поклонений
 установленный статут,
не залили б
 приторным елеем
ленинскую
 простоту.
За него дрожу,
 как за зеницу глаза,
чтоб конфетной
 не был
 красотой оболган.
Голосует сердце —
 я писать обязан
по мандату долга.

Вся Москва.
Промерзшая земля
дрожит от гуда.
Над кострами
обмороженные с ночи.
Что он сделал?
Кто он
и откуда?
Почему
ему
такая почесть?
Слово за словом
из памяти таская,
не скажу
ни одному —
на место сядь.
Как бедна
у мира
слова мастерская!
Подходящее
откуда взять?
У нас
семь дней,
у нас
часов — двенадцать.
Не прожить
себя длинней.
Смерть
не умеет извиняться.
Если ж
с часами плохо,
мала
календарная мера,
мы говорим —
«эпоха»,
мы говорим —
«эра».
Мы
спим
ночь.
Днем
совершаем поступки.
Любим
свою толочь
воду
в своей ступке.
А если
за всех смог
направлять
потоки явлений,

мы говорим —
 «пророк»,
мы говорим —
 «гений».

У нас
 претензий нет,—
не зовут —
 мы и не лезем;
нравимся
 своей жене,
и то
 довольны донéльзя.

Если ж,
 телом и духом слит,
прет
 на нас непохожий,
шпилим —
 «царственный вид»,
удивляемся —
 «дар божий».

Скажут так,—
 и вышло
 ни умно, ни глупо.

Повисят слова
 и уплывут, как дýмы.

Ничего
 не выколупишь
 из таких скорлупок.

Ни рукам,
 ни голове не ощутимы.

Как же
 Ленина
 таким аршином мерить!

Ведь глазами
 видел
 каждый всяк —

«эра» эта
 проходила в двери,
даже
 головой
 не задевая о косяк.

Неужели
 про Ленина тоже:
 «вождь
 милостью божьей»?

Если б
 был он
 царствен и божествен,
я б
 от ярости
 себя не поберег,

я бы
стал бы
в перекоре шествий,
поклонениям
и толпам поперек.
Я б
нашел
слова
проклятья громоустого,
и пока
растоптан
я
и выкрик мой,
я бросал бы
в небо
богохульства,
по Кремлю бы
бомбами
метал:
д о л о й!
Но тверды
шаги Дзержинского
у гроба.
Нынче бы
могла
с постов сойти Чека.
Сквозь миллионы глаз,
и у меня
сквозь оба,
лишь сосульки слез,
примерзшие
к щекам.
Богу
почести казенные
не новость.
Нет!
Сегодня
настоящей болью
сердце холодей.
Мы
хороним
самого земного
изо всех
прошедших
по земле людей.
Он земной,
но не из тех,
кто глазом
упирается
в свое корыто.
Землю
всю
охватывая разом,

видел
 то,
 что временем закрыто.
Он, как вы
 и я,
 совсем такой же,
только,
 может быть,
 у самых глаз
мысли
 больше нашего
 морщинят кожей,
да насмешливей
 и тверже губы,
 чем у нас.
Не сатрапья твердость,
 триумфаторской коляской
мнущая
 тебя,
 подергивая вожжи.
Он
 к товарищу
 милел
 людскою лаской.
Он
 к врагу
 вставал
 железа тверже.
Знал он
 слабости,
 знакомые у нас,
как и мы,
 перемогал болезни.
Скажем,
 мне бильярд —
 отращиваю глаз,
шахматы ему —
 они вождям
 полезней.
И от шахмат
 перейдя
 к врагу натурой,
в люди
 выведя
 вчерашних пешек строй,
становил
 рабочей — человеческой диктатурой
над тюремной
 капиталовой турой.
И ему
 и нам
 одно и то же дорого.

Отчего ж, стоящий от него поодаль,
я бы жизнь свою,
глупея от восторга,
за одно б его дыханье
отдал?
Да не я один!
Да что я лучше, что ли?!
Даже не позвать,
раскрыть бы только рот —
кто из вас,
из сёл,
из кожи вон,
из штолен
не шагнет вперед?!
В качке —
будто бы хватил
вина и горя лишку —
инстинктивно
хоронюсь
трамвайной сети.
Кто
сейчас
оплакал бы
мою смертишку
в трауре
вот этой
безграничной смерти!
Со знаменами идут,
и так.
Похоже —
стала
вновь
Россия кочевой.
И Колонный зал
дрожит,
насквозь прохожен.
Почему?
Зачем
и отчего?
Телеграф
охрип
от траурного гуда.
Слезы снега
с флажых
покрасневших век.
Что он сделал,
кто он
и откуда —

этот
самый человечный человек?
Коротка
и до последних мгновений
нам
известна
жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь
товарища Ленина
надо писать
и описывать заново.
Далеко давным,
годов за двести,
первые
про Ленина
восходят вести.
Слышите —
железный
и луженый,
прорезая
древние века, —
голос
прадеда
Бромлея и Гужона —
первого паровика?
Капитал
его величество,
некоронованный,
невенчанный,
объявляет
покоренной
силу деревенщины.
Город грабил,
грёб,
грабастал,
глыбил
пуза касс,
а у станков
худой и горбастый
встал
рабочий класс.
И уже
грозил,
взвивая трубы за́ небо:
— Нами
к золоту
пути мостите.
Мы родим,
пошлем,
придет когда-нибудь

человек,
 борец,
 каратель,
 мститель! —

И уже
 смешались
 облака и дымы,
будто
 рядовые
 одного полка.

Небеса
 становятся двойными,
дымы
 забивают облака.

Товары
 растут,
 меж нищими высясь.

Директор,
 лысый черт,
пощелкал счетами,
 буркнул:
 «кризис!»

и вывесил слово:
 «расчет».

Крапило
 сласти
 мушиное сеево,
хлеба́
 зерном
 в элеваторах портятся,
а под витринами
 всех Елисеевых,
живот подведя,
 плелась безработица.

И бурчало
 у трущоб в утробе,
покрывая
 детворинный плачик:

— Под работу,
 под винтовку ль,

на́ —
 ладони обе!

Приходи,
 заступник
 и расплатчик! —

Эй,
 верблюды,
 открыватель колоний!

Эй,
 колонны стальных кораблей!

Марш
в пустыни,
огня раскаленной!
Пеньте пену,
бумаги белей!
Начинают
черным лататься
оазисы
пальмовых нег.
Вон
среди
золотистых плантаций
засеченный
вымычал негр:
— У-у-у-у-у,
у-у-у!
Нил мой, Нил!
Приплеши
и выплеши
черные дни!
Чтоб чернее были,
чем я во сне,
и пожар чтоб
крови вот этой красней.
Чтоб во всем этом кофе,
враз вскипелом,
вариться пузатым —
черным и белым.
Каждый
добытый
слоновий клык —
тык его в мясо,
в сердце тык.
Хоть для правнуков,
не зря чтоб
кровью литься,
выплыви,
заступник солнцелицый.
Я кончаюсь, —
бог смертей
пришел и поманил.
Помни
это заклинанье,
Нил,
мой Нил! —
В снегах России,
в бреду Патагонии
расставило
время
станки потогонные.

У Ива́нова уже
у Вознесенска
каменные туши
будоражат
выкрики частушек:
«Эх, завод ты мой, завод,
желтоглазина.
Время нового зовет
Стеньку Разина».

Внуки
спросят: — Что такое капиталист? —
Как дети
теперь: — Что это
г-о-р-о-д-о-в-о-й?.. —

Для внуков
пишу
в один лист
капитализма
портрет родовой.
Капитализм
в молодые года
был ничего,
деловой парнишка:
первый работал —
не боялся тогда,
что у него
от работ
засалится манишка.
Трико феодальное
ему тесно!

Лез
не хуже,
чем нынче лезут.
Капитализм
революциями
своей весной
расцвел
и даже
подпевал «Марсельезу».

Машину
он
задумал и выдумал.
Люди,
и те — ей!
Он
по вселенной
видимо-невидимо
рабочих расплодил
детей.

Он враз
 и царства
 и графства сжевал
 с коронами их
 и с орлами.
 Встучнел,
 как библейская корова
 или вол,
 облизывается.
 Язык — парламент.
 С годами
 ослабла
 мускулов сталь,
 он раздобрел
 и распух,
 такой же
 с течением времени
 стал,
 как и его грессбух.
 Дворец возвел —
 не увидишь такого!
 Художник
 — не один! —
 по стенам поерзал.
 Пол ампиристый,
 потолок рококо́вый,
 стенки —
 Людовика XIV,
 Каторза.
 Вокруг,
 с лицом,
 что равно годится
 быть и лицом
 и ягодицей,
 задолицая
 полиция.
 И краске
 и песне
 душа глуха,
 как корове
 цветы
 среди луга.
 Этика, эстетика
 и прочая чепуха —
 просто —
 его
 женская прислуга.
 Его
 и рай
 и преисподняя —

распродает
 старухам
 дырки
 от гвоздей
 креста господня
 и перо
 хвоста
 святого духа.
 Наконец,
 и он
 перерос себя,
 за него
 работает раб.
 Лишь наживая,
 жря
 и спя,
 капитализм разбух
 и обдряб.
 Обдряб
 и лег
 у истории на пути
 в мир,
 как в свою кровать.
 Его не объехать,
 не обойти,
 единственный выход —
 взорвать!
 Знаю,
 лирик
 скривится горько,
 критик
 ринется
 хлыстиком выстегать:
 — А где ж душа?!
 Да это ж —
 риторика!
 Поэзия где ж?
 Одна публицистика!! —
 Капитализм —
 неизящное слово,
 куда изящней звучит —
 «соловей»,
 но я
 возвращусь к нему
 снова и снова.
 Строку
 агитаторским лозунгом взвей.
 Я буду писать
 и про то
 и про это,

но нынче
 не время
 любовных ляс.

Я
 всю свою
 звонкую силу поэта
тебе отдаю,
 атакующий класс.

Пролетариат —
 неуклюже и узко
тому,
 кому
 коммунизм — западня.

Для нас
 это слово —
 могучая музыка,
могущая
 мертвых
 сражаться поднять.

Этажи
 уже
 заёжились, дрожа,
клич подвалов
 подымается по этажам.

— Мы прорвемся
 небесам
 в распахнутую синь.

Мы пройдем
 сквозь каменный колодез.

Будет.
 С этих нар
 рабочий сын —
пролетариатоводец.—

Им
 уже
 земного шара мало.

И рукой,
 отяжелевшей
 от колец,

тянется
 упитанная
 туша капитала
ухватить
 чужой горлец.

Идут,
 железом
 клацая и лацкая.

— Убивайте!
 Двум буржуям тесно! —

кризисов
 и забастовок ха́ос.
 — В чей карман
 стекаем
 золотою лавой?

С кем идти
 и на кого пенять? —
 Класс миллионоглавый
 напрягает глаз —
 себя понять.

Время
 часы
 капитала
 кра́ло,
 побивая
 прожекторов яркость.

Время
 родило
 брата Карла —
 старший
 ленинский брат
 Маркс.

Маркс!
 Встает глазам
 седин портретных рама.

Как же
 жизнь его
 от представлений далека!

Люди
 видят
 замурованного в мрамор,
 гипсом
 холодеющего старика.

Но когда
 революционной тропкой
 первый
 делали
 рабочие
 шажок,
 о, какой
 невероятной топкой
 сердце Маркс
 и мысль свою зажег!

Будто сам
 в заводе каждом
 стоя сто́йма,
 будто
 каждый труд
 размозоливая лично,
 грабящих
 прибавочную стоимость

за руку
поймал с поличным.
Где дрожали тельцем,
не вздымая глаз свой
даже
до пупа
биржевика-дельца,
Маркс
повел
разить
войною классовой
золотого,
до быка
доросшего тельца.
Нам казалось —
в коммунизмовы затоны
только
волны случая
закинут
нас,
юля.
Маркс
раскрыл
истории законы,
пролетариат
поставил у руля.
Книги Маркса —
не набора гранки,
не сухие
цифр столбцы,—
Маркс
рабочего
поставил на́ ноги
и повел
колоннами
стройнее цифр.
Вел
и говорил:
сражаясь лягте,
дело —
корректур
выкладкам ума.
Он придет,
придет
великий практик,
поведет
полями битв,
а не бумага! —
Жерновами дум
последнее меля́

и рукой
дописывая
восковой,
знаю,
Марксу
виделось
видение Кремля
и коммуны
флаг
над красною Москвой.
Назревали,
зрели дни,
как дыни,
пролетариат
взрослел
и вырос из ребят.
Капиталовы
отвесные твердыни
валом размывают
и дробят.
У каких-нибудь
годов
на расстоянии
сколько гроз
гудит
от нарастаний.
Завершается
восстанием
гнева нарастание,
нарастают
революции
за вспышками восстаний.
Крут
буржуев
озверевший норов.
Тьерами растерзанные,
воя и стеная,
тени прадедов,
парижских коммунаров,
и сейчас
вопят
парижскою стеною:
— Слушайте, товарищи!
Смотрите, братья!
Горе одиночкам —
выучьтесь на нас!
Сообща взрывайте!
Бейте партией!

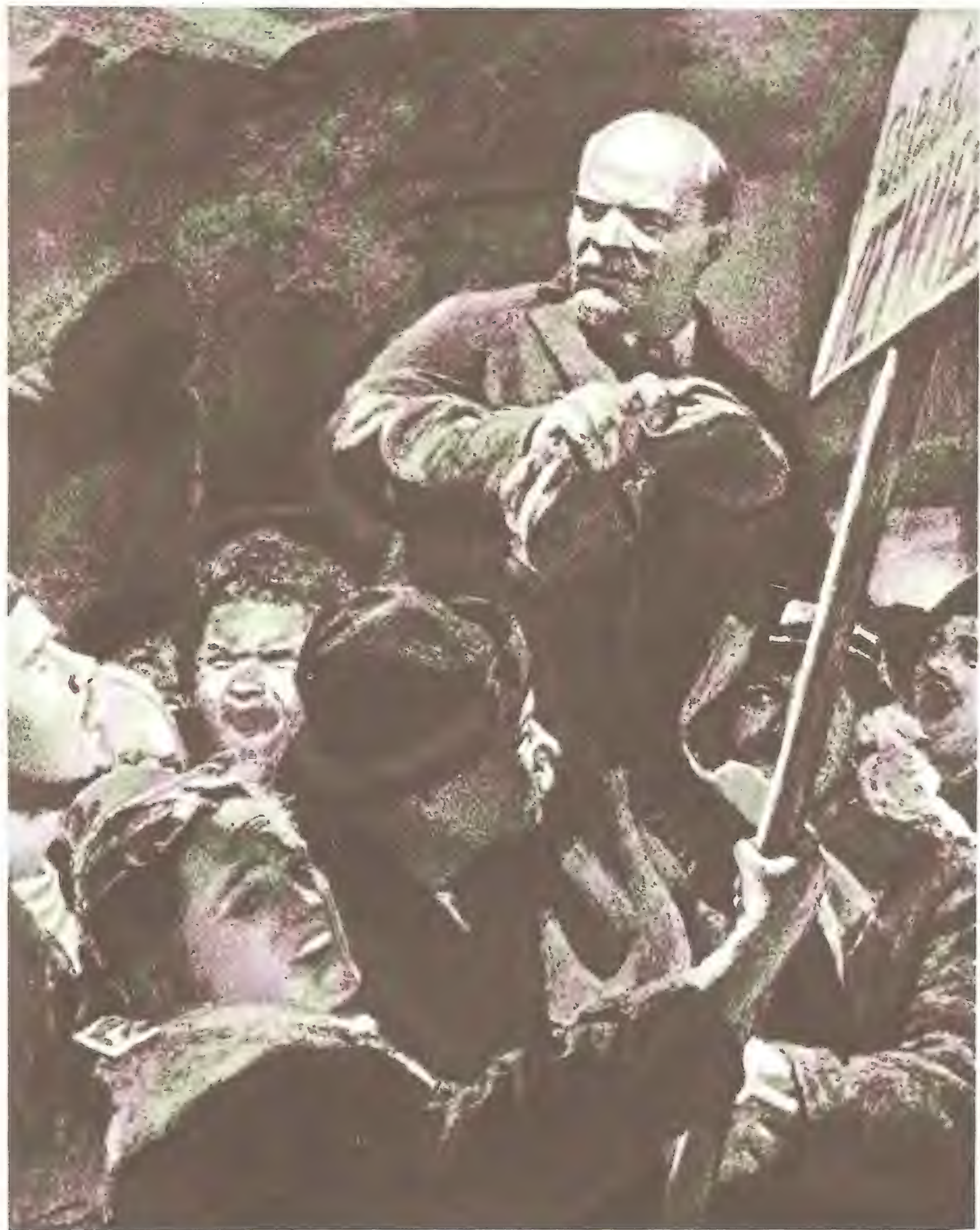
Кулаком
одним собрав
рабочий класс.—
Скажут:
«Мы вожди»,
а сами —
шаркунами?
За речами
шкуру
распознать умей.
Будет вождь
такой,
что мелочами с нами —
хлеба проще,
рельс прямей.
Смесью классов,
вер,
сословий
и наречий
на рублях колес
землища двигалась.
Капитал
ежом противоречий
рос вовсю
и креп,
штыками иглясь.
Коммунизма
призрак
по Европе рыскал,
уходил
и вновь
маячил в отдаленьи...
По всему поэтому
в глуши Симбирска
родился
обыкновенный мальчик
Ленин.

2

Я знал рабочего. Он был безграмотный.
Не разжевал
даже азбуки соль.
Но он слышал,
как говорил Ленин,
и он
знал — всё.
Я слышал
рассказ
крестьянина-сибирца.

Отобрали,
отстояли винтовками
и раем
разделали селеньице.
Они не читали
и не слышали Ленина,
но это
были ленинцы.
Я видел горы —
на них
и куст не рос.
Только
тучи
на скалы
упали ничком.
И на сто верст
у единственного горца
лохмотья
сияли
ленинским значком.
Скажут —
это
о булавках áхи.
Барышни их
вкалывают
из кокетливых причуд.
Не булавка вколота —
значком
прожгло рубахи,
сердце,
полное
любовью к Ильичу.
Этого
не объяснишь
церковными славянскими
крюками,
и не бог
ему
велел —
избранник будь!
Шагом человеческим,
рабочими руками,
собственной головой
прошел он
этот путь.
Сверху
взгляд
на Россию брось —

Подготовщиком
 цареубийства
 пойман
 брат Ульянова,
 народоволец
 Александр.
 Одного убьешь —
 другой
 во весь свой пыл
 пытками
 ушедших
 переплюнуть тужится.
 И Ульянов
 Александр
 повешен был
 тысячным из шлиссельбуржцев.
 И тогда
 сказал
 Ильич семнадцатогодовалый, —
 это слово
 крепче клятв
 солдатом поднятой руки:
 — Брат,
 мы здесь
 тебя сменить готовы,
 победим,
 но мы
 пойдем путем другим! —
 Оглядите памятники —
 видите
 героев род вы?
 Станет Гоголем,
 а ты
 венком его величь.
 Не такой —
 чернорабочий,
 ежедневный подвиг
 на́ плечи себе
 взвалил Ильич.
 Он вместе,
 учит в кузничной пасти,
 как быть,
 чтоб зарплата
 взросла пятаком.
 Что делать,
 если
 дерется мастер.
 Как быть,
 чтоб хозяин
 поил кипятком.
 Но не мелочь
 целью в конце;



В. Маяковский. «Владимир Ильич Ленин».
Художник Е. А. Кибрик.

победив,
 не стой так
над одной
 сметённой лужею.
Социализм — цель.
Капитализм — враг.
Не веник —
 винтовка оружие.
Тысячи раз
 одно и то же
он вбивает
 в тугой слух,
а на завтра
 друг в друга вложит
руки
 понявших двух.
Вчера — четыре,
 сегодня — четыреста.
Таимся,
 а завтра
 в открытую встанем,
и эти
 четыреста
 в тысячи вырастут.
Трудящихся мира
 подыдем восстанием.
Мы уже
 не тише вод,
 травинки ниже,—
гнев
 трудящихся
 густится в туче.
Режет
 молниями
 Ильичевых книжек.
Сыпет
 градом
 прокламаций и летучек.
Бился
 об Ленина
 темный класс,
тёк
 от него
 в просветленьи,
и, обданный
 силой
 и мыслями масс,
с классом
 рос
 Ленин.

И уже
 превращается в быль
 то,
 в чем юношей
 Ленин клялся:
 — Мы
 не одиночки,
 мы —
 Союз борьбы
 за освобождение
 рабочего класса.—
 Ленинизм идет
 все далее
 и более
 вширь
 учениками
 Ильичевой выверки.
 Кровью
 вписан
 героизм подполья
 в пыль
 и в слякоть
 бесконечной Володимирки.
 Нынче
 нами
 шар земной заверчен.
 Даже
 мы,
 в кремлевских креслах если,—
 скольким
 вдруг
 из-за декретов Нерчинск
 кандалами
 раззвенится в кресле!
 Вам
 опять
 напомню птичий путь я.
 За волчком —
 трамваев
 электрическая рысь.
 Кто
 из вас
 решетчатые прутья
 не царапал
 и не грыз?!
 Лоб
 разбей
 о камень стенки тесной —
 за тобою
 смыли камеру
 и замели.

«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».
Полюбилась Ленину
 в какой из ссылок
этой песни
 траурная сила?
Говорили —
 мужичок
 своей пойдёт дорогой,
заведет
 социализм,
 бесхитростен и прост.

Нет,
 и Русь
 от труб
 становится сторо́гой.

Город
 дымной бородой оброс.
Не попросят в рай —
 пожалуйста,
 войдите,—
через труп буржуазии
 коммунизма шаг.

Ста крестьянским миллионам
 пролетариат — водитель,

Ленин —
 пролетариев вожак.

Понаобещает либерал
 или эсерик прыткий,
сам охочий до рабочих шей,—

Ленин
 фразочки
 с него
 поборвет до нитки,
чтоб из книг
 сиял
 в дворянском нагише.

И нам
 уже
 не разговорцы досужие,
что-де свобода,
 что люди братья,—
мы
 в Марковом всеоружии
одна
 на мир
 большевистская партия.

Америку
 пересекаешь
 в экспрессном купе,

идешь Чухломой —
тебе
в глаза
вонзается теперь
РКП,
и в скобках
маленькое «б».
Теперь
на Марсов
охотится Пулково,
перебирая
небесный ларчик.
Но миру
эта
строчная буква
в сто крат красней,
грандиозней
и ярче.

Слова
у нас,
до важного самого,
в привычку входят,
ветшают, как платье.

Хочу
сиять заставить заново
величественнейшее слово —
ПАРТИЯ.

Единица!
Кому она нужна?!

Голос единицы
тоньше писка.
Кто ее услышит? —
Разве жена!

И то
если не на базаре,
а близко.

Партия —
это
единый ураган,
из голосов спрессованный
тихий и тонких,
от него
лопаются
укрепления врага,
как в канонаду
от пушек
перепонки.

Плохо человеку,
когда он один.

Горе одному,
 один не воин,—
каждый дюжий
 ему господин,
и даже слабые,
 если двое.

А если
 в партию
 сгрудились малые —
сдайся, враг,
 замри и ляг!

Партия —
 рука миллионопалая,
сжатая
 в один
 громающий кулак.

Единица — вздор,
 единица — ноль,
один —
 даже если
 очень важный —
не подымет
 простое
 пятивершковое бревно,
тем более
 дом пятиэтажный.

Партия —
 это
 миллионов плечи,
друг к другу
 прижатые туго.

Партией
 стройки
 в небо взмечем,
держа
 и вздымая друг друга.

Партия —
 спинной хребет рабочего класса.

Партия —
 бессмертие нашего дела.

Партия — единственное,
 что мне не изменит.

Сегодня приказчик,
 а завтра
 царства стираю в карте я.

Мозг класса,
 дело класса,
 сила класса,
 слава класса —
 вот что такое партия.

Партия и Ленин — близнецы-братья —
кто более матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин, подразумеваем —
партия,
мы говорим партия, подразумеваем — Ленин.

Еще горой коронованные главы,
и буржуи чернеют,
как вороны в зиме,
но уже торение
рабочей лавы
по кратеру партии рвется из-под земель.
Девятое января. Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня о милости царской прикончена
с бойней Мукденской, с треском Цусимы.
Довольно! Не верим
разговорам посторонним!
Сами с оружием
встали пресненцы.
Казалось — сейчас
покончим с троном,
за ним и буржуево
кресло треснет.
Ильич уже здесь. Он изо дня на день
проводит с рабочими
пятый год.
Он рядом на каждой стоит баррикаде,
ведет
всего восстания ход.

Но скоро
 прошла
 лукавая вестийка —
 «свобода».

 Бантики люди надели,
 царь
 на балкон
 выходил с манифестиком.

А после
 «свободной»
 медовой недели

речи,
 банты
 и пения плавные
 пушечный рев
 покрывает басом:
 по крови рабочей
 пустился в плаванье
 царев адмирал,
 каратель Дубасов.

Плюнем в лицо
 той белой слякоти,
 сюсюкающей
 о зверствах Чека!

Смотрите,
 как здесь,
 связавши за́ локти,
 рабочих на́смерть
 секли по щекам.

Зверела реакция.
 Интеллигентчики
 ушли от всего
 и всё изгадили.

Заперлись дома,
 достали свечки,
 ладан курят —
 богоискатели.

Сам заскулил
 товарищ Плеханов:
 — Ваша вина,
 запутали, братцы!

Вот и пустили
 крови лохани!

Нечего
 зря
 за оружие браться.—

Ленин
 в этот скулеж недужный
 врезал голос
 бодрый и зычный:

— Нет,
 за оружие
 браться нужно,
только более
 решительно и энергично.
Новых восстаний вижу день я.
Снова подымется
 рабочий класс.
Не защита —
 нападение
стать должно
 лозунгом масс.—
И этот год
 в кровавой пене
и эти раны
 в рабочем стане
покажутся
 школой
 первой ступени
в грозе и буре
 грядущих восстаний.
И Ленин
 снова
 в своем изгнании
готовит
 нас
 перед новой битвой.
Он учит
 и сам вбирает знание,
он партию
 вновь
 собирает разбитую.
Смотри —
 забастовки
 вздымают год,
еще —
 и к восстанию сумеешь сдвинуться ты.
Но вот
из лет
 подымается
 страшный четырнадцатый.
Так пишут —
 солдат-де
 раскурит трубку,
балакать пойдет
 о походах древних,—
но эту
 всемирнейшую мясорубку
к какой приравнять
 к Полтаве,
 к Плевне?!

Империализм
 во всем оголении —
живот наружу,
 с вставными зубами,
и море крови
 ему по колени —
сжирает страны,
 вздымая штыками.
Вокруг него
 его подхалимы —
патриоты —
 приспособились Вовы —
пишут,
 руки предавшие вымыв:
— Рабочий,
 дерись
 до последней крови! —
Земля —
 горой
 железного лома,
а в ней
 человечья
 рвань и рваль.
Среди
 всего сумасшедшего дома
трезвый
 встал
 один Циммервальд.
Отсюда
 Ленин
 с горсточкой товарищей
встал над миром
 и поднял над
мысли
 ярче
 всякого пожарища,
голос
 громче
 всех канонад.
Оттуда —
 миллионы
 канонадою в уши,
стотысячесабельной
 конницы бег,
отсюда,
 против
 и сабель и пушек,—
скуластый
 и лысый
 один человек.

— Солдаты!
Буржуи,
предав и про́дав,
к туркам шлют,
за Верден,
на Двину.
Довольно!
Превратим
войну народов
в гражданскую войну!
Довольно
разгромов,
смертей и ран,—
у наций
нет
никакой вины.
Против
буржуазии всех стран
подыдем
знамя
гражданской войны! —
Думалось:
сразу
пушка-печка
чихнет огнем
и сдунет гнилью,—
потом поди,
ищи человечка,
поди,
вспоминай его фамилию.
Глоткой орудий,
шипевших и вывших,
друг другу
страны
орут —
на колени!
Додрались,
и вот
никаких победивших,—
один победил
товарищ Ленин.
Империализма прорва!
Мы
истощили
терпенье ангельское.
Ты
восставшею
Россией прорвана
от Тавриза
и до Архангельска.

Империя —
 это тебе не ку́ра!
Клювастый орел
 с двуглавою властью.
А мы,
 как докуренный окурок,
просто
 сплюнули
 их династью.
Огромный,
 покрытый кровавою ржою,
народ,
 голодный и голоштанный,
к Советам пойдет
 или будет
 буржую
таскать,
 как и встарь,
 из огня каштаны?
— Народ
 разорвал
 оковы царьи,
Россия в буре,
 Россия в грозе,—
читал
 Владимир Ильич
 в Швейцарии,
дрожа,
 волнуясь
 над кипой газет.
Но что
 по газетным узнаешь клочьям?
На аэроплане
 прорваться б ввысь,
туда,
 на помощь
 к восставшим рабочим,—
одно желанье,
 единая мысль.
Поехал,
 покорный партийной воле,
в немецком вагоне,
 немецкая пломба.
О, если бы
 знал
 тогда Гогенцоллерн,
что Ленин
 и в их монархию бомба!
Питерцы
 всё еще,
 всем на радость,

лобзались,
 скакали детишками малыми,
но в красной ленточке,
 слегка припарадясь,
Невский
 уже
 кишел генералами.
За шагом шаг —
 и дойдут до точки,
дойдут
 и до полицейского свиста.
Уже
 начинают
 казать коготочки
буржуи
 из лапок своих пушистых.
Сначала мелочь —
 вроде малько́в.
Потом повзрослее —
 от шпротов до килечек.
Потом Дарданельский,
 в девичестве Милюков,
за ним
 с коронацией
 прет Михайльчик.
Премьер
 не власть —
 вышивание гладью!
Это
 тебе
 не грубый нарком.
Прямо девушка —
 иди и гладь ее!
Истерики закатывает,
 поет тенорком.
Еще
 не попало
 нам
 и росинки
от этих самых
 февральских свобод,
а у оборонцев
 уже хворостинки —
«Марш, марш на фронт,
 рабочий народ».
И в довершение
 пейзажа славненького,
нас предававшие
 и до
 и пото́м,

вокруг
 сторожами
 эсеры да Савинковы,
меньшевики —
 ученым котом.
И в город,
 уже
 заплывающий салом,
вдруг оттуда,
 из-за Невы,
с Финляндского вокзала
по Выборгской
 загрохотал броневик.
И снова
 ветер
 свежий, крепкий
валы
 революции
 поднял в пене.
Литейный
 залили
 блузы и кепки:
«Ленин с нами!
 Да здравствует Ленин!»
— Товарищи! —
 и над головами
 первых сотен
вперед
 ведущую
 руку выставил.—
Сбросим
 эсдечества
 обветшавшие лохмотья.
Долой
 власть
 соглашателей и капиталистов!
Мы —
 голос
 воли низа,
рабочего низа
 всего света.
Да здравствует
 партия,
 строящая коммунизм,
да здравствует
 восстание
 за власть Советов! —
Впервые
 перед толпой обалделой
здесь же,
 перед тобою,
 близ,

встало,
как простое
делаемое дело,
недосягаемое слово —
«социализм».

Здесь же,
из-за заводов гудящих,
сияя горизонтом
во весь свод,
встала
завтрашняя
коммуна трудящихся —
без буржуев,
без пролетариев,
без рабов и господ.

На толщ
окрутивших
соглашательских веревок
слова Ильича
ударами топора.

И речь
прерывало
обвалами рева:
«Правильно, Ленин!
Верно!
Пора!»

Дом
Кшесинской,
за дрыгоножество
подаренный,
нынче —
рабочая блузница.

Сюда течет
фабричное множество,
здесь
закаляется
в ленинской кузнице.

«Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй».

Уж лезет
к сидящим
в хозяйском стуле —
как живете
да что жуете?

Примериваясь,
в июле
за горло потрогали
и за животик.

Буржуевы зубья
ощерились разом.

— Раб взбунтовался!
Плетями,
да в кровь его! —
И ручку Керенского
водят приказом —
на мушку Ленина!
И партия
снова
ушла в подполье.
Ильич на Разливе,
Ильич в Финляндии.
Но ни чердак,
ни шалаш,
ни поле
вождя
не дадут
озверелой банде их.
Ленина не видно,
но он близ.
По тому,
работа движется как,
видна
направляющая
ленинская мысль,
видна
ведущая
ленинская рука.
Словам Ильичевым —
лучшая почва:
падают,
сейчас же
дело растя,
и рядом
уже
с плечом рабочего
плечи
миллионов крестьян.
И когда
осталось
на баррикады выйти,
день
наметив
в ряду недель,
Ленин
сам
явился в Питер:
— Товарищи,
довольно тянуть канитель!
Гнет капитала,
голод-уродина,

войн бандитизм,
интервенция вóрья,—
будет! —
покажутся
белее родинок
на теле бабушки,
древней истории.
И оттуда,
на дни
оглядываясь эти,
голову
Ленина
взвидишь сперва.
Это
от рабства
десяти тысячелетий
к векам
коммуны
сияющий перевал.
Пройдут
года
сегодняшних тягот,
летом коммуны
согреет лета́,
и счастье
сластью
огромных ягод
дозреет
на красных
октябрьских цветах.
И тогда
у читающих
ленинские веления,
пожелтевших
декретов
перебирая листки,
выступят
слезы,
выведенные из употребления,
и кровь
волнением
ударит в виски.
Когда я
итожу
то, что про́жил,
и роюсь в днях —
ярчайший где,
я вспоминаю
одно и то же —
двадцать пятое,
первый день.

Штыками
тычется
чирканье молний,
матросы
в бомбы
играют, как в мячики.
От гуда
дрожит
взбудораженный Смольный.
В патронных лентах
внизу пулеметчики.
— Вас
вызывает
товарищ Сталин.
Направо
третья,
он
там.
— Товарищи,
не останавливаться!
Чего стали?
В броневики
и на почтамт!
— Есть! —
повернулся
и скрылся скоро,
и только
на ленте
у флотского
под лампой
блеснуло —
«Аврора».
Кто мчит с приказом,
кто в куче спорящих,
кто щелкал
затвором
на левом колене.
Сюда
с того конца коридорища
бочком
прошел
незаметный Ленин.
Уже
Ильичем
поведенные в битвы,
еще
не зная
его по портретам,
толкались,
орали,
острее бритвы

солдаты друг друга
крыли при этом.
И в этой желанной
железной буре
Ильич,
как будто
даже заспанный,
шагал,
становился
и глаз, сощурия,
вонзал,
заложивши
руки за спину.
В какого-то парня
в обмотках,
лохматого,
установил
без промаха бьющий глаз,
как будто
сердце
с-под слов выматывал,
как будто
душу
тащил из-под фраз.
И знал я,
что всё
раскрыто и понято
и этим
глазом
наверное выловится —
и крик крестьянский,
и вопли фронта,
и воля нобельца,
и воля путиловца.
Он
в черепе
сотней губерний ворочал,
людей
носил
до миллиардов полутора.
Он
взвешивал
мир
в течение ночи,
а утром:
— Всем!
Всем!
Всем это —
фронтам,
кровью пьяным,
рабам
всякого рода,

в рабство
 богатым отданным.—
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным! —
Буржуи
 прочли,
 — погодите,
 выловим,—
животики пятят
 доводом веским,—
ужо им покажут
 Духонин с Корниловым,
покажут ужо им
 Гучков с Керёнским.
Но фронт
 без боя
 слова эти взяли —
деревня
 и город
 декретами зáлит,
и даже
 безграмотным
 сердце прожег.
Мы знаем,
 не нам,
 а им показали,
какое такое бывает
 «ужо».
Переходило
 от близких к ближним,
от ближних
 дальним взрывало сердца;
«Мир хижинам,
война,
 война,
 война дворцам!»
Дрались
 в любом заводе и цехе,
горохом
 из городов вытряхали.
 а сзади
шаганье октябрьское
 метило вехи
пылающих
 дворянских усадеб.
Земля —
 подстилка под ихними порками,

и вдруг
ее,
как хлебища в узел,
со всеми ручьями ее
и пригорками
крестьянин взял
и зажал, закорузел.
В очках
манжетщики,
злой похаркав,
ползли туда,
где царство да графство.
Дорожка скатертью!
Мы и кухарку
каждую
выучим
управлять государством!
Мы жили
пока
производством ротаций.
С окопов
летело
в немецкие уши:
— Пора кончать!
Выходите брататься! —
И фронт
расползался
в улитки теплушек.
Такую ли
течь
загородите горстью?
Казалось —
наша лодчонка кренится —
Вильгельмов сапог,
Николаева шпористей,
сотрет
Советской страны границы.
Пошли эсеры
в плащах распашонкой,
ловили бегущих
в свое словоблудьище,
тащили,
по-рыцарски,
глупой шпажонкой
красиво
сразить
броневые чудища!
Ильич
петушившимся
крикнул:
— Ни с места!

Пусть партия
 взвалит
 и это бремя.
Возьмем
 передышку похабного Бреста.
Потеря — пространство,
 выигрыш — время.—
Чтоб не передо́хнуть
 нам
 в передышку,
чтоб знал —
 запомнят уда́ры мои,—
себя
 не муштровкой,
 сознанием вышколи,
стройся
 рядами
 Красной Армии.
Историки
 с гидрой плакаты выдерут
— чи эта гидра была,
 чи нет? —
А мы
 знавали
 вот эту гидру
в ее
 натуральной величине.

«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов
и как один умрем
в борьбе за это!»

Деникин идет.
 Деникина выкинут,
обрушенный пушкой
 подымут очаг.
Тут Врангель вам —
 на смену Деникину.
Барона уронят —
 уже Колчак.
Мы жрали кору,
 ночёвка — болотце,
но шли
 миллионами красных звезд,
и в каждом — Ильич,
 и о каждом заботится
на фронте
 в одиннадцать тысяч верст.

Одиннадцать тысяч верст
о́кружность,
а сколько
вдоль да поперек!
Ведь каждый дом
атаковывать нужно,
каждый
врага
в подворотнях берег.
Эсер с монархистом
шпионят бессонно —
где жалят змеей,
где рубят плеча.
Ты знаешь
путь
на завод Михельсона?
Найдешь
по крови
из ран Ильича.
Эсеры
целят
не очень верно —
другим концом
да себя же
в бровь.
Но бомб страшнее
и пуль револьвёрных
осада голода,
осада тифов.
Смотрите —
кружат
над крошками мушки,
сытней им,
чем нам
в осьмнадцатом году,—
простаивали
из-за осьмушки
сутки
в улице
на холоду.
Хотите сажайте,
хотите травите —
завод за картошку —
кому он не жалок!
И десятикорпусный
судостроитель
пыхтел
и визжал
из-за зажига́лок.
А у кулаков
и масло и пышки.

Расчет кулаков
 простой и верненький —
 запрячь хлеба́
 да зарой в кубышки
 николаевки
 да кёренки.
 Мы знаем —
 голод
 сметает начисто,
 тут нужен зажим,
 а не ласковость воска,—
 и Ленин
 встает
 сражаться с кулачеством
 и продотрядами
 и подразверсткой.
 Разве
 в этокое время
 слово «демократ»
 набредет
 какой головке дурьей?!
 Если бить,
 так чтоб под ним
 панель была мокра:
 ключ побед —
 в железной диктатуре.
 Мы победили,
 но мы
 в пробоинах:
 машина стала,
 обшивка —
 лохмотья.
 Валы обломков!
 Лохмотьев обойных!
 Идите залейте!
 Возьмите и смойте!
 Где порт?
 Маяки
 поломались в порту,
 кренимся,
 мачтами
 волны крестя!
 Нас опрокинет —
 на правом борту
 в сто миллионов
 груз крестьян.
 В восторге враги
 заливаются воя,
 но так
 лишь Ильич умел и мог,—
 он вдруг
 повернул
 колесо рулевое

сразу
на двадцать румбов вбок.
И сразу тишь,
дивящая даже;
крестьяне
подвозят
к пристани хлеб.
Обычные вывески
— купля —
— продажа —
— нэп.
Прищурился Ленин:
— Чинитесь пока чего,
аршину учись,
не научишься —
плох.—
Команду
усталую
берег покачивал.
Мы к буре привыкли,
что за подвох?
Залив
Ильичем
указан глубокий,
и точка
смычки-причала
найдена,
и плавно
в мир,
строительству в доки,
вошла
Советских республик громадина.
И Ленин
сам
где железо,
где дерево
носил
чинить
пробитое место.
Стальными листами
вздымал
и примеривал
кооперативы,
лавки
и тресты.
И снова
становится
Ленин штурман,

огни по бортам,
впереди и сзади.
Теперь
от abordажей и штурма
мы
перейдем
к трудовой осаде.
Мы
отошли,
рассчитавши точно.
Кто разложился —
на берег
за вóрот.
Теперь вперед!
Отступление окончено.
РКП,
команду на борт!
Коммуна — столетия,
что десять лет для ней?
Вперед —
и в прошлом
скроется нэпчик.
Мы двинемся
во сто раз медленней,
зато
в миллион
прочней и крепче.
Вот этой
мелкобуржуазной стихии
еще
колышется
мертвая зыбь,
но, тихие
тучи
молнией выев,
уже —
нарастанье
всемирной грозы.
Враг
сменяет
врага поределого,
но будет —
над миром
зажжем небеса,
— но это
уже
полезней проделывать,
чем
об этом писать.—

Теперь,
 если пьете
 и если едите,
на общий завод ли
 идем
 с обеда,
мы знаем —
 пролетариат — победитель,
и Ленин —
 организатор победы.
От Коминтерна
 до звонких копеек,
серпом и молотом
 в новой меди,

одна
 неписаная эпопея —
шагов Ильича
 от победы к победе.
Революции —
 тяжелые вещи,
один не подымешь —
 согнется нога.
Но Ленин
 меж равными
 был первейший
по силе воли,
 ума рычагам.
Подымаются страны
 одна за одной —
рука Ильича
 указывала верно:
народы —
 черный,
 белый
 и цветной —
становятся
 под знамя Коминтерна.
Столпов империализма
 непреклонные колонны —
буржуи
 пяти частей света,
вежливо
 приподымая
 цилиндры и короны,
кланяются
 Ильичевой республике Советов.
Нам
 не страшно
 усилие ничье,

мчим
вперед
паровозом труда...
и вдруг
стопудовая весть —
с Ильичем
удар.

3

Если бы
выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
в музее
торчали ротозей.
Еще бы —
такое
не увидишь и в века!
Пятиконечные звезды
выжигали на наших спинах
панские воеводы.
Живьем,
по голову в землю,
закапывали нас банды
Мамонтова.
В паровозных топках
сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом,
отрекитесь! — ревели,
но из
горящих глоток
лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм! —
Кресло за креслом,
ряд в ряд
эта сталь,
железо это
вваливалось
двадцать второго января
в пятиэтажное здание
Съезда Советов.
Усаживались,
кидались усмешкою,
решали,
походя,
мелочь дел.

Пора открывать!
Чего они мешкают?
Чего
 президиум,
 как вырубленный, поредел?
Отчего
 глаза
 краснее ложи?
Что с Калининым?
 Держится еле.
Несчастье?
 Какое?
 Быть не может!
А если с ним?
 Нет!
 Неужели?
Потолок
 на нас
 пошел снижаться вороном.
Опустили головы —
 еще нагни!
Задрожали вдруг
 и стали черными
люстр расплывшихся огни.
Захлебнулся
 колокольчика ненужный шелк.
Превозмог себя
 и встал Калинин.
Слёзы не сжуешь
 с усов и щек.
Выдали.
 Блестят у бороды на клине.
Мысли смешались,
 голову мнут.
Кровь в виски,
 клокочет в вене:
— Вчера
 в шесть часов пятьдесят минут
скончался товарищ Ленин! —
Этот год
 видал,
 чего не взвидят сто.
День
 векам
 войдет
 в тоскливое преданье.
Ужас
 из железа
 выжал стон.
По большевикам
 прошло рыданье.

Тяжесть страшная!

Самих себя же

выволакивали

Разузнать —

волоком.

когда и как? —

Чего таят!

В улицы

и в переулки

катафалком

плыл

Большой театр.

Радость

ползет улиткой.

У горя

бешеный бег.

Ни солнца,

ни льдины слитка! —

всё

сквозь газетное ситко

черный

засеял снег.

На рабочего

у станка

весть набросилась.

Пулей в уме.

И как будто

слезы́ стакан

опрокинули на инструмент.

И мужичонко,

видавший виды,

смерти

в глаз

смотревший не раз,

отвернулся от баб,

но выдала

кулаком

растертая грязь.

Были люди — кремень,

и эти

прикусились,

губу уродуя.

Стариками

рассерьезничались дети,

и, как дети,

плакали седобородые.

Ветер

всей земле

бессонницею выл,

и никак
 восставшей
 не додумать до конца,
что вот гроб
 в морозной
 комнатеночке Москвы
революции
 и сына и отца.
Конец,
 конец,
 конец.
 Кого
уверять!
 Стекло —
 и видите под...
Это
 его
 несут с Павелецкого
по городу,
 взятому им у господ.
Улица,
 будто рана сквозная —
так болит
 и стонет так.
Здесь
 каждый камень
 Ленина знает
по топоту
 первых
 октябрьских атак.
Здесь
 всё,
 что каждое знамя
 вышило,
задумано им
 и велено им.
Здесь
 каждая башня
 Ленина слышала,
за ним
 пошла бы
 в огонь и в дым.
Здесь
 Ленина
 знает
 каждый рабочий,
сердца́ ему
 ветками елок стели.
Он в битву вел,
 победу пророчил,

и вот
 пролетарий —
 всего властелин.
Здесь
 каждый крестьянин
 Ленина имя
в сердце
 вписал
 любовней, чем в свя́тцы.
Он зёмли
 велел
 назвать своими,
что дедам
 в гробах,
 засеченным, снятся.
И коммунары
 с-под площади Красной,
казалось,
 шепчут:
 — Любимый и милый!
Живи,
 и не надо
 судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
 и ляжем в могилы! —
Сейчас
 прозвучали б
 слова чудотворца,
чтоб нам умереть
 и его разбудят,—
плотина улиц
 враспашку раствóрится,
и с песней
 на́ смерть
 ринутся люди.
Но нету чудес,
 и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
 гроб
 и согнутые плечи.
Он был человек
 до конца человеческого —
неси
 и казись
 тоской человечесьей.
Вовек
 такого
 бесценного груза
еще
 не несли
 океаны наши,



В. Маяковский. «Владимир Ильич Ленин».
Художник Е. А. Кибрик.

Как будто
 не ночь
 и не звезды на ней,
а плачут
 над Лениным
 негры из Штатов.
Мороз небывалый
 жарил подошвы.
А люди
 днюют
 давкою тесной.
Даже
 от холода
 бить в ладоши
никто не решается —
 нельзя,
 неуместно.
Мороз хватает
 и тащит,
 как будто
пытает,
 насколько в любви закаленные.
Врывается в толпы.
 В давку запутан,
вступает
 вместе с толпой за колонны.
Ступени растут,
 разрастаются в риф.
Но вот
 затихает
 дыханье и пенье,
и страшно ступить —
 под ногою обрыв —
бездонный обрыв
 в четыре ступени.
Обрыв
 от рабства в сто поколений,
где знают
 лишь золота звонкий резон.
Обрыв
 и край —
 это гроб и Ленин,
а дальше —
 коммуна
 во весь горизонт.
Что увидишь?!
 Только лоб его́ лишь,
и Надежда Константиновна
 в тумане
 за...

Может быть,
в глаза без слез
увидеть можно больше.
Не в такие
я
смотрел глаза.
Знамен
плывущих
склоняется шелк
последней
почестью отданной:
«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь благородный».
Страх.
Закрой глаза
и не гляди —
как будто
идешь
по проволоке про́вода.
Как будто
минуту
один на один
остался
с огромной
единственной правдой.
Я счастлив.
Звнящего марша вода
относит
тело мое невесомое.
Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знамённые
снова
склоняются крылья,

чтоб завтра
 опять
 подняться в бой —
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
 к плечу плечо,
флаги вычернив
 и веками алая,
на последнее
 прощанье с Ильичем
шли
 и медлили у мавзолея.
Выполняют церемониал.
Говорили речи.
 Говорят — и ладно.
Горе вот,
 что срок минуты
 мал —
разве
 весь
 охватишь ненаглядный!
Пройдут
 и наверх
 смотрят с опаской,
на черный,
 посыпанный снегом кружок.
Как бешено
 скачут
 стрелки на Спасской.
В минуту —
 к последней четверке прыжок.
Замрите
 минуту
 от этой вести!
Остановись,
 движение и жизнь!
Поднявшие молот,
 стыньте на месте.
Земля, замри,
 ложись и лежи!
Безмолвие.
 Путь величайший окончен.
Стреляли из пушки,
 а может, из тыщи.
И эта
 пальба
 казалась не громче,
чем мелочь,
 в кармане бренчащая —
 в нищем.

До боли
 раскрыв
 убогое зрение,
почти заморожен,
 стою не дыша.
Встает
 предо мной
 у знамён в озарении
тёмный
 земной
 неподвижный шар.
Над миром гроб
 неподвижен и нем.
У гроба —
 мы,
 людей представители,
чтоб бурей восстаний,
 дел и поэм
размножить то,
 что сегодня видели.
Но вот
 издалёка,
 оттуда,
 из алого
в мороз,
 в караул умолкнувший наш,
чей-то голос —
 как будто Муралова —
«Шагом марш».
Этого приказа
 и не нужно даже —
реже,
 ровнее,
 тверже дыша,
с трудом
 отрывая
 тело-тяжесть,
с площади
 вниз
 вбиваем шаг.
Каждое знамя
 твердыми руками
ВНОВЬ
 над головою
 взвито ввысь.
Топота потоп,
 сила кругами,
ширясь,
 расходится
 миру в мысль.

Общая мысль
 воедино созвеньена
 рабочих,
 крестьян
 и солдат-рубак:
 — Трудно
 будет
 республике без Ленина.
 Надо заменить его —
 кем? И как?
 — Довольно
 валяться
 на перине клоповой!
 — Товарищ секретарь!
 На́ тебе —
 вот —
 просим приписать
 к ячейке еркаповой
 сразу,
 коллективно,
 весь завод...—
 Смотрят
 буржуи,
 глазки раскоряча,
 дрожат
 от топота крепких ног.
 Четыреста тысяч
 от станка
 горячих —
 Ленину
 первый
 партийный венок.
 — Товарищ секретарь,
 бери ручку...
 Говорят — заменим...
 Надо, мол...
 Я уже стар —
 берите внучика,
 не отстаёт —
 подай комсомол.—
 Подшефный флот,
 подымай якоря,
 в море
 пора
 подводным кротам.
 «По морям,
 по морям,
 нынче здесь,
 завтра там».

Выше, солнце!
Будешь свидетель
скорей
разглаживай траур у рта.
В ногу
взрослым
вступают дети —
тра́-та-та-та́-та,
та́-та-та-та́.
«Раз,
два,
три!
Пионеры мы.
Мы фашистов не боимся,
пойдем на штыки».
Напрасно
кулак Европы задран.
Кроем их грохотом.
Назад!
Не сметь!
Стала
величайшим
коммунистом-организатором
даже
сама
Ильичева смерть.
Уже
над трубами
чудовищной рощи,
руки
миллионов
сложив в древко,
красным знаменем
Красная площадь
вверх
вздывается
страшным рывком.
С этого знамени,
с каждой складки
снова
живой
взывает Ленин:
— Пролетарии,
стройтесь
к последней схватке!
Рабы,
разгибайте
спины и колени!
Армия пролетариев,
встань стройна!

Да здравствует революция,
радостная и скорая!
Это —
единственная
великая война
из всех,
какие знала история.

1924

ХОРОШО!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЭМА

1

Время —
вещь
необычайно длинная, —
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами
или страной,
или
в сердце
было
в моем.

Я хочу,
чтобы, с этою
книгой побыв,
из квартирною
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы,
как штыком,
строкой
просверкав.
Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого, —
в мускулы
усталые
лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день
воспевать
никого не найдем.
Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.

2

«Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —
невмоготу.
Врали:
«народа —
свобода,
вперед,
эпоха,
заря...» —

и зря. Где
 земля,
 и где
 закон,
 чтобы землю
 выдать
 к лету? —

Нету!
Что же,
 дают
 за февраль,
 за работу,
 за то,
 что с фронтов
 не бежишь? —

Шиш.
На шее
 кучей
 Гучковы,
 черти,
 министры,
 Родзянки...

Мать их за́ ноги!
Власть
 к богатым
 рыло
 воротит,—
 чего
 подчиняться
 ей?! —

Бей!!»
То громом,
 то шепотом
 этот ропот
сползал
 из Керенской
 тюрьмы-решета.

В деревни
 шел
 по травам и трóпам,
в заводах
 сталью зубов скрежетал.

Чужие
 партии
 бросали швырком.

— На что им
 сбор
 болтунов
 дался?! —

И отдавали
 большевикам
гроши,
 и силы,
 и голоса.

До са́мой
 мужичьей
 земляной башки
докатывалась слава,—
 лила́сь
 и слы́ла,
что есть
 за мужиков
 какие-то
 «большаки» —
— у-у-у!
 Сила! —

3

Царям
 дворец
 построил Растрелли.
Цари рождались,
 жили,
 старели.
Дворец
 не думал
 о вертявом постреле,
не гадал,
 что в кровати,
 царицам вверенной,
раскинется
 какой-то
 присяжный поверенный.
От орлов,
 от власти,
 одеял
 и кру́жевца
голова
 присяжного поверенного
 кружится.

Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
бонапартьи
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
своею славой
пьяней,
чем сорокоградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
«Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который,—
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!»
В аплодисментном
плеске
премьер
проплывает
над Невским,
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розанчики.
Если ж
с безработы
загруститесь,

сам
себя,
уверенно и быстро,
назначает —
то военным,
то юстиции,
то каким-нибудь
еще
министром.
И вновь
возвращается,
сказав,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
«Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите,
этот,
как его, —
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!
Их величество?
Знаю.
Ну да!..
И руку жал.
Какая ерунда!
Императора?
На воду?
И черную корку?
При чем тут Совет?
Приказываю —
туда,
в Лондон,
к королю Георгу». —

Пришит к истории,
 пронумерован
 и скре́плен,
и его
 рисуют —
 и Бродский и Репин.

4

Петербургские окна.
 Синё и темно.
Город
 сном
 и покоем скован.
НО...
не спит
 мадам Кускова.
Любовь
 и страсть вернулись к старушке.
Кровать
 и мечты
 розоватит восток.
Ее
 волос
 пожелтые стружки
причудливо
 склеил
 слезливый восторг.
С чего это
 девушка
 сохнет и вянет?
Молчит...
 но чувство,
 видать, велико́.
Ее
 утешает
 усастая няня,
видавшая виды,—
 Пе Эн Милюков.
«Не спится, няня...
 Здесь так душно...
Открой окно
 да сядь ко мне».
— Кускова,
 что с тобой? —
 «Мне скушно...
Поговорим о старине».
— О чем, Кускова?
 Я,
 бывало,

хранила
в памяти
немало
старинных былей,
небылиц,—
и про царей,
и про цариц.
И я б,
с моим умишкой хилым,—
короновала б
Михаила.
Чем братъ
династию
чужую...
Да ты
не слушаешь меня?..—
«Ах, няня, няня,
я тоскую.
Мне тошно, милая моя.
Я плакать,
я рыдать готова...»
— Господь помилуй
и спаси...
Чего ты хочешь?
Попроси.
Чтобы тебе
на нас
не дуться,
дадим свобод
и конституций...
Дай,
окроплю
речей водою
горящий бунт...—
«Я не больна.
Я...
знаешь, няня...
влюблена...»
— Дитя мое,
господь с тобою! —
И Милюков
ее с мольбой
крестил
профессорской рукой.
— Оставь, Кускова,
в наши лета
любить
задаром
смысла нету.—

«Я влюблена»,—
шептала
снова
в ушко
профессору
она.

— Сердечный друг,
ты нездорова.—

«Оставь меня,
я влюблена».

— Кускова,
нервы,—
полечись ты...—

«Ах, няня,
он
такой речистый...
Ах, няня-няня!
няня! — Ах!

Его же ж
носят на руках.
А как поет он
про свободу...
Я с ним хочу,—
не с ним,
так в воду...»

Старушка
тычется в подушку,
и только слышно:
«Саша!
Душка!»

Смахнувши
слезы
рукавом,
взревел усастый нянь:
— В кого?

Да говори ты нараспашку! —
«В Керенского...»
— В какого?
В Сашку? —

И от признания
такого
лицо
расплýлось
Милюкова.

От счастья
профессор óжил:
— Ну, это что ж —
одно и то же!

При Николае
и при Саше
мы
сохраним доходы наши.—
Быть может,
на берегах Невы
подобных
дам
видали вы?

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штабс-капитан
Попов.
«Господин адъютант,
не возражайте,
не дам,—
скажите,
чего еще
поджидаем мы?
Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конечно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положение беря,
это...
черт его знает, что это такое!
Сегодня с денщиком:
ору ему: — Эй,
наваксь
шиблетину,
чтоб видеть рыло в ней! —

И конечно —
 к матушке,
 а он меня—
 к моей,
к матушке,
 к свет
 к Елизавете Кирилловне!»

«Нет,
я не за монархию
 с коронами,
 с орлами,

НО
для социализма
 нужен базис.

Сначала демократия,
 потом
 парламент.

Культура нужна.
 А мы —
 Азия-с!

Я даже —
 социалист,
 но не граблю,
 не жгу.

Разве можно сразу?
Конечно, нет!

Постепенно,
 понемногу,
 по вершочку,
 по шажку,

сегодня,
 завтра,
 через двадцать лет.

А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.

В Берлине
 выходили
 с билетом перронным.

Деньги
штаба —
 шпионы и агенты.

В Кресты бы
тех,
 кто ездит в пломбирóванном!»

«С этим согласен,
 это конечно,

этой сволочи
 мало повешено».

«Ленина,
который
 смуту сеет,

председателем,
 што ли,
 совета министров?
 Что ты?!
 Рехнулась, старушка Расея?
 Касторки прими!
 Поправьсь!
 Выздоровь!..
 Дудки!
 С казачеством
 шутки плохи́ —
 повыпускаем
 им
 потроха...»
 И всё адъютант —
 ха да хи,—
 Попов —
 хи да ха.
 «Будьте дважды прокляты
 и трижды поколейте!
 Господин адъютант,
 позвольте ухо:
 их
 ...ревосходительство
 ...ерал
 Каледин,
 с Дону,
 с плеточкой,
 извольте понюхать!
 Его превосходительство... Да разве он один?!
 Казачество кубанское,
 Днепр,
 Дон...»
 И всё стаканами —
 дон и динь,
 и шпорами —
 динь и дон.
 Капитан
 упился, как сова.
 Челядь
 чайники
 бесшумно подавала.
 А в конце у Лиговки
 другие слова
 подымались
 из подвалов.
 «Я,
 товарищи,—
 из военной бюры.
 Кончили заседание —
 то́ка-то́ка.—

Завтра, значит. Ну, несдобровать им!
Быть Керёнскому биту и ободрану!
Уж мы подыдем с царёвой кровати
эту самую Александру Федоровну».

6

Дул,
как всегда, октябрь ветрами,
как дуют при капитализме.
За Троицкий дули авто и трамы,
обычные рельсы вызмеив.
Под мостом Нева-река.
По Неве плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле, покрышки сбивши,
тихий, вроде упакованной трубы,
за Гатчину, забившись, улепетывал бывший —
«В рог, в бараний! Взбунтовавшиеся рабы!...»
Видят редких звезд глаза,
окружая Зимний в кольца,

по Мильонной
 из казарм
надвигаются кексгольмцы.
А в Смольном,
 в думах
 о битве и войске,
Ильич
 гримированный
 мечет шажки,
да перед картой
 Антонов с Подвойским
втыкают
 в места атак
 флажки.
Лучше
 власть
 добром оставь,
никуда
 тебе не деться!
Ото всех
 идут
 застав
к Зимнему
 красногвардейцы.
Отряды рабочих,
 матросов,
 голи —
дошли,
 штыком домерцав,
как будто
 руки
 сошлись на горле,
холёном
 горле
 дворца.
Две тени встало.
 Огромных и шатких.
Сдвинулись.
 Лоб о лоб.
И двор
 дворцовый
 руками решетки
стиснул
 торс
 толп.
Качались
 две
 огромных тени
от ветра
 и пуль скоростей,—

да пулеметы,
 будто
 хрустенъе
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
«В политику...
 начали...
 бáловаться...
Куда
 против нас
 бочкаревским дурам?!
Приказывали б
 на штурм».
Но тень
 боролась,
 спутав лапы,—
и лап
 никто
 не разнимал и не рвал.
Не выдержав
 молчания,
 сдавался слабый —
уходил
 от испуга,
 от нервá.
Первым,
 боязнью одолен,
снялся
 бабий батальон.
Ушли с батарей
 к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
А Кéренский —
 спрятался,
 попробуй,
 вымань его! —
Задумывалась
 казачья башка.
И
 редели
 защитники Зимнего,
как зубья
 у гребешка.
И долго
 длилось
 это молчанье,
молчанье надежд
 и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,
 в мягких мебели́х

с бронзовыми выкрутами,
сидят
 министры
 в меди блях,
и пахнет
 гладко выбритыми.
На них не глядят
 и их не слушают —
они
 у штыков в лесу.
Они
 упадут
 переспевшей грушею,
как только
 их
 потрясут.
Голос — редок.
Шепотом,
 знаками.
— Керенский где-то? —
— Он?
 За казаками.—
И снова молча.
И только
 пóд вечер:
— Где Прокопóвич?
— Нет Прокопóвича.—
А из-за Николаевского
чугунного моста́,
как смерть,
 глядит
 неласковая
Аврорьих
 башен
 сталь.
И вот
 высоко
 над воротником
поднялось
 лицо Коновалова.
Шум,
 который
 тёк родником,
теперь
 прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
 Дотянуться смог!
По каждому
 из стекол
 удары палки.

Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху —
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна, —
над Петропавловской
взвѣлся
фонарь,
восстанья
условный знак.
— Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! —
Ворва́лись.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
комнаты полня,
текли,
сливались
над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями о́ранной
монархам,
несущим
короны-клады, —
бархатными залами,
раскатистыми коридорами

гремели,
 бились
 сапоги и приклады.
 Какой-то
 смущенный
 сукин сын,
 а над ним —
 путиловец —
 нежней папаши:
 «Ты,
 парнишка,
 выкладывай
 ворованные часы —
 часы
 теперича
 наши!»
 Топот рос
 и тех
 тринадцать
 сгреб,
 забил,
 зашиб,
 затыркал.
 Забились
 под галстук —
 за что им приняться? —
 Как будто
 топор
 навис над затылком.
 За двести шагов...
 за тридцать...
 за двадцать...
 Вбегает
 юнкер:
 «Драться глупо!»
 Тринадцать визгов:
 — Сдаваться!
 Сдаваться! —
 А в двери —
 бушлаты,
 шинели,
 тулупы...
 И в эту
 тишину,
 раскатившийся всласть
 бас,
 окрепший,
 над реями рея:
 «Которые тут временные?»
 Слазь!
 Кончилось ваше время».

И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном:
«Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным».
А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фэйерверк сведений.
Впервые
вместо:
— и это будет...—
пели:
— и это есть
наш последний...—
До рассвета
осталось
не больше аршина,—
руки
лучей
с востока взмóлены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Кончено...
В Смольный».
Умолк пулемет.
Угодил толкóв.
Умолкнул
пуль
звнящий улей.
Горели,
как звезды,
границы штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь
ветра́ми.

Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

7

В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и воры́.
Сумрак
на мир
океан катну́л.
Синь.
Над кострами —
бур.
Подводной лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.
И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов
непрерывная буря.
На воду
сумрак
похож и так,—
бездонна
синяя прорва.
А тут
еще
и виденьем кита
туша
Авророва.

Огонь
пулеметный
площадь остриг.
Набережные —
пусты.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых.
И здесь,
где земля
от жары вязка,
с испугу
или со льда,
ладони
держа
у огня в языках,
греется
солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клочок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
«Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом».
Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока...
«Незнакомки»,
«дымки севера»
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.

И сразу
 лицо
 скупее менял,
мрачнее,
 чем смерть на свадьбе:
«Пишут...
 из деревни...
 сожгли...
 у меня...
библиотеку в усадьбе».
Уставился Блок —
 и Блокова тень
глазеет,
 на стенке привстав...
Как будто
 оба
 ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
 Христос
 являться не стал.
У Блока
 тоска у глаз.
Живые,
 с песней
 вместо Христа,
люди
 из-за угла.
— Вставайте!
 Вставайте!
 Вставайте!
Работники
 и батраки.
Зажмите,
 косарь и кователь,
винтовку
 в железо руки!
Вверх —
 флаг!
Рвань —
 встань!
Враг —
 ляг!
День —
 дрянь.
За хлебом!
 За миром!
 За волей!
Бери
 у буржуев
 завод!

Бери
у помещика поле!
Братайся,
дерущийся взвод!
Сгинь —
стар.
В пух,
в прах.
Бей —
бар!
Трах!
тах!
Довольно,
довольно,
довольно
покорность
нести
на горбах.
Дрожи,
капиталова дворня!
Тряситесь,
короны,
на лбах!
Жир
ёжь,
страх
плах!
Трах!
тах!
Тах!
тах! —

Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян —
и вставали села,
содрогая воем,
по дороге
топоры крестя.
— Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мещика.

Гос-
по-
дин
по-
мещичек,
со-
би-
райте
вещи-ка!
До-
шло
до поры,
вы-
хо-
ди,
босы,
вос-
три
топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба-
рыни сами.
Ташь
в хату
пианино,
граммофон с часами!
Под-
хо-
ди-
те, орлы!
Будя — пограбили.
Встречай в колы,
проводжай в грабли!
Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарчи-ка!
Все
поместья
богачевы
разметим пожарчиком.
Под-
пусть
петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
потухай,

пе-
тух милый! —
Черт
ему
теперь
родня!

Головы —
кочаном.
Пулеметов трескотня
сыпется с тачанок.
«Эх, яблочко,
цвета ясного.

Бей
справа белаво,
слева краснова».

Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.

8

Холод большой.
Зима здоровá.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова,
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В наши вагоны,
на нашем пути,
наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два,—

но мы —
 уйдем поздно.
Нашим товарищам
 наши дрова
нужны:
 товарищи мерзнут.
Работа трудна,
 работа
 томит.
За нее
 никаких копеек.
Но мы
 работаем,
 будто мы
делаем
 величайшую эпопею.
Мы будем работать,
 всё стерпя,
чтоб жизнь,
 колёса дней торопя,
бежала
 в железном марше
в наших вагонах,
 по нашим степям,
в города
 промерзшие
 наши.
«Дяденька,
 что вы делаете тут,
столько
 больших дядей?»
— Что?
 Социализм:
 свободный труд
свободно
 собравшихся людей.

9

Перед нашею
 республикой
 стоят богатые.
 Но как постичь ее?
И вопросам
 разнедоуменным
 нёт числа:

что это
 за нация такая
 «социалистичья»,
 и что это за
 «соци-
 алистическое отечество»?

«Мы
 восторги ваши
 понять бессильны.
 Чем восторгаются?
 Про что поют?
 Какие такие
 фрукты-апельсины
 растут
 в большевицком вашем
 раю?

Что вы знали,
 кроме хлеба и воды,—
 с трудом
 перебиваясь
 со дня на день?
 Такого отечества
 такой дым
 разве уж
 настолько приятен?
 За что вы
 идете,
 если велят —
 «воюй»?

Можно
 быть
 разорванным бóмбищей,
 можно
 умереть
 за землю за свою,
 но как
 умирать
 за общую?

Приятно
 русскому
 с русским обняться,—
 но у вас
 и имя
 «Россия»
 утеряно.

Что это за
 отечество
 у забывших об нации?
 Какая нация у вас?
 Коминтерина?

Жена,
да квартира,
да счет текущий —
вот это —
отечество,
райские кущи.
Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали б
и смерть
и молодечество».
Слушайте,
национальный трутень,—
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.

10

Политика
проста,
как воды глоток.
Понимают
ощерившие
сытую пасть,
что если
в Россиях
увязнет коготок,
всей
буржуазной птичке —
пропасть.
Из «сюртэ женераль»,
из «интёллидженс сёрвис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.

Набились в трюмы,
палубы обсели
на деньги
вербовочного агентства.
В Новороссийск
плывут из Марселя,
из Дувра
плывут к Архангельску.
С песней,
с вѣски,
сыты по-свински.
Килями
вскопаны
воды холодные.
Смотрят
перископами
лодки подводные.
Плывут крейсера,
снаряды соря.
И
миноносцы
с минами носятся.
А
поверх
всех
с пушками
чудовищной длинноты
сверх-
дредноуты.
Разными
газами
воняя гадко,
тучи
пропеллерами выдрав,
с авиаматки
на авиаматку
пе-
ре-
пархивают «гидро».
Послал
капитал
капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,

в Каспийское,
 в Балтийское,—
 куда
 корабль
 ни тычется,
 конец
 катаниям.
 Стоит
 морей владычица,
 бульдожья
 Британия.
 Со всех концов
 блокады кольцо
 и пушки
 смотрят в лицо.
 — Красным не нравится?!
 Им
 голодно?!
 Рыбкой
 наедитесь,
 пойдя
 на дно.—
 А кому
 на суше
 грабить охота,
 те
 с кораблей
 сходили пехотой.
 — На море потопим,
 на суше
 потопаем.—
 Чужими
 руками
 жар гребя,
 дым
 отечества
 пускают
 пострелины —
 выставляют
 впереди
 одураченных ребят,
 баронов
 и князей недорасстрелянных.
 Могилы копайте,
 гроба копите,—
 Юденича
 рати
 прут
 на Питер.
 В обозах
 еды вкусят

консервы —
 пуд.
 Танков
 гусеницы
 на Питер
 прут.
 От севера
 идет
 адмирал Колчак,
 сибирский
 хлеб
 сапогом толча.
 Рабочим на расстрел,
 поповнам на утехе,
 с ним
 идут
 голубые чехи.
 Траншеи,
 машинами выбранные,
 саперами
 Крым
 перекопан,—
 Врангель
 крупнокалиберными
 орудует
 с Перекопа.
 Любят
 полковников
 сентиментальные леди.
 Полковники
 любят
 поговорить на обеде.
 — Я
 иду, мол
 (прихлебывает виски),
 а на меня
 десяток
 чудовищ
 большевицких.
 Раз — одного,
 другого —
 ррраз,—
 кстати,
 как дэнди,
 и девушку спас.—
 Леди,
 спросите
 у мерина сивого —

он
как Мурманск
разизнасиловал.
Спросите,
как —
Двина-река,
кровью
крашенная,
трупы
вы́тая,
с кладью
страшною
шла
в Ледовитый.
Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного,
да и тот скручен.
Как офицера́
его
величества
бежали
от выстрелов,
берег вычистя.
Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холёные
туго
у горл.
Но...
«итс э лонг уэй
ту Типерери,
итс э лонг уэй
ту го!»
На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,
и эти
и те...

Будьте вы прокляты,
прогневшие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратэрнитэ» и «эгалитэ»!
Свинцовый
льется
на нас
кипяток.
Одни мы —
и спрятаться негде.
«Янки
дудль
кип ит об,
Янки дудль дэнди».
Посреди
винтовок
и орудий голосища
Москва —
островком,
и мы на островке.
Мы —
голодные,
мы —
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом в руке.

11

Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Веэсэнха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.
Теперь здесь
всякие
и люди
и классы.
Зимой
в печурку-пчелку

суют
тома шекспирьи.
Зубами
щелкают,—
картошка —
пир им.
А летом
слушают асфальт
с копейками
в окне:
— Трансваль,
Трансваль,
страна моя,
ты вся
горишь
в огне! —
Я в этом
каменном
котле
варюсь,
и эта жизнь —
и бег, и бой,
и сон,
и тлен —
в домовьи
этажи
отражена
от пят
до лба,
грозою
омываемая,
как отражается
толпа
идущими
трамваями.
В пальбу
присев
на корточки,
в покой —
глазами к форточке,
чтоб было
видней,
я
в комнатенке-лодочке
проплыл
три тыщи дней.

Ходят
 спекулянты
 вокруг Главтопа.
 Обнимут,
 зацелуют,
 убьют за руп.
 Секретарши
 ответственные
 валенками топают.
 За хлебными
 карточками
 стоят лесорубы.
 Много
 дела,
 мало
 горя им —
 фунт
 — целый! —
 первой категории.
 Рубят,
 липовый
 чай
 выкушав.
 — Мы
 не Филипповы,
 мы —
 привыкши.
 Будет
 обед,
 будет
 ужин,—
 белых бы
 вон
 отбить от ворот.
 Есть захотелось,
 пояс —
 потуже,
 в руки винтовку
 и —
 на фронт.—
 А
 мимо —
 незаменимый.
 Стуча
 сапогом,
 идет за пайком —
 правление
 выдало
 урюк
 и повидло.

Богатые —
 ловче,
едят
 у Зунделовича.
Ни шей,
 ни каш —
бифштекс
 с бульоном,
хлеб
 ваш,
полтора миллиона.
Ученому
 хуже:
фосфор
 нужен,
масло
 на блюде.
Но,
 как на́зло,
есть революция,
а нету
 масла.
Они —
 научные.
Напишут,
 вылечат.
Мандат, собственноручный,
Анатолий Васильича.
Где
 хлеб
 да мяса́,
придут
 на час к вам.
Читает
 комиссар
мандат Луначарского.
«Так...
 сахар...
 так...
 жирок вам.
Дров...
 березовых...
 посуше поленья...
и шубу
 широкого
потребленья.
Я вас,
 товарищ,
 спрашиваю в упор:

хотите —
 берите
 головной убор.

Приходит
 каждый
с разной блажью.
Берите
 пока што
ногу
 лошажью!»

Мех
 на глаза,
как баба-яга,
идут
 назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
 квадратных аршин жилья.
Четверо
 в помещении —
Лиля,
 Ося,
 я
и собака
 Щеник.
Шапчонку
 взял
 оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
 В уборную
иду.
 На Ярославский.
Как парус,
 шуба
 на весу,
воняет
 козлом она.
В санях
 полено везу,
забрал
 забор разломанный.
Полено —
 тушею,
тверже камня.

Как будто
вспухшее
колени
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосуллек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами-сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облёт.

По розовой
 глади
 моря,
 на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
 за розовую,
бросать якоря
туда,
 где березовые
дрова
 горят.
Я
 много
 в теплых странах плутал,
но только
 в этой зиме
понятной
 стала
 мне
 теплота
любовей,
 дружб
 и семей.
Лишь лежа
 в такую вот гололедь,
зубами
 вместе
 проляскав —
поймешь:
 нельзя
 на людей жалеть
ни одеяло,
 ни ласку.
Землю,
 где воздух,
 как сладкий морс,
бросишь
 и мчишь, колеса,—
но землю,
 с которою
 вместе мерз,
вовек
 разлюбить нельзя.

Скрыла
 та зима,
 худа и строга,
 всех,
 кто на́век
 ушел ко сну.
 Где уж тут словам!
 И в этих
 строках
 боли
 волжской
 я не коснусь.
 Я
 дни беру
 из ряда дней,
 что с тыщей
 дней
 в родне.
 Из серой
 полосы
 деньки,
 их гнали
 годы-
 водники —
 не очень
 сытенькие,
 не очень
 голодненькие.
 Если
 я
 чего написал,
 если
 чего
 сказал,—
 тому виной
 глаза-небеса,
 любимой
 моей
 глаза.
 Круглые
 да карие,
 горячие
 до гари.
 Телефон
 взбесился шалый,
 в ухо
 грохнул обухом:
 карие
 глазища
 сжала

голода
 опухоль.
Врач наболтал —
чтоб глаза
 глазели,
нужна
 теплота,
нужна
 зелень.
Не домой,
 не на суп,
а к любимой
 в гости
две морковинки
 несу
за зеленый хвостик.
Я
 много дарил
 конфekt да букетов,
но больше
 всех
 дорогих даров
я помню
 морковь драгоценную эту
и пол-
 полена
 березовых дров.
Мокрые,
 тощие
под мышкой
 дровинки,
чуть
 потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
 щелки.
Зелень
 и ласки
выходили глазки.
Больше
 блюдца,
смотрят
 революцию.
Мне
 легше, чем всем,—
я
 Маяковский.

Сижу
и ем
кусочек
конский.
Скрип —
дверь,
плача.
Сестра
младшая.
— Здравствуй, Володя!
— Здравствуй, Оля!
— Завтра новогодие —
нет ли
соли? —
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.
Одoleвая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет.
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не ва́лится —
примерзла
к пальцам.
За стенкой —
шарк:
«Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена».
Окно, —
с него

идут
 снега,
мягка
 снегов
тиха
 нога.
Бела,
 гола
столиц
 скала.
Прилип
 к скале
лесов
 скелет.
И вот
 из-за леса,
 небу в шаль,
вползает
 солнца
 вша.
Декабрьский
 рассвет,
 изможденный
 и поздний,
встает
 над Москвой
 горячкой тифозной.
Ушли
 тучи
к странам
 тучным.
За тучей
 берегом
лежит
 Америка.
Лежала,
 лакала
кофе,
 какао.
В лицо вам,
 толще
 свиных причуд,
круглей
 ресторанных блюд,
из нищей
 нашей
 земли
 кричу:
Я
 землю
 эту
 люблю.

Можно
 забыть,
 где и когда
пузы растил
 и зобы,
но землю,
 с которой
 вдвоем голодал,—
нельзя
 никогда
 забыть!

15

Под ухом
 самым
 лестница
ступенек на двести,—
несут
 минуты-вестницы
по лестнице
 вести.
Дни пришли
 и топали:
— Дóжили,
 вот вам,—
нету
 топлив
брюхам
 заводовым.
Дымом
 небесный
 лак помутив,
до самой трубы,
 до носа
локомотив
 стоит
 в заносах.
Положив
 на валенки
 цветные заплаты,
из ворот,
 из железного зёва,
снова шли,
 ухватясь за лопаты,
все,
 кто мобилизован.
Вышли
 за́ лес,

вместе
взялись.
Я ли,
вы ли,
откопали,
вырыли.
И снова
поезд
катит
за снежную
скатерть.
Слабеет
тело
без ед
и питья,
носилки сделали,
руки сплетя.
Теперь
запевай,
и домой можно —
да на руки
положено
пять обмороженных.
Сегодня
на лестнице,
грязной и тусклой,
копались
обывательские
слухи-свиньи.
Деникин
подходит
к са́мой
к тульской,
к пороховой
сердцевине.
Обулись обыватели,
по пыли печатают
шепотоголосые
кухарочьи хоры:
— Будет...
крупичатая!..
пуды непечатые...
ручьи — чай...
сухари,
сахары.
Бли-и-и-зко беленькие,
береги кёренки! —
Но город
проснулся,
в плакаты кадрованный,—

это
партия звала:
«Пролетарий, на коня!»
И красные
скачут
на юг
эскадроны —
Мамонтова
нагонять.
Сегодня
день
вбежал второпях,
криком
тишь
порвав,
простреленным
легким
часто хрипя,
упал
и кончался,
кровав.
Кровь
по ступенькам
стекала на́ пол,
стыла
с пылью пополам,
и снова
на пол
каплями
капала
из-под пули
Каплан.
Четверолапые
зашагали,
визг
шел
шакалий.
Салоп
говорит
чуйке,
чуйка
салопу:
— Заёрзали
длинноносые шуки!
Скоро
всех
слопают! —
А потом
топырили
глаза-тарёлины
в длинную
фамилий
и званий тропу.

Ветер
сдирает
списки расстрелянных,
рвет,
закручивает
и пускает в трубу.
Лапа
класса
лежит на хищнике —
Лубянская
лапа
Че-ка.
— Замрите, враги!
Отойдите, лишненькие!
Обыватели!
Смирно!
У очага! —
Миллионный
класс
вставал за Ильича
против
белого
чудовища клыкастого,
и вливалось
в Ленина,
леча,
этой воли
лучшее лекарство.
Хоронились
обыватели
за кухни,
за пеленки.
— Нас не трогайте —
мы — цыпленки.
Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
время,
вашу пасть!
Мы обыватели —
нас обувайте вы,
и мы
уже
за вашу власть.—
А утром
небо —
веча звонница!
Вчерашний
день
виня во лжи,

расколоколивали
птицы и солнце:
жив,
жив,
жив,
жив!
И снова
дни
чередой заводной
сбегались
и просили:
— Идем
за нами —
«еще
одно
усилье».
От боя к труду —
от труда
до атак,—
в голоде,
в холоде
и нагоде
держали
взятое,
да так,
что кровь
выступала из-под ногтей.
Я видел
места,
где инжир с айвой
росли
без труда
у рта моего,—
к таким
относишься
иначе.
Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массами,—
с такою
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!

Мне
 рассказывал
 тихий еврей,
 Павел Ильич Лавут:
 «Только что
 вышел я
 из дверей,
 вижу —
 они плывут...»
 Бегут
 по Севастополю
 к дымящим пароходам.
 За де́нь
 подметок стопали,
 как за́ год похода.
 На рейде
 транспорты
 и транспортчики,
 драки,
 крики,
 ругня,
 мотня,—
 бегут
 добровольцы,
 задрав порточки,—
 чистая публика
 и солдатня.
 У кого —
 канарейка,
 у кого —
 рояли́на,
 кто со шкафом,
 кто
 с утюгом.
 Кадеты,—
 на что уж
 люди лояльные,—
 толкались локтями,
 крыли матюгом.
 Забыли приличия,
 бросили моду,
 кто —
 без юбки,
 а кто —
 без носков.
 Бьет
 мужчина
 даму
 в морду,

солдат
 полковника
 сбивает с мостков.
Наши наседали,
 крыли по трапам,
кашей
 грузился
 последний эшелон.
Хлопнув
 дверью,
 сухой, как рапорт,
из штаба
 опустевшего
 вышел он.
Глядя
 на́ ноги,
шагом
 резким,
шел
 Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
 го́ло.
Лодка
 шестивёсельная
стоит
 у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
 колена
упал главнокомандующий.
Трижды
 землю
 поцеловавши,
трижды
 город
 перекрестил.
Под пули
 в лодку прыгнул... — Ваше
превосходительство,
 грести? —
 — Грести! —
Убрали весло.
Мотор
 заторкал.
Пошла
 весело́

к «Алмазу»
 моторка.
Пулей
 пролетела
 штандартная яхта.
А в транспортах-галошинах
 далеко
 сзади
тащились
 оторванные
 от станка и пахот,
узлов
 полтора ста
 накручивая за́ день.
От родины
 в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру,
 в Дарданеллы узкие,
плыли
 завтрашние галлиполийцы,
плыли
 вчерашние русские.
Впе-
 реди
 година на године.
Каждого
 трясись,
 который в каске.
Будешь
 доить
 коров в Аргентине,
будешь
 мереть
 по ямам африканским.
Чужие
 волны
 качали транспорты,
флаги
 с полумесяцем
 бросались в очи,
и с транспортов
 за яхтой
 гналось:
 «Аспиды,
сперли казну
 и удрали, сволочи».
Уже
 экипажам
 оберегаться

пули
 шальной
 надо.
Два
 миноносца-американца
стояли
 на рейде
 рядом.
Адмирал
 трубой обвел
стреляющих
 гор
 край:
— Ол
райт.—
И ушли
 в хвосте отступающих свор,—
орудия на город,
 курс на Босфор.
В духовках солнца
 горы
 жаркое.
Воздух
 цветы рассиропили.
Наши
 с песней
 идут от Джанкоя,
сыпятся
 с Симферополя.
Перебивая
 пуль разговор,
знаменами
 бой
 овевая,
с красными
 вместе
 спускается с гор
песня
 боевая.
Не гнулась,
 когда
 пулеметом крошило,
вставала,
 бесстрашная,
 в дожде-свинце:
«И с нами
 Ворошилов,
первый красный офицер».
Слушают
 пушки,
 морские ведьмы,

у-
ле-
петывая
во винты во все,
как сыпется
с гор
— «готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!»
Начштаба
морщит лоб.
Пальцы
корявой руки
буквы
непослушные гнут:
«Врангель
оп-
раки-
нут
в море.
Пленных нет».
Покамест —
точка. Конец
и телеграмме
и войне.
Вспомнили —
недопахано,
недожато у кого,
у кого
доменные
топки да зóри.
И пошли,
отирая пот рукавом,
расставив
на вышках
дозоры.

17

Хвалить
не заставят
ни долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол —
отстроить, умыв.

Я с теми,
 кто вышел
 строить
 и мечь
в сплошной
 лихорадке
 буден.

Отечество
 славлю,
 которое есть,
но трижды —
 которое будет.

Я
 планов наших
 люблю громадьё,
размаха
 шаги саженьи.

Я радуюсь
 маршу,
 которым идем
в работу
 и в сраженья.

Я вижу —
 где сор сегодня гниет,
где только земля простая —
на сажень вижу,
 из-под нее
коммуны
 дома
 прорастают.

И меркнет
 доверье
 к природным дарам,
с унылым
 пудом сенца,
и поворачиваются
 к тракторам
крестьян
 заскорузлые сердца.

И планы,
 что раньше
 на станциях лбов
задерживал
 нищенства тормоз,
сегодня
 встают
 из дня голубого,
железом
 и камнем формясь.

И я,
 как весну человечества,

рожденную
 в трудах и в бою,
пою
 мое отечество,
республику мою!

18

На девять
 сюда
 октябрей и маёв,
под красными
 флагами
 праздничных шествий,
носил,
 с миллионами,
 сердце мое,
уверен
 и весел,
 горд
 и торжествен.
Сюда,
 под траур
 и плеск чернофлажий,
пока
 убитого
 кровь горяча,—
бежал,
 от тревоги,
 на выстрелы вражьи,
молчать
 и мрачнеть,
 кричать
 и рычать.
Я
 здесь
 бывал
 в барабанах стучащих
и в мертвом
 холоде
 слез и льдин,
а чаще еще —
просто
 один.
Солдаты башен
 стражей стоят,
подняв
 свои
 островерхие шлемы,—

и, злобу
в башках куполов
тая,
притворяются
церкви,
монашьи шельмы.

Ночь —
и на головы нам
луна.

Она
идет
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.

Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голову,
и вновь
голова-лунь
уносится
с камня
голового.

Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.

И лунным
пламенем
озарена мне
площадь

в сиянье,
в яви
в денной...

Стена —
и женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лег под стеной.

Облил
булыжники
лунный никель,

штыки
от луны
и тверже,
и злей,
и,
как нагроможденные книги,—
его
мавзолей.
Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка,—
души
не смущу
мертвизной,—
он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.
Но могилы
не пускают,—
и меня
останавливают имена.
Читаю угрюмо:
«товарищ Красин».
И вижу —
Париж
и из окон Дóрио...
И Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся,
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась,—
и кровью
газета
намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое

такой,
с каким
портретами сжи́лись,—
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу,
не задумываясь —
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».
Кто костями,
кто пеплом,
стенам под стопу
улеглись... А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отравы.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве:
— Скажите —
вы здесь? Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? — Скажите.

Достроит
коммуна из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель? —

Тише, товарищи, спите...
Ваша
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.

И снова
шорох
в пепельной вазе,
лепечут
венки
языками лент:
— А в ихних
черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи? — Нет!

В мире
насилия и денег,
тюрем
и петель витья,—
ваши
великие тени
ходят,
будя
и ведя.
— А вас
не тянет
всевластная тина?
Чиновность
в мозгах
паутину
не свила?

Скажите —
цела?
Скажите —
едина?

Готова ли
к бою
партийная сила?
— Спите,
товарищи, тише...

Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки ошетинивши,
с первым
приказом:
«Вперед!»

19

Я
земной шар
чуть не весь
обошел,—
и жизнь
хороша,
и жить
хорошо.
А в нашей буче,
боевой, кипучей,—
и того лучше.
Вьется
улица-змея.
Дома
вдоль змеи.
Улица —
моя.
Дома —
мои.
Окна
разинув,
стоят
магазины.
В окнах
продукты:
вина,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют.
«Цены
снижены».
Стала
оперяться
моя
кооперация.

Бьем
 грошом.
Очень хорошо.
Грудью
 у витринных
 книжных груд.
Моя
 фамилия
 в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
 это
 мой труд
вливается
 в труд
 моей республики.

Пыль
 взбили
шиной губатой, —
в моем
 автомобиле
мои
 депутаты.

В красное здание
на заседание.

Сидите,
 не совейте
в моем
 Моссовете.

Розовые лица.
Револьвер
 желт.

Моя
 милиция
меня
 бережет.

Жезлом
 правит,
чтоб вправо
 шел.

Пойду
 направо.

Очень хорошо.
Надо мною
 небо.

Синий
 шелк!

Никогда
 не было
так
 хорошо!
Тучи-
 кочки
переплыли летчики.
Это
 летчики мои.
Встал,
 словно дерево, я.
Всыпят,
 как пойдут в бои,
по число
 по первое.
В газету
 глаза:
молодцы — вѣнцы!
Буржуям
 под зад
наддают
 коленцем.
Суд
 жгут.
Зер
 гут!
Идет
 пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
 дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
 передовица
угроз паршой.
Чтоб им подавиться.
Грозят?
 Хорошо.
Полки
 идут
у меня на виду.
Барабану
 в бока
бьют
 войска.
Нога
 крепка,
голова
 высока.

Пушки
ввозятся,—
идут
краснозвездцы.
Приспособил
к маршу
такт ноги:
вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.

Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг.

Воздуха́ береги.
Пых-дых,
пых-
тят
мои фабрики.

Пыши,
машина,
шибче-ка,—
вовек чтоб
не смолкла,—
побольше
ситчика
моим
комсомолкам.

Ветер
подул
в соседнем саду.
В ду-
хах
про-
шел.

Как хо-
рошо!
За городом —
поле.

В полях —
деревеньки.

615

**Славьте,
 МОЛОТ
 И СТИХ,
ЗЕМЛЮ МОЛОДОСТИ.**

1927

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

ПЕРВОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ПОЭМУ

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем г....,
наших дней изучая потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш ученый,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.
Засадила садик мило,
дочка,
дача,
вось
и гладь —

сама садик я садила,
сама буду поливать.
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
набравши в рот —
кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки —
кто их к черту разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинят из-под стен:
«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-н...»
Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,
где харкает туберкулез,
где б... с хулиганом
да сифилис.
И мне
агитпроп
в зубах навяз,
и мне бы
строчить
романсы на вас —
доходней оно
и прелестней.
Но я
себя
смирять,
становясь
на горло
собственной песне.
Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.
Заглуша
поэзии потоки,
я шагну
через лирические томики,
как живой
с живыми говоря.
Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков

и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
но он дойдет не так,—
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима.
В курганах книг,
похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы
с уважением
ощупывайте их,
как старое,
но грозное оружие.
Я
ухо
словом
не привык ласкать;
ушку девическому
в завиточках волоска
с полупохабщины
не разалеться тронуту.
Парадом развернув
моих страниц войска,
я прохожу
по строчечному фронту.
Стихи стоят
свинцово-тяжело,
готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
зияющих заглавий.
Оружия
любимейшего
род,

готовая
 рвануться в гике,
застыла
 кавалерия острот,
поднявши рифм
 отточенные пики.

И все
 поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
 пролетали,
до самого
 последнего листка
я отдаю тебе,
 планеты пролетарий.

Рабочего
 громады класса враг —
он враг и мой,
 отъявленный и давний.

Велели нам
 идти
 под красный флаг
года труда
 и дни недоеданий.

Мы открывали
 Маркса
 каждый том,
как в доме
 собственном
 мы открываем ставни,
но и без чтения
 мы разбирались в том,
в каком идти,
 в каком сражаться стане.

Мы
 диалектику
 учили не по Гегелю.

Бряцанием боев
 она врывалась в стих,
когда
 под пулями
 от нас буржуи бежали,
как мы
 когда-то
 бежали от них.

Пускай
 за гениями
 безутешною вдовой
плетется слава
 в похоронном марше —
умри, мой стих,
 умри, как рядовой,

как безымянные
 на штурмах мерли наши!
 Мне наплевать
 на бронзы многопудье,
 мне наплевать
 на мраморную слизь.
 Сочтемся славою —
 ведь мы свои же люди, —
 пускай нам
 общим памятником будет
 построенный
 в боях
 социализм.
 Потомки,
 словарей проверьте поправки:
 из Леты
 выплывут
 остатки слов таких,
 как «проституция»,
 «туберкулез»,
 «блокада».
 Для вас,
 которые
 здоровы и ловки,
 поэт
 вылизывал
 чахоткины плевки
 шершавым языком плаката.
 С хвостом годов
 я становлюсь подобием
 чудовищ
 ископаемо-хвостатых.
 Товарищ жизнь,
 давай
 быстреем протопаем,
 протопаем
 по пятилетке
 дней остаток.
 Мне
 и рубля
 не накопили строчки,
 краснодеревщики
 не слали мебель на́ дом.
 И кроме
 свежевымытой сорочки,
 скажу по совести,
 мне ничего не надо.
 Явившись
 в Це Ка Ка
 идущих
 светлых лет,

над бандой
 поэтических
 рвачей и выжиг
я подыму,
 как большевистский партбилет,
все сто томов
 моих
 партийных книжек.

Декабрь 1929 — январь 1930

ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО

* * *

Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
 разбрасываю разломавши
так рвут загадав и пускают
 по маю
венчики встречных ромашек
пускай седины обнаруживает стрижка и бритье
Пусть серебро годов вызванивает
 уймою
надеюсь верую вовеки не придет
ко мне позорное благоразумие

* * *

Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить
как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете и не к чему перечень
взаимных болей бед и обид
Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданию

* * *

Я знаю силу слов я знаю слов набат
Они не те которым рукоплещут ложи
От слов таких срываются гроба
шагать четверкою своих дубовых ножек
Бывает выбросят не напечатав не издав
Но слово мчится подтянув подпруги
звенит века и подползают поезда
лизать поэзии мозолистые руки
Я знаю силу слов Глядится пустяком
Опавшим лепестком под каблуками танца
Но человек душой губами костяком

1928—1930

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

(Из очерка «Нью-Йорк»)

Я люблю Нью-Йорк в осенние деловые дни, в будни.

6 утра. Гроза и дождь. Темно и будет темно до полудня.

Одеваешься при электричестве, на улицах — электричество, дома в электричестве, ровно прорезанные окнами, как рекламный плакатный трафарет. Непомерная длина домов и цветные мигающие регуляторы, движения дwoятся, троются и десятирятся асфальтом, до зеркала вылизанным дождем. В узких ущельях домов в трубе гудит какой-то авантюристичный ветер, срывает, громыхает вывесками, пытается свалить с ног и убегает безнаказанный, никем не задержанный, сквозь версты десятка авеню, прорезывающих Мангеттен (остров Нью-Йорка) вдоль — от океана к Гудзону. С боков подвывают грозе бесчисленные голо-сенки узеньких стритов, также по линейному ровно режущих Мангеттен поперек от воды к воде. Под навесами, — а в бездождный день просто на тротуарах, — валяются кипы свежих газет, развезенные грузовиками заранее и раскиданные здесь газетчиками.

По маленьким кафе холостые пускают в ход машины тел, запихивают в рот первое топливо — торопливый стакан паршавого кофе и заварной бублик, который тут же в сотнях экземпляров кидает бубликоделательная машина в кипящий и плюющийся котел сала.

Внизу сплошной человечиной течет, сначала до зари — чернолиловая масса негров, выполняющих самые трудные, мрачные работы. Позже, к семи, — непрерывно белые. Они идут в одном направлении сотнями тысяч к местам своих работ. Только желтые просмоленные дождевики бесчисленными самоварами шумят и горят в электричестве, намокшие, и не могут потухнуть даже под этим дождем.

Автомобилей, такси еще почти нет.

Толпа течет, заливая дыры подземок, выпирая в крытые ходы воздушных железных дорог, несясь по воздуху двумя по высоте и тремя параллельными воздушными курьерскими, почти безостановочными, и местными, через каждые пять кварталов останавливающимися поездами.

Эти пять параллельных линий по пяти авеню несутся на трехэтажной высоте, а к 120-й улице вскарабкиваются до восьмого и девятого,— и тогда новых, едущих прямо с площадей и улиц вздымают лифты. Никаких билетов. Опустил в высокую, тумбой, копилку-кассу 5 центов, которые тут же увеличивает лупа и показывает сидящему в будке меняле, во избежание фальши.

5 центов — и езжай на любое расстояние, но в одном направлении.

Фермы и перекрытия воздушных дорог часто ложатся сплошным навесом во всю длину улицы, и вам не видно ни неба, ни боковых домов,— только грохот поездов по голове да грохот грузовозов перед носом,— грохот, в котором действительно не разберешь ни слова и, чтобы не разучиться шевелить губами, остается безмолвно жевать американскую жвачку, чуингам.

Утром и в грозу лучше всего в Нью-Йорке — тогда нет ни одного зеваки, ни одного лишнего. Только работники великой армии труда десятимиллионного города.

Рабочая масса расползается по фабрикам мужских и дамских платьев, по новым роющимся тоннелям подземок, по бесчисленности портовых работ — и к 8 часам улицы заполняются бесчисленностью более чистых и холеных, с подавляющей примесью стриженных, голоколенных, с закрученными чулками сухопарых девиц — работниц контор и канцелярий и магазинов. Их раскидывают по всем этажам небоскребов Дантауна, по бокам коридоров, в которые ведет парадный ход десятков лифтов.

Десятки лифтов местного сообщения с остановкой в каждом этаже и десятки курьерских — без остановок до семнадцатого, до двадцатого, до тридцатого. Своеобразные часы указывают вам этаж, на котором сейчас лифт,— лампы, отмечающие красным и белым спуск и подъем.

И если у вас два дела — одно в седьмом, другое — в двадцать четвертом этаже,— вы берете местный (локал) до седьмого, и дальше, чтобы не терять целых шести минут — переседайте в экспресс.

До часу стрекочут машины, потеют люди без пиджаков, растут в бумагах столбцы цифр.

Если вам нужна контора, незачем ломать голову над ее устройством.

Вы звоните в какое-нибудь тридцатиэтажие:

— Алло! Приготовить к завтраму контору в 6 комнат. Посадить двенадцать машинисток. Вывеска — «Великая и знаменитая торговля сжатым воздухом для тихоокеанских подводных лодок». Два боя в коричневых гусарках — шапки со звездными

лентами, и двенадцать тысяч бланков, вышеупомянутого названия.

— Гуд бай.

Завтра вы можете идти в свою контору, и ваши телефонные мальчики будут вас восторженно приветствовать:

— Гау-ду-ю-ду, мистер Маяковский.

В час перерыв: на час для служащих и минут на пятнадцать для рабочих.

Завтрак.

Каждый завтракает в зависимости от недельной зарплаты. Пятнадцатидолларовые — покупают сухой завтрак в пакете за никель и грызут его со всем молодым усердием.

Тридцатипятидолларовые идут в огромный механический трактир, всунув 5 центов, нажимают кнопку, и в чашку выплескивается ровно отмеренный кофе, а еще два-три никеля открывают на огромных, уставленных едой полках одну из стеклянных дверок сэндвичей.

Шестидесятидолларовые — едят серые блины с патокой и яичницу по бесчисленным белым, как ванная, Чайльдсам — кафе Рокфеллера.

Стодолларовые и выше идут по ресторанам всех национальностей — китайским, русским, ассирийским, французским, индусским — по всем, кроме американских безвкусных, обеспечивающих катары консервированным мясом Армора, лежащим чуть не с войны за освобождение.

Стодолларовые едят медленно — они могут и опоздать на работу, — и после ухода их под столом валяются пузырьки от восьмидесятиградусного виски (это прихваченный для компании); другой стеклянный или серебряный пузырек, плоский и формой облегающий ляжку, лежит в заднем кармане оружием любви и дружбы наравне с мексиканским кольцом.

Как ест рабочий?

Плохо ест рабочий.

Многих не видел, но те, кого видел, даже хорошо зарабатывающие, в пятнадцатиминутный перерыв успевают сглотать у станка или перед заводской стеной на улице свой сухой завтрак.

Кодекс законов о труде с обязательным помещением для еды пока на Соединенные Штаты не распространился.

Напрасно вы будете искать по Нью-Йорку карикатурной, литературой прославленной организованности, методичности, быстроты, хладнокровия.

Вы увидите массу людей, слоняющихся по улице без дела. Каждый остановится и будет говорить с вами на любую тему. Если вы подымете глаза к небу и постоите минуту, вас окружит толпа, с трудом усовещиваемая полицейским. Способность раз-

влекаться чем-нибудь иным, кроме биржи, сильно мирит меня с нью-йоркской толпой.

Снова работа до пяти, шести, семи вечера.

От пяти до семи самое бушующее, самое непроходимое время.

Окончившие труд еще разбавлены покупщиками, покупщицами и просто фланерами.

На люднейшей 5-й авеню, делящей город пополам, с высоты второго этажа сотней катящихся автобусов вы видите политые прошедшим дождем и теперь сияющие лаком десятки тысяч в шесть — восемь рядов рвущихся в обе стороны автомобилей.

Каждые две минуты тушатся зеленые огни на бесчисленных уличных полицейских маяках и загораются красные.

Тогда машинный и человеческий поток застывает на две минуты, чтобы пропустить рвущихся с боковых стритов.

Через две минуты опять на маяках загорается зеленый огонь, а дорогу боковым преграждает красный огонь на углах стритов.

Пятьдесят минут надо в этот час потратить на поездку, которая утром отняла бы четверть часа, и по две минуты надо простаивать пешеходу без всякой надежды пересечь немедленно улицу.

Когда вы запаздываете перебежать и видите срывающуюся с цепи отстоявшую две минуты машинную лавину, вы, забыв про убеждения, скрываетесь под полицейское крыло, — крыло, так сказать: на самом деле это — хорошая рука одного из самых высоких людей Нью-Йорка с очень увесистой палкой — клобом.

Эта палка не всегда регулирует чужое движение. Иногда она (во время демонстрации, например) — способ вашей остановки. Добрый удар по затылку, и вам все равно: Нью-Йорк ли это или царский Белосток, — так рассказывали мне товарищи.

С шести-семи загорается Бродвей — моя любимейшая улица, которая в ровных, как тюремная решетка, стритах и авеню одна своенравно и нахально прет навкося. Запутаться в Нью-Йорке трудней, чем в Туле. На север с юга идут авеню, на запад с востока — стриты. 5-я авеню делит город пополам на Вест и Ист. Вот и все. Я на 8-й улице, угол 5-й авеню, мне нужна 53-я, угол 2-й, значит пройди 45 кварталов и сверни направо, до угла 2-й.

Загорается, конечно, не весь тридцативерстный Бродвейше (здесь не скажешь: заходите, мы соседи, оба на Бродвее), а часть от 25-й до 50-й улицы, особенно Таймс-сквер, — это, как говорят американцы, Грэт-Уайт-Уэй — великий белый путь.

Он действительно белый, и ощущение действительно такое,

что на нем светлей, чем днем, так как день весь светел, а этот путь светел, как день, да еще на фоне черной ночи. Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеванные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элевейтеров, мелькающий под ногами в стеклянных окнах тротуаров свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе.

Свет, свет и свет.

Можно читать газету, и притом у соседа, и на иностранном языке.

Светло и в ресторанах и в театральном центре.

Чисто на главных улицах и в местах, где живут хозяева или готовящиеся к этому.

Там, куда развозят большинство рабочих и служащих, в бедных еврейских, негритянских, итальянских кварталах — на 2-й, на 3-й авеню, между первой и тридцатой улицами — грязь почище минской. В Минске очень грязно.

Стоят ящики со всевозможными отбросами, из которых нищие выбирают не совсем объединенные кости и куски. Стынут вонючие лужи и сегодняшнего и позавчерашнего дождя.

Бумага и гниль валяются по щиколку — не образно по щиколку, а по-настоящему, всамделишно.

Это в 15 минутах ходу, в 5 минутах езды от блестящей 5-й авеню и Бродвея.

Ближе к пристаням еще темней, грязней и опасней.

Днем это интереснейшее место. Здесь что-нибудь обязательно грохочет — или труд, или выстрелы, или крики. Содрогают землю краны, разгружающие пароход, чуть не целый дом за трубу выволакивающие из трюма.

Ходят пикетчики в забастовку, не допуская штрейкбрехеров.

Сегодня, 10 сентября, нью-йоркский юнион моряков порта объявил забастовку в солидарность бастующим морякам Англии, Австралии и Южной Африки, и в первый же день приостановилась выгрузка 30 огромных пароходов.

Третьего дня, несмотря на забастовку, на пароходе «Мажестик», приведенном штрейкбрехерами, приехал богатый адвокат, лидер (здешних меньшевиков) социалистической партии Морис Хилквит, и тысячи коммунистов и членов Ай-добль-добль-ю свистели ему с берега и кидали тухлые яйца.

Еще через несколько дней здесь стреляли в приехавшего на какой-то конгресс генерала — усмирителя Ирландии, — и его выводили задворками.

А утром снова входят и разгружаются по бесчисленным

пристаням бесчисленных компаний «Ля Франс», «Аквитания» и другие гиганты по 50 000 тонн.

Авеню, прилегающие к пристаням, из-за паровозов, въезжающих с товарами прямо на улицу, из-за грабителей, начиняющих кабачки,— зовутся здесь «Авеню смерти».

Отсюда поставляются грабители-голдапы на весь Нью-Йорк: в отели вырезывать из-за долларов целые семьи, в собвей — загонять кассиров в угол меняльной будки и отбирать дневную выручку, меняя доллары проходящей, ничего не подозревающей публике.

Если поймают — электрический стул тюрьмы Синг-Синг. Но можно и вывернуться. Идя на грабеж, бандит заходит к своему адвокату и заявляет:

— Позвоните мне, сэр, в таком-то часу туда-то. Если меня не будет, значит надо нести за меня залог и извлекать из узилища.

Залоги большие, но и бандиты не маленькие и организованы неплохо.

Выяснилось, например, что дом, оцененный в двести тысяч долларов, уже служит залогом в два миллиона, уплаченных за разных грабителей.

В газетах писали об одном бандите, вышедшем из тюрьмы под залог 42 раза. Здесь на Авеню смерти орудуют ирландцы. По другим кварталам другие.

Негры, китайцы, немцы, евреи, русские — живут своими районами со своими обычаями и языком, десятилетия сохраняясь в несмешанной чистоте.

В Нью-Йорке, не считая пригородов, 1 700 000 евреев (приблизительно),

1 000 000 итальянцев,

500 000 немцев,

300 000 ирландцев,

300 000 русских,

250 000 негров,

150 000 поляков,

300 000 испанцев, китайцев, финнов.

Загадочная картинка: кто же такие, в сущности говоря, американцы, и сколько их стопроцентных?

Сначала я делал дикие усилия в месяц заговорить по-английски; когда мои усилия начали увенчиваться успехом, то близлежащие (близстоящие, сидящие) и лавочник, и молочник, и прачечник, и даже полицейский — стали говорить со мной по-русски.

Возвращаясь ночью элевейтером, эти нации и кварталы видишь как нарезанные: на 125-й встают негры, на 90-й русские, на 50-й немцы и т. д., почти точно.

В двенадцать выходящие из театров пьют последнюю соду, едят последний айскрим и лезут домой в час или в три, если часа два потрутся в фокстроте или последнем крике «чарлстон». Но жизнь не прекращается,— так же открыты всех родов магазины, так же носятся собвей и элевейтеры, так же можете найти кино, открытое всю ночь, и спите сколько влезет за ваши 25 центов.

Придя домой, если весной и летом, закройте окна от комаров и москитов и вымойте уши и ноздри и откашляйте угольную пыль. Особенно сейчас, когда четырехмесячная забастовка 158 000 шахтеров твердого угля лишила город антрацита и трубы фабрик копят обычно запрещенным к употреблению в больших городах мягким углем.

Если вы исцарапались, залейтесь йодом; воздух нью-йоркский начинен всякой дрянью, от которой растут ячмени, вспухают и гноятся все царапины и которым все-таки живут миллионы ничего не имеющих и не могущих никуда выехать.

Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье: часов в 10 в одном лиловом трико подымает штору напротив какой-то клерк. Не надевая, видимо, штанов, садится к окну с двухфунтовым номером в сотню страниц — не то «Ворлд», не то «Таймса». Час читается сначала стихотворный и красочный отдел реклам универсальных магазинов (по которому составляется среднее американское мирозерцание), после реклам просматриваются отделы краж и убийств.

Потом человек надевает пиджак и брюки, из-под которых всегда выбивается рубаша. Под подбородком укрепляется раз навсегда завязанный галстук цвета помеси канарейки с пожаром и Черным морем. Одетый американец с час постарается посидеть с хозяином отеля или со швейцаром на стульях на низких приступочках, окружающих дом, или на скамейках ближайшего лысого скверика.

Разговор идет про то, кто ночью к кому приходил, не слышно ли было, чтобы пили, а если приходили и пили, то не сообщить ли о них на предмет изгона и привлечения к суду прелюбодеев и пьяниц.

К часу американец идет завтракать туда, где завтракают люди богаче его, и где его дама будет млеть и восторгаться над пулярдкой в 17 долларов. После этого американец идет в сотый раз в разукрашенный цветными стеклами склеп генерала и генеральши Грант или, скинув сапоги и пиджак, лежать в каком-нибудь скверике на прочитанном полотнище «Таймса», оставив после себя обществу и городу обрывки газеты, обертку чуингама и мятую траву.

Кто богаче — уже нагоняет аппетит к обеду, правя своей машиной, презрительно проносясь мимо дешевых и завистливо кося глаза на более роскошные и дорогие.

Особенную зависть, конечно, вызывают у безродных американцев те, у кого на автомобильной дверце баронская или графская золотая коронка.

Если американец едет с дамой, евшей с ним, он целует ее немедленно и требует, чтобы она целовала его. Без этой «маленькой благодарности» он будет считать доллары, уплаченные по счету, потраченными зря и больше с этой неблагодарной дамой никуда и никогда не поедет, — и саму даму засмеют ее благоразумные и расчетливые подруги.

Если американец автомобилирует один, он (писаная нравственность и целомудрие) будет замедлять ход и останавливаться перед каждой одинокой хорошенькой пешеходкой, скалить в улыбке зубы и зазывать в авто диким вращением глаз. Дама, не понимающая его нервозности, будет квалифицироваться как дура, не понимающая своего счастья, возможности познакомиться с обладателем стосильного автомобиля.

Дикая мысль — рассматривать этого джентльмена как спортсмена. Чаще всего он умеет только править (самая мелочь), а в случае поломки — не будет даже знать, как накачать шину или как поднять домкрат. Еще бы — это сделают за него бесчисленные починочные мастерские и бензинные киоски на всех путях его езды.

Вообще в спортсменство Америки я не верю.

Спортом занимаются главным образом богатые бездельники.

Правда, президент Кулидж даже в своей поездке ежечасно получает телеграфные реляции о ходе бейсбольных состязаний между питсбургской командой и вашингтонской командой «сенаторов»; правда, перед вывешенными бюллетенями о ходе футбольных состязаний народу больше, чем в другой стране перед картой военных действий только что начавшейся войны, — но это не интерес спортсменов, это — хилый интерес азартного игрока, поставившего на пари свои доллары за ту или другую команду.

И если рослы и здоровы футболисты, на которых глядит тысяч семьдесят человек огромного нью-йоркского цирка, то семьдесят тысяч зрителей, это — в большинстве тщедушные и хилые люди, среди которых я кажусь Голиафом.

Такое же впечатление оставляют и американские солдаты, кроме вербовщиков, выхваляющих перед плакатами привольную солдатскую жизнь. Недаром эти холеные молодцы в минувшую войну отказывались влезть во французский товарный вагон (40 человек или 8 лошадей) и требовали мягкий, классный.

Автомобилисты и из пешеходов побогаче и поизысканнее в 5 часов гонят на светский или полусветский фэйф-о-клок.

Хозяин запаса бутылками матросского «джина» и лимонада «Джиннер Эйл», и эта помесь дает американское шампанское эпохи прогибишена.

Приходят девицы с завороченными чулками, стенографистки и модели.

Вошедшие молодые люди и хозяин, влекомые жаждой лирики, но мало разбирающиеся в ее тонкостях, острят так, что покраснеют и пунцовые пасхальные яйца, а потеряв нить разговора, похлопывают даму по ляжке с той непосредственностью, с которой, потеряв мысль, докладчик постукивает папиросой о портсигар.

Дамы показывают колени и мысленно прикидывают, сколько стоит этот человек.

Чтоб фэйф-о-клок носил целомудренный и артистический характер — играют в покер или рассматривают последние приобретенные хозяином галстуки и подтяжки.

Потом разъезжаются по домам. Переодевшись, направляются обедать.

Люди победнее (не бедные, а победнее) едят получше, богатые — похуже. Победнее едят дома свежкупленную еду, едят при электричестве, точно давая себе отчет в проглатываемом.

Побогаче — едят в дорогих ресторанах поперченную портящуюся или консервную заваль, едят в полутьме потому, что любят не электричество, а свечи.

Эти свечи меня смешат.

Все электричество принадлежит буржуазии, а она ест при огарках.

Она неосознанно боится своего электричества.

Она смущена волшебником, вызвавшим духов и не умеющим с ними справиться.

Такое же отношение большинства и к остальной технике.

Создав граммофон и радио, они откидывают его плебсу, говорят с презрением, а сами слушают Рахманинова, чаще не понимают, но делают его почетным гражданином какого-то города и преподносят ему в золотом ларце — канализационных акций на сорок тысяч долларов.

Создав кино, они отшвыривают его демосу, а сами гонятся за оперными абонементом в опере, где жена фабриканта Мак-Кормик, обладающая достаточным количеством долларов, чтобы делать все, что ей угодно, ревет белугой, раздирая вам уши. А в случае неосмотрительности капельдинеров закидывается гнилым яблоком и тухлым яйцом.

И даже когда человек «света» идет в кино, он бессовестно врет вам, что был в балете или в голом ревю.

Миллиардеры бегут с зашумевшей машинами, громимой толпами 5-й авеню, бегут за город в пока еще тихие дачные углы.

— Не могу же я здесь жить, — капризно сказала мисс Вандербильд, продавая за 6 000 000 долларов свой дворец на углу 5-й авеню и 53-й улицы, — не могу я здесь жить, когда напротив Чайльдс, справа — булочник, а слева — парикмахер.

После обеда состоятельным — театры, концерты и обозрения, где билет первого ряда на голых дам стоит 10 долларов. Дуракам — прогулка в украшенном фонариками автомобиле в китайский квартал, где будут показывать обыкновенные кварталы и дома, в которых пьется обыкновеннейший чай — только не американцами, а китайцами.

Парам победнее — многоместный автобус на «Кони-Айланд» — Остров Увеселений. После долгой езды вы попадаете в сплошные русские (у нас американские) горы, высоченные колеса, вздымающие кабины, таитянские киоски, с танцами и фоном — фотографией острова, чертовы колеса, раскидывающие ступивших, бассейны для купающихся, катание на осликах — и все это в таком электричестве, до которого не доплюнуть и ярчайшей международной парижской выставке.

В отдельных киосках собраны все отвратительнейшие уроды мира — женщина с бородой, человек-птица, женщина на трех ногах и т. п. — существа, вызывающие неподдельный восторг американцев.

Здесь же постоянно меняющиеся, за грош нанимаемые голодные женщины, которых засовывают в ящик, демонстрируя безболезненное прокалывание шпагами; других сажают на стул с рычагами и электрифицируют, пока от их прикосновения к другому не посыплются искры.

Никогда не видел, чтобы такая гадость вызывала бы такую радость.

Кони-Айланд — приманка американского девичества.

Сколько людей целовалось в первый раз по этим вертящимся лабиринтам и окончательно решало вопрос о свадьбе в часовой обратной поездке собвеем до города!

Таким идиотским карнавалом кажется, должно быть, счастливая жизнь нью-йоркским влюбленным.

Выходя, я решил, что неудобно покинуть луна-парк, не испытав ни одного удовольствия. Мне было все равно, что делать, и я начал меланхолически накидывать кольца на вертящиеся фигурки кукол.

Я предварительно осведомился о цене удовольствия. Восемь колец — 25 центов.

Кинув колец шестнадцать, я благородно протянул доллар, справедливо рассчитывая половину получить обратно.

Торговец забрал доллар и попросил показать ему мою мелочь. Не подозревая ничего недоброго, я вынул из кармана доллара на три центов.

Колечник сгреб мелочь с ладони в карман и на мои возмущенные возгласы ухватил меня за рукав, потребовав предъявления бумажек. В удивлении, я вытащил имеющиеся у меня десять долларов, которые моментально сграбастал ненасытный увеселитель, — и только после мольб моих и моих спутников он выдал мне 50 центов на обратный путь.

Итого, по утверждению владельца милой игрушки, я должен был закинуть двести сорок восемь колец, т. е. считая даже по полминуты на каждое, проработать больше двух часов.

Никакая арифметика не помогла, а на мою угрозу обратиться к полицейскому мне было отвечено долго не смолкавшим грохотом хорошего, здорового смеха.

Полицейский, должно быть, усвоил себе из этой суммы — колец сорок.

Позднее мне объяснили американцы, что продавца надо было бить правильным ударом в нос, еще не получив и требования на второй доллар.

Если вам и тогда не возвращают денег, то все же уважают вас как настоящего американца, веселого «аттабоя».

Воскресная жизнь кончается часа в два ночи, и вся трезвая Америка, довольно пошатываясь, во всяком случае возбужденно идет домой.

Черты нью-йоркской жизни трудны. Легко наговорить ни к чему не обязывающие вещи, избитые, об американцах вроде: страна долларов, шакалы, империализма и т. д.

Это только маленький кадр из огромной американской фильмы.

Страна долларов — это знает каждый ученик первой ступени. Но если при этом представляется та погоня за долларом спекулянтов, которая была у нас в 1919 году во время падения рубля, которая была в Германии в 1922 году во время тарактения марки, когда тысячники и миллионеры утром не ели булки в надежде, что к вечеру она подешевеет, то такое представление будет совершенно неверным.

Скупые? Нет. Страна, съедающая в год одного мороженого на миллион долларов, может приобрести себе и другие эпитеты.

Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой.

Но это не грошовое скопидомство людей, только мирящихся

с необходимостью иметь деньги, решивших накопить суммочку, чтобы после бросить наживу и сажать в саду маргаритки да проводить электрическое освещение в курятники любимых насекомых. И до сих пор нью-йоркцы с удовольствием рассказывают историю 11-го года о ковбое Даймонд Джиме.

Получив наследство в 250 000 долларов, он нанял целый мягкий поезд, уставил его вином и всеми своими друзьями и родственниками, приехал в Нью-Йорк, пошел обходить все кабаки Бродвея, спустил в два дня добрых полмиллиона рублей и уехал к своим мустангам без единого цента, на грязной подножке товарного поезда.

Нет! В отношении американца к доллару есть поэзия. Он знает, что доллар — единственная сила в его стодесятимиллионной буржуазной стране (в других тоже), и я убежден, что, кроме известных всем свойств денег, американец эстетически любит зелененьким цветом доллара, отождествляя его с весной, и бычком в овале, кажущимся ему его портретом крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробиться в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество. При встрече американец не скажет вам безразличное:

— Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

— Мек моней? (Делаешь деньги?) — и пройдет дальше.

Американец не скажет расплывчато:

— Вы сегодня плохо (или хорошо) выглядите.

Американец определит точно:

— Вы смотрите сегодня на два цента.

Или:

— Вы выглядите на миллион долларов.

О вас не скажут мечтательно, чтобы слушатель терялся в догадках, — поэт, художник, философ.

Американец определит точно:

— Этот человек стоит 1 230 000 долларов.

Этим сказано все: кто ваши знакомые, где вас принимают, куда вы уедете летом и т. д.

Путь, каким вы добыли ваши миллионы, безразличен в Америке. Все — «бизнес», дело, — все, что растит доллар. Получил проценты с разошедшейся поэмы — бизнес, обокрал, не поймали — тоже.

К бизнесу приучают с детских лет. Богатые родители радуются, когда их десятилетний сын, забросив книжки, привлекает домой первый доллар, вырученный от продажи газет.

— Он будет настоящим американцем.

В общей атмосфере бизнеса изобретательность растет.

В детском кемпе, в летнем детском пансионе-лагере, где закаляют детей плаванием и футболом, было запрещено ругаться при боксе.

— Как же драться, не ругаясь? — сокрушенно жаловались дети.

Один из будущих бизнесменов учел эту потребность.

На его палатке появилось объявление:

«За 1 никель выучиваю пяти русским ругательствам, за 2 никеля — пятнадцати».

Желающих выучиться ругаться без риска быть понятым преподавателями — набилась целая палатка.

Счастливый владелец русских ругательств, стоя посредине, дирижировал:

— Ну, хором — «дурак»!

— Дурак!

— Сволочь!

— Не «тволоч», а «сволочь».

Над сукиным сыном пришлось биться долго. Несмышленные американыши выговаривали «зукин-синь», а подсовывать за хорошие деньги недоброкачественные ругательства честный молодой бизнесмен не хотел.

У взрослых бизнес принимает грандиозные эпические формы.

Три года тому назад кандидату в какие-то доходные городские должности — мистеру Ригельману надо было хвастнуть пред избирателями какой-нибудь альтруистической затеей. Он решил построить деревянный балкон на побережье для гуляющих по Кони-Айланду.

Владельцы прибрежной полосы запросили громадные деньги — больше, чем могла бы дать будущая должность. Ригельман плюнул на владельцев, песком и камнем отогнал океан, создал полосу земли шириной в 350 футов и на три с половиной мили оправил берег идеальным дощатым настилом.

Ригельмана выбрали.

Через год он с лихвой возместил убытки, выгодно продав, в качестве влиятельного лица, все выдающиеся бока своего оригинального предприятия под рекламу.

Если даже косвенным давлением долларов можно победить должность, славу, бессмертие, то, непосредственно положив деньги на бочку, купишь все.

Газеты созданы трестами; тресты, воротилы трестов запродались рекламодателям, владельцам универсальных магазинов. Газеты в целом проданы так прочно и дорого, что американская пресса считается неподкупной. Нет денег, которые могли бы перекупить уже запроданного журналиста.

А если тебе цена такая, что другие дают больше,— докажи, и сам хозяин набавит.

Титул — пожалуйста. Газеты и театральные куплетисты часто трунят над кинозвездой Глорией Свенсен, бывшей горничной, ныне стоящей пятнадцать тысяч долларов в неделю, и ее красавцем-мужем графом, вместе с пакеновскими моделями и анановскими туфлями вывезенным из Парижа.

Любовь — извольте.

Вслед за обезьяньим процессом газеты стали трубить о мистере Браунинге.

Этот миллионер, агент по продаже недвижимого имущества, под старость лет обуялся юношеской страстью.

Так как брак старика с девушкой вещь подозрительная, миллионер пошел на удочерение.

Объявление в газетах:

ЖЕЛАЕТ МИЛЛИОНЕР
УДОЧЕРИТЬ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЮЮ

12 000 лестных предложений с карточками красавиц посыпались в ответ. Уже в 6 часов утра четырнадцать девушек сидело в приемной мистера Браунинга.

Браунинг удочерил первую (слишком велико нетерпение) — по-детски распустившую волосы, красавицу-чешку Марию Спас. На другой день газеты стали захлебываться Мариным счастьем.

В первый день куплено 60 платьев.

Привезено жемчужное ожерелье.

За три дня подарки перевалили за 40 000 долларов.

И сам папаша снимался, облапив дочку за грудь, с выражением лица, которое впору показывать из-под полы перед публичными домами Монмартра.

Отцовскому счастью помешало известие, что мистер пытался попутно удочерить и еще какую-то тринадцатилетнюю из следующей пришедшей партии. Проблематичным извинением могло бы, пожалуй, быть то, что дочь оказалась девятнадцатилетней женщиной.

Там на три меньше, здесь на три больше; «фифти-фифти», как говорят американцы,— в общем, какая разница?

Во всяком случае папаша оправдывался не этим, а суммой счета, и благородно доказывал, что сумма его расходов на этот бизнес определенно указывает, что только он является страдающей стороной.

Пришлось вмешаться прокуратуре. Дальнейшее мне неизвестно. Газеты замолчали, будто долларов в рот набрали.

Я убежден, что этот самый Браунинг сделал бы серьезные

коррективы в советском брачном кодексе, ущемляя его со стороны нравственности и морали.

Ни одна страна не городит столько моральной, возвышенной, идеалистической ханжеской чуши, как Соединенные Штаты.

Сравните этого Браунинга, развлекающегося в Нью-Йорке, с какой-нибудь местечковой техасской сценкой, где банда старух в 40 человек, заподозрив женщину в проституции и в сожительстве с их мужьями, раздевает ее догола, окунает в смолу, вываливает в перо и в пух и изгоняет из городка сквозь главные сочувственно гогочущие улицы.

Такое средневековье рядом с первым в мире паровозом «Твенти-Сенчери» экспресса.

Типичным бизнесом и типичным ханжеством назовем и американскую трезвость, сухой закон «прогибишен».

Виски продают все.

Когда вы зайдете даже в крохотный трактирчик, вы увидите на всех столах надпись: «Занято».

Когда в этот же трактирчик входит умный, он пересекает его, идя к противоположной двери.

Ему заслоняет дорогу хозяин, кидая серьезный вопрос:

— Вы джентльмен?

— О да! — восклицает посетитель, предъявляя зелененькую карточку. Это члены клуба (клубов тысячи), говоря просто — алкоголики, за которых поручились. Джентльмена пропускают в соседнюю комнату — там с засученными рукавами уже орудуют несколько коктейльщиков, ежесекундно меняя приходящим содержимое, цвета и форму рюмок длиннейшей стойки.

Тут же за двумя десятками столиков сидят завтракающие, любовно оглядывая стол, уставленный всевозможной питейностью. Пообедав, требуют:

— Шу бокс! (Башмачную коробку!) — и выходят из кабака, волоча новую пару виски. За чем же смотрит полиция?

За тем, чтобы не надували при дележе.

У последнего пойманного оптовика «бутлегера» было на службе 240 полицейских.

Глава борьбы с алкоголем плачется в поисках за десятком честных агентов и грозит, что уйдет, так как таковые не находятся.

Сейчас уже нельзя отменить закон, запрещающий винную продажу, так как это невыгодно прежде всего торговцам вином. А таких купцов и посредников — армия — один на каждые пятьсот человек. Такая долларовая база делает многие, даже очень тонкие нюансы американской жизни простенькой карикатурной иллюстрацией к положению, что сознание и надстройка определяются экономикой.

Если перед вами идет аскетический спор о женской красе и

собравшиеся поделились на два лагеря — одни за стриженных американок, другие за длинноволосых, то это не значит еще, что перед вами бескорыстные эстеты.

Нет.

За длинные волосы орут до хрипоты фабриканты шпилек, со стрижкой сократившие производство, за короткие волосы ратует трест владельцев парикмахерских, так как короткие волосы у женщин привели к парикмахерам целое второе стригущееся человечество.

Если дама не пойдет с вами по улице, когда вы несете сверток починенных башмаков, обернутых в газетную бумагу, то знайте — проповедь красивых свертков ведет фабрикант оберточной бумаги.

Даже по поводу такой сравнительно беспартийной вещи, как честность, имеющей целую литературу, — даже по этому поводу орут и ведут агитацию кредитные общества, дающие ссуду кассирам для внесения залогов. Этим важно, чтобы кассиры честно считали чужие деньги, не сбегали с магазинными кассами и чтобы незыблемо лежал и не пропадал залог.

Таковыми же долларными соображениями объясняется и своеобразная осенняя оживленная игра.

14 сентября меня предупредили — снимай соломенную шляпу.

15-го на углах перед шляпными магазинами стоят банды, сбивающие соломенные шляпы, пробивающие шляпные твердые днища и десятками нанизывающие продырявленные трофеи на руку.

Осенью ходить в соломенных шляпах неприлично.

На соблюдении приличий зарабатывают и торговцы мягкими шляпами и соломенными. Что бы делали фабриканты мягких, если бы и зимой ходили в соломенных? Что бы делали соломенные, если бы годами носили одну и ту же шляпу?

А пробивающие шляпы (иногда и с головой) получают от фабрикантов на чуингам пошляпно.

Сказанное о нью-йоркском быте, это, конечно, не лицо. Так, отдельные черты — ресницы, веснушка, ноздря.

Но эти веснушки и ноздри чрезвычайно характерны для всей мещанской массы — массы, почти покрывающей всю буржуазию; массы, заквашенной промежуточными слоями; массы, захлестывающей и обеспеченную часть рабочего класса. Ту часть, которая приобрела в рассрочку домик, выплачивает из недельного заработка за фордик и больше всего боится стать безработным.

Безработица — это пятенье обратно, выгон из неоплаченного дома, увод недоплаченного форда, закрытие кредита в мясной и т. д. А рабочие Нью-Йорка хорошо помнят ночи осени 1920—1921 года, когда 80 000 безработных спали в Централ-парке.

Американская буржуазия квалификацией и заработками ловко делит рабочих.

Одна часть — опора желтых лидеров с трехэтажными затылками и двухаршинными сигарами, лидеров, уже по-настоящему, попросту купленных буржуазией.

Другая — революционный пролетариат — настоящий, не вовлеченный мелкими шефами в общие банковские операции, — такой пролетариат и есть и борется. При мне революционные портные трех локалов (отделов) союза дамских портных — локалы второй, девятый и двадцать второй — повели долгую борьбу против «вождя», председателя Мориса Зигмана, пытавшегося сделать союз смиренным отделом фабрикантовых лакеев. 20 августа была объявлена «Объединенным комитетом действия» антизигмановская демонстрация. Демонстрировало в Юнион-сквере тысячи две человек, и 30 000 рабочих из солидарности приостановили работу на два часа. Не зря демонстрация была в Юнион-сквере, против окон еврейской коммунистической газеты «Фрайгайт».

Была и чисто политическая демонстрация, непосредственно организованная компартией — по поводу недопущения в Америку английского депутата коммуниста Саклатвалы.

В Нью-Йорке 4 коммунистических газеты: «Новый мир» (русская), «Фрайгайт» (еврейская), «Щоденні вісті» (украинская) и финская.

«Дейли Воркер», центральный орган партии, издается в Чикаго.

Но эти газеты, при трех тысячах членов партии на Нью-Йорк, в одном Нью-Йорке имеют общий тираж в 60 000 экземпляров.

Переоценивать влияние этой коммунистически настроенной, в большинстве иностранной массы — не приходится, ждать в Америке немедленных революционных выступлений — наивность, но недооценивать шестьдесят тысяч — тоже было бы легкомыслием.

АМЕРИКА

Когда говорят «Америка», воображению представляются Нью-Йорк, американские дядюшки, мустанги, Кулидж и т. п. принадлежности Северо-Американских Соединенных Штатов.

Странно, но верно.

Странно — потому, что Америк целых три: Северная, Центральная и Южная.

С.А.С.Ш. не занимают даже всю Северную — а вот поди ж ты! — отобрали, присвоили и вместили название всех Америк.

Верно потому, что право называть себя Америкой Соединенные Штаты взяли силой, дредноутами и долларами, нагоняя страх на соседние республики и колонии.

Только за одно мое короткое трехмесячное пребывание американцы погромыхивали железным кулаком перед носом мексиканцев по поводу мексиканского проекта национализации своих же неотъемлемых земельных недр; посылали отряды на помощь какому-то правительству, прогоняемому венецуэльским народом; недвусмысленно намекали Англии, что в случае неуплаты долгов может затрещать хлебная Канада; того же желали французам, и перед конференцией об уплате французского долга то посылали своих летчиков в Марокко на помощь французам, то вдруг становились марокканце-любцами и из гуманных соображений отзывали летчиков обратно.

В переводе на русский: гони монету — получишь летчиков.

Что Америка и САСШ одно и то же — знали все. Кулидж только оформил это дельце в одном из последних декретов, назвав себя и только себя американцами. Напрасен протестующий рев многих десятков республик и даже других Соединенных Штатов (например, Соединенные штаты Мексики), образующих Америку.

Слово «Америка» теперь окончательно аннексировано.

Но что кроется за этим словом?

Что такое Америка, что это за американская нация, американский дух?

Америку я видел только из окон вагона.

Однако по отношению к Америке это звучит совсем немало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они идут рядом то четыре, то десять, то пятнадцать. А за этими линиями только под маленьким градусом новые линии новых железнодорожных компаний. Единого расписания нет, так как главная цель этих линий не обслуживание пассажирских интересов, а доллар и конкуренция с соседним промышленником.

Поэтому, беря билет на какой-нибудь станции большого города, вы не уверены, что это самый быстрый, дешевый и удобный способ сообщения между необходимыми вам городами. Тем более, что каждый поезд — экспресс, каждый — курьерский и каждый — скорый.

Один поезд из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, другой — 24, третий — 20, и все называются одинаково — экспресс.

В экспрессах сидят люди, заложив за ленту шляпы проездной билет. Так хладнокровней. Не надо нервничать, искать билетов, а контролер привычной рукой лезет вам за ленту и очень удивляется, если там билета не оказалось. Если вы едете спальным пульмановским вагоном, прославленным и считающимся в Америке самым комфортабельным и удобным, — то все ваше

существо организатора будет дважды в день, утром и вечером, потрясено бессмысленной, глупой возней. В 9 часов вечера дневной вагон начинают ломать, опускают востланные в потолок кровати, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, нанизывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные перегородки — все эти хитрые приспособления приводятся в движение, чтобы по бокам вдоль вагона установить в два яруса двадцать спальных коек под занавесками, оставив посредине узкий уже не проход, а пролаз.

Чтобы пролезть во время уборки, надо сплошь жонглировать двумя негритянскими задами уборщиков, головой ушедших в постилаемую койку.

Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона, — вдвоем, особенно с лестницей для влезания на второй ярус, почти не разминешься, — затем меняешься с ним местами и тогда обратно влазишь в вагон. Раздеваясь, вы лихорадочно придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание негодующих возгласов напротив вас раздевающихся шестидесятилетних организаторов какого-нибудь общества юных христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную высовывающиеся из-под занавесок голые ноги, и — проклинаясь пятипудовый негр ходит вразвалку по всем мозолям. С 9 утра начинается вакханалия разборки вагона и приведения вагона в «сидящий вид».

Наше европейское деление на купе даже жестких вагонов куда целесообразней американской пульмановской системы.

Что меня совсем удивило — это возможность опоздания поездов в Америке даже без особых несчастных причин.

Мне необходимо было срочно после лекции в Чикаго выехать ночью на лекцию в Филадельфию — экспрессной езды 20 часов. Но в это время ночи шел только один поезд с двумя пересадками, и кассир, несмотря на пятиминутный срок пересадки, не мог и не хотел гарантировать мне точности прибытия к вагону пересадки, хотя и прибавил, что шансов на опоздание немного. Возможно, что уклончивый ответ объяснялся желанием опозорить конкурирующие линии.

На остановках пассажиры выбегают, закупают пучки сельдерея и вбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее — железо. Железо — полезно американцам. Американцы любят сельдерей.

На ходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, площадки футболистов с разноцветными играющими — и техника, техника и техника.

Эта техника не застоялась, эта техника растет. В ней есть одна странная черта — снаружи, внешне эта техника производит недоделанное, временное впечатление.

Будто стройка, стены завода не фундаментальные — однодневки, одногодки.

Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да рядом деревянные.

Огромные газовые вместилища, спичка в которые снесет полгорода, кажутся неохраемыми. Только на время войны была приставлена стража.

Откуда это?

Мне думается — от рваческого, завоевательного характера американского развития.

Техника здесь шире всеобъемлющей германской, но в ней нет древней культуры техники — культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решетки и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой.

Мы ехали из Бикона (в шести часах езды от Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждения на полную перестройку дороги, на которой не было оставлено никакого места для автомобилей (владельцы участков мостили, очевидно, для себя и мало заботились об удобствах проезда). Мы свернули на боковые дороги и находили путь только после опроса встречных, так как ни одна надпись не указывала направление.

В Германии это немыслимо ни при каких условиях, ни в каком захолустье.

При всей грандиозности строений Америки, при всей недосыгаемости для Европы быстроты американской стройки, высоты американских небоскребов, их удобств и вместительности — и дома Америки, в общем, производят странное временное впечатление.

Может быть, это кажущееся.

Кажется оттого, что на вершине огромного дома стоит объемистый водяной бак. Воду до шестого этажа подает город, а дальше дом управляется сам. При вере во всемогущество американской техники такой дом выглядит подогнанным, наскоро переделанным из какой-то другой вещи и подлежащим разрушению по окончании быстрой надобности.

Эта черта совсем отвратительно выступает в постройках, по самому своему существу являющихся временными.

Я был на Раковей-бич (нью-йоркский дачный поселок; пляж для людей среднего достатка). Ничего гаже строений, облепивших берег, я не видел. Я не мог бы прожить в таком карельском портсигаре и двух часов.

Все стандартизированные дома одинаковы, как спичечные коробки одного названия, одной формы. Дома насажены, как пассажиры весеннего трамвая, возвращающегося из Сокольников в воскресенье вечером. Открыв окно уборной, вы видите все, делающееся в соседней уборной, а если у соседа приоткрыта

дверь, то видите сквозь дом и уборную следующих дачников. Дома по ленточке улочек вытянулись, как солдаты на параде — ухо к уху. Материал строений таков, что слышишь не только каждый вздох и шепот влюбленного соседа, но сквозь стенку можешь различить самые тонкие нюансы обеденных запахов на соседском столе.

Такой поселок — это совершеннейший аппарат провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Даже большие новейшие удобнейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, Нью-Йорк в частности, в стройке, в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтобы строить двадцатиэтажные; двадцатиэтажные — чтоб тридцати — чтоб сорока и т. д.

Нью-Йорк всегда в горах камней и стальных переплетов, в визге сверл и ударах молотков.

Настоящий и большой пафос стройки.

Американцы строят так, как будто в тысячный раз разыгрывают интереснейшую разученнейшую пьесу. Оторваться от этого зрелища ловкости, сметки — невозможно.

На простую землю ставится землечерпалка. Она с лязгом, ей подобающим, выгрызает и высасывает землю и тут же плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы. Посредине стройки поднимают фермчатый подъемный кран. Он берет огромные стальные трубы и вбивает их паровым молотком (сопящим, будто в насморке вся техника) в твердую землю, как мелкие обойные гвозди. Люди только помогают молоту усесться на трубу да по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы крана поднимают стальные стойки и перекладины, без всяких шероховатостей садящиеся на место, — только сбей да свинти!

Подымается постройка, вместе с ней подымается кран, как будто дом за косу поднимают с земли. Через месяц, а то и раньше, кран снимут — и дом готов.

Это примененное к домам знаменитое правило выделки пушек (берут дырку, обливают чугуном, вот и пушка): взяли кубический воздух, обвинули сталью, и дом готов. Трудно отнестись серьезно, относишься с поэтической вдохновенностью к какому-нибудь двадцатиэтажному Кливландскому отелю, про который жители говорят: здесь от этого дома очень тесно (совсем как в трамвае — подвиньтесь, пожалуйста) — поэтому его переносят отсюда за десять кварталов, к озеру.

Я не знаю, кто и как будет переносить эту постройку, но если такой дом вырвется из рук, он отдавит много мозолей.

Бетонная стройка в десяток лет совершенно меняет облик больших городов.

Тридцать лет назад В. Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал:

«Сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей...»

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавши в Нью-Йорке, доводит до сведения:

«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».

Я бы должен был, чтобы не выходить из рамок, очевидно, принятых писателями приличий, повествовать так:

«Сквозь косой дым можно видеть ничего себе дома в сорок и пятьдесят этажей...»

А будущий поэт после такого путешествия запишет:

«Сквозь прямые дома в неисследованное количество этажей, вставшие на нью-йоркском берегу, не были видны ни дымы, ни косые дожди, ни тем более какие-то дымки».

Американская нация.

О ней больше, чем о какой-нибудь другой, можно сказать словами одного из первых революционных плакатов:

«Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные».

Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и компании) из любопытства, суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и «ненормальные» живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями.

Защитники рабочего класса (дело Ванцетти и других товарищей) приговариваются к смерти — и целые комитеты, организованные для их спасения, пока не в силах заставить губернатора штата отменить приговор. Буржуазия вооружена и организована. Ку-Клукс-Клан стал бытовым явлением.

Портные Нью-Йорка в дни маскарадного съезда кланцев публиковали рекламы, заманивая заказчиков высоких шапок и белых халатов:

— Вельком, Ку-Клукс-Клан!

В городах иногда появляются известия, что такой-то куксин вождь убил такого-то и еще не пойман, другой (без фамилии) изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов. Рядом с боевой клановской организацией — мирные масонские. Сто тысяч масонов в пестрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии.

Эта армия еще сохранила логи и иерархию, по-прежнему объясняется таинственными жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей своей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников стра-

ны. Дико, должно быть, видеть это средневековое, шествующее по филадельфийским улицам под окнами типографии газеты «The Philadelphia Inquirer», выкидывающей ротационками 450 000 газет в час.

Рядом с этой теплой компанийкой — странное существование легализованной, очевидно, для верности наблюдения, рабочей компартии Америки и более чем странное — осмеливающихся на борьбу профессиональных союзов.

Я видел в первый день приезда в Чикаго, в холод и проливной дождь, такую дикую картину.

Вокруг огромного фабричного здания без остановок ходят мокрые, худые, продрогшие люди, с мостовых зорко смотрят рослые, жирные, промакинтошенные полисмены.

На фабрике забастовка. Рабочие должны отгонять штрейк-брехеров и оповещать нанятых обманым путем.

Но останавливаться они не имеют права — остановившегося арестует полиция на основании законов против пикетчиков. Говори — на ходу, бей — на ходу. Своеобразный десятичасовой скороходный рабочий день.

Неменьшая острота и национальных взаимоотношений Америки. Я писал уже о массе иностранцев в Америке (она вся, конечно, объединение иностранцев для эксплуатации, спекуляции и торговли), — они живут десятками лет, не теряя ни языка, ни обычаев.

В еврейском Нью-Йорке на новый год, совсем как в Шавлях, увидишь молодых людей и девушек, разодетых не то для свадьбы, не то для раскрашенной фотографии: лакированные башмачки, оранжевые чулки, белое кружевное платье, пестрый платок и испанский гребень в волосах — для женщин; а для мужчин при тех же туфлях какая-то помесь из сюртука, пиджака и смокинга. И на животе или настоящего или американского золота цепь — размером и весом цепей, закрывающих черный ход от бандитов. На помогающих службе — полосатые шали. У детей сотни поздравительных открыток с сердцами и голубками — открыток, от которых в эти дни беременеют все почтальоны Нью-Йорка и которые являются единственным предметом широкого потребления всех универсальных магазинов во все предпраздничные дни.

В другом районе так же обособленно живут русские, и американцы ходят в антикварные магазины этого района покупать экзотический самовар.

Язык Америки — это воображаемый язык Вавилонского столпотворения, с той только разницей, что там мешали языки, чтоб никто не понимал, а здесь мешают, чтоб понимали все. В результате из английского, скажем, языка получается язык, который понимают все нации, кроме англичан.

Недаром, говорят, в китайских лавках вы найдете надпись:

«ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ
И ПОНИМАЮТ ПО-АМЕРИКАНСКИ»

Мне, не знающему английский язык, все-таки легче понимать скупослового американца, чем сыплющего словами русского.

Русский называет:
трамвай — стриткарой,
угол — корнером,
квартал — блоком,
квартиранта — бордером,
билет — тикетом,

а выражается так:

«Вы поедете без меняния пересадок».

Это значит, что у вас беспересадочный билет.

Под словом «американец» у нас подразумевают помесь из эксцентричных бродяг О'Генри, Ника Картера с неизменной трубкой и клетчатых ковбоев киностудии Кулешова.

Таких нет совсем.

Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим, негру не подает руки; увидев негра с белой женщиной, негра револьвером гонит домой; сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом Линча, т. е. обрывает ему руки, ноги, и живого жарит на костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны цыган-конокрадов».

Почему американцами считать этих, а не негров, например?

Негров, от которых идет и так называемый американский танец — фокс и шимми, и американский джаз! Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например «Opportunity»¹. Негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри Тэна и других работниками своей культуры.

Сейчас негр-издатель Каспер Гольштейн объявил премию в 100 долларов имени величайшего негритянского поэта А. С. Пушкина за лучшее негритянское стихотворение.

Первого мая 1926 года приз будет разыгран.

Почему неграм не считать Пушкина своим писателем? Ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка. Ведь у Пушкина были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями.

Когда закачаются так называемые весы истории, многое будет

¹ «Современность» (англ.).

зависеть от того, на какую чашку положат 12 миллионов негров 24 миллиона своих увесистых рук. Подогретые тexasскими кострами, негры — достаточно сухой порох для взрывов революции.

Дух, в том числе и американский, вещь бестелая, даже почти не вещь; контор не нанимает, экспортируется слабо, тоннажа не занимает — и если что сам потребляет, то только виски, и то не американское, а привозное.

Поэтому духом интересуются мало, и то в последнее время, когда у буржуазии после разбойничьего периода эксплуатации появилось некоторое спокойное, уверенное добродушие, некоторый жировой слой буржуазных поэтов, философов, художников.

Американцы завидуют европейским стилям. Они отлично понимают, что за свои деньги они могли бы иметь не четырнадцать, а хоть двадцать восемь Людовиков, а спешка и привычка к точному осуществлению намеченного не дают им желания и времени ждать, пока сегодняшняя стройка утрясется в американский стиль. Поэтому американцы закупают художественную Европу — и произведения и артистов, дико украшая сороковые этажи каким-нибудь ренессансом, не интересуясь тем, что эти статуэтки да завитушки хороши для шестиэтажных, а выше незаметны вовсе. Помещать же ниже эти стильные финтифлюшки нельзя, так как они будут мешать рекламам, вывескам и другим полезным вещам.

Верхом стильного безобразия кажется мне один дом около публичной библиотеки: весь гладкий, экономный, стройный, черный, но с острой крышей, выкрашенной для красоты золотом.

В 1912 году одесские поэты вызолотили для рекламы носкассирше, продававшей билеты на стиховечер.

Запоздавший гипертрофированный плагиат.

Улицы Нью-Йорка украшены маленькими памятничками писателей и артистов всего мира. Стены института Карнеги расписаны именами Чайковского, Толстого и другими.

В последнее время против непереваренной эклектической пошлости подымается голос молодых работников искусства.

Американцы стараются найти душу, ритм Америки. Начинают выводить походку американцев из опасливых шажков древних индейцев по тропинкам пустого Мангеттена. Уцелевшие индейские семьи тщательно охраняются музеями. Высшим шиком высшего общества считается древнее родство с какими-нибудь знатными индейскими родами, — вещь, еще недавно совершенно позорная в американских газетах. Деятели искусства, не родившихся в Америке, просто перестают слушать.

Начинает становиться модной всякая туземность.

Чикаго. В 1920 году в выдуманной поэме «150 000 000» я так изобразил Чикаго:

Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической,—
город в ней стоит
на одном винте —
весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14 000 улиц —
солнц площадей лучи.
От каждой —
700 переулков
длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго!

Знаменитейший сегодняшний американский поэт Карл Сандбург — сам чикагец, загнанный американским нежеланием вникать в лирику в отдел хроники и происшествий богатейшей газеты «Чикаго Трибюн» — этот самый Сандбург описывает Чикаго так:

Чикаго,
Свинобой мира,
Инструментщик, сборщик хлеба,
Играющий железными дорогами грузчик
страны,
Бурный хриплый задира.
Город широких плеч...

«...Мне говорят: ты подл, и я отвечаю: да, это правда — я видел, как бандит убил и остался безнаказанным. Мне говорят, что ты жесток, и мой ответ: на лицах женщин и детей я видел следы бесстыдного голода. Бросая ядовитые насмешки за работой, все наваливающейся работой,— это высокий дерзкий хулиган на фоне хрупких городишек.

**С непокрытой головой
роющий,
рушащий,
готовящий планы,
строящий, ломающий, восстанавливающий.**

Смеющийся бурным, хриплым задорным смехом юности. Полуголый, пропотевший, гордый тем, что он режет свиней, про-

изводит инструменты, наваливает хлебом амбары, играет железными дорогами и перебрасывает грузы Америки».

Путеводители и старожилы говорят:

«Чикаго:

Самые большие бойни.

Самый большой заготовщик лесных материалов.

Самый большой мебельный центр.

Самый большой производитель сельскохозяйственных машин.

Самый большой склад пианино.

Самый большой фабрикант железных печей.

Самый крупный железнодорожный центр.

Самый большой центр по рассылке покупок почтой.

Самый людный угол в мире.

Самый проходимый мост на земном шаре Bush street bridge.

Самая лучшая система бульваров во всем земном шаре — ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни на какую улицу.

Все самое, самое самое...

Что это за город Чикаго?

Если все американские города насыпать в мешок, перетряхнуть дома, как цифры лото, то потом и сами мэры города не смогут отобрать свое бывшее имущество.

Но есть Чикаго, и этот Чикаго отличен от всех других городов — отличен не домами, не людьми, а своей особой почикагски направленной энергией.

В Нью-Йорке многое для декорации, для виду.

Белый путь — для виду, Кони-Айланд — для виду, даже пятидесятиэтажный Вульворт-Бильдинг — для втирания провинциалам и иностранцам очков.

Чикаго живет без хвастовства.

Показная небоскрежная часть узка, притиснута к берегу громадой фабричного Чикаго.

Чикаго не стыдится своих фабрик, не отступает с ними на окраины. Без хлеба не проживешь, и Мак-Кормик выставляет свои заводы сельскохозяйственных машин центральной, даже более гордо, чем какой-нибудь Париж — какой-нибудь Нотр-Дам.

Без мяса не проживешь, и нечего кокетничать вегетарианством — поэтому в самом центре кровавое сердце — бойни.

Чикагские бойни — одно из гнуснейших зрелищ моей жизни. Прямо фордом вы въезжаете на длинейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи загонов для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, блеяние — неповторимое до конца света, пока людей и скотину не прищемят сдвигающимися скалами, — стоит над этим

местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый смрад бычьей мочи и дерьма скотов десятка фасонов и миллионного количества.

Воображаемый или настоящий запах целого разливного моря крови занимается вашим головокружением.

Разных сортов и калибров мухи с луж и жидкой грязи перепархивают то на коровьи, то на ваши глаза.

Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся скот.

Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный козел.

Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкбойцев.

Живых визжащих свиней машина подымает крючком, зацепив их за живую ножку, перекидывает их на непрерывную цепь, — они вверх ногами проползают мимо ирландца или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По несколько тысяч свиней в день режет каждый — хвастался боевский провожатый.

Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце градом выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся холодильники — и курьерскими поездами и пароходами едет ветчина в колбасные и рестораны всего мира.

Минут пятнадцать едем мы по мосту только одной компании.

А со всех сторон десятки компаний орут вывесками.

Вильсон!

Стар!

Свифт!

Гамонд!

Армор!

Впрочем, все эти компании, вопреки закону, одно объединение, один трест. В этом тресте главный — Армор — судите по его охвату о мощи всего предприятия.

У Армора свыше 100 000 рабочих; одних конторщиков имеет Армор 10—15 тысяч.

400 миллионов долларов — общая ценность арморовских богатств. 80 000 акционеров разобрали акции, дрожат над целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с владельцев.

Половина акционеров — рабочие (половина, конечно, по числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в рассрочку — один доллар в неделю. За эти акции приобретается временно смирение отсталых боевских рабочих.

Армор горд.

Шестьдесят процентов американской мясной продукции и десять процентов мировой дает один Армор.

Консервы Армора ест мир.

Любой может наживать катар.

И во время мировой войны на передовых позициях были консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми бары-

шами Армор сбегивал четырехлетние яйца и консервированное мясо призывного возраста — в 20 лет!

Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединенных Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушенные едут на крохотную улочку Нью-Йорка — Волстрит, улицу банков, улицу — фактически правящую страной.

Это верней и дешевле вашингтонской поездки. Здесь, а не при Кулидже должны держать своих послов иностранные державы. Под Волстрит тоннель-собвей, а если набить его динамитом и пустить на воздух к чертям свинячьим всю эту улочку!

Взлетят в воздух книги записей вкладов, названия и серии бесчисленных акций да столбцы иностранных долгов.

Волстрит — первая столица, столица американских долларов. Чикаго — вторая столица, столица промышленности.

Поэтому не так неверно поставить Чикаго вместо Вашингтона. Свинобой Вильсон не меньше влияет на жизнь Америки, чем влиял его однофамилец Вудро.

Бойни не проходят бесследно. Поработав на них, или станешь вегетарианцем или будешь спокойно убивать людей, когда надоест развлекаться кинематографом. Недаром Чикаго — место сенсационных убийств, место легендарных бандитов.

Недаром в этом воздухе из каждых четырех детей — один умирает до года.

Понятно, что грандиозность армии трудящихся, мрак чикагской рабочей жизни именно здесь вызывают трудящихся на самый больший в Америке отпор.

Здесь главные силы рабочей партии Америки.

Здесь центральный комитет.

Здесь центральная газета — «Daily Worker».

Сюда обращается партия с призывами, когда надо из скудного заработка создать тысячи долларов.

Голосом чикагцев орет партия, когда нужно напомнить министру иностранных дел мистеру Келлогу, что он напрасно пускает в Соединенные Штаты только служителей долларов, что Америка не келлоговский дом, что рано или поздно — а придется пустить и коммуниста Саклатвала и других посланцев рабочего класса мира.

Не сегодня и не вчера вступили рабочие-чикагцы на революционный путь.

Так же, как в Париже приезжие коммунисты идут к обстрелянной стене коммунаров, — так в Чикаго идут к могильной плите первых повешенных революционеров.

1 мая 1886 г. рабочие Чикаго объявили всеобщую забастовку, 3 мая у завода Мак-Кормик была демонстрация, во время которой полиция спровоцировала выстрелы. Выстрелы эти явились

оправданием полицейской стрельбы и дали повод выловить зачинщиков.

Пять товарищей: Август Спайес, Адольф Фишер, Альберт Парсонс, Луи Линг и Жорж Энгель — были повешены.

Сейчас на камне их братской могилы слова речи одного из обвиняемых:

«Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушаете».

Чикаго не бьет в нос шиком техники — но даже внешность города, даже его наружная жизнь показывает, что он больше других городов живет производством, живет машиной.

Здесь на каждом шагу перед радиатором вздымается подъемный мост, пропуская пароходы и баржи к Мичигану. Здесь, проезжая по висящему над железнодорожными линиями мосту, вы будете в любой час утра обволокнуты дымом и паром сотен бегущих паровозов.

Здесь на каждом повороте автомобильного колеса мелькают бензинные киоски королей нефти — Стандарт Ойл и Синклер.

Здесь всю ночь мигают предупреждающие автофонари перекрестков и горят подземные лампы, деля тротуары во избежание столкновений. Здесь специальные конные полицейские записывают номера автомобилей, простоявших перед домом более получаса. Если разрешать останавливаться на улицах всегда и всем, автомобили б стояли и в десять рядов и в десять ярусов.

Вот почему и весь в садах Чикаго должен быть изображаем на одном винте и сплошь электро-динамо-механическим. Это не в защиту собственной поэмы, это — в утверждение права и необходимости поэту организовывать и переделывать видимый материал, а не полировать видимое.

Путеводитель описал Чикаго верно и непохоже.

Сандбург описал и неверно и непохоже.

Я описал неверно, но похоже.

Критики писали, что мое Чикаго могло быть написано только человеком, никогда не видавшим этого города.

Говорили: если я увижу Чикаго, я изменю описание.

Теперь я Чикаго видел. Я проверил поэму на чикагцах — она не вызывала у них скептических улыбок — наоборот, как будто показывала другую чикагскую сторону.

Детройт — второй и последний американский город, на котором останавлиюсь. К сожалению, мне не пришлось видеть деревенских хлебных мест. Американские дороги страшно дороги. Пульман до Чикаго 50 долларов (100 рублей).

Я мог ездить только туда, где большие русские и, конечно, рабочие колонии. Мои лекции устраивали «Новый мир» и

«Фрайгайт» — русская и еврейская газеты рабочей партии Америки.

В Детройте 20 тысяч русских.

В Детройте 80 тысяч евреев.

В большинстве это бывшие нищие — россияне, поминающие о ней всякой дрянью, приехавшие лет 20 тому назад и поэтому дружелюбно, во всяком случае внимательно, относящиеся к Советскому Союзу. Исключение — группа врангельцев, вывезенных из Константинополя — седыми и лысыми вождями союза христианской молодежи, но и эта публика скоро обомнется. Доллар лучше всякой агитации разлагает белую эмиграцию. Пресловутая Кирилица, которую американцы называли «принцесс Сирил», явившаяся в Америку за вашингтонским признанием, быстро сдала — нашла себе бойкого предпринимателя-менеджера и стала раздавать в целование свою ручку от 10 до 15 долларов в нью-йоркском Мондейморнинг — опера-клуб.

Даже «принц» Борис пустился в Нью-Йорке во все тяжкие.

Обрывая лавры Родченко, он стал заниматься настоящим фотомонтажем, писал статьи из бывшей придворной жизни, точно перечислял, когда и с кем пьянствовали цари, иллюстрируя фельетоны царями с примонтаженными им на колени балеринами, вспоминал, когда и с каким царем играл в карты, кстати и примонтировав бывших царей к пейзажам всехсветных казино. От этой борисовской литературы приуныли самые матерые белогвардейцы. Как, мол, с такими персонами вести агитацию за воцарение белогвардейщины? Даже белые газеты писали с грустью — такие выступления совсем засморкали идеи монархизма. Вновь привезенные, еще неученые белогвардейцы тычутся по предприятиям, многих усыновил благосклонный ко всякой белизне Форд.

Фордовские рабочие показывают таких русским новичкам: смотрите, здесь ваш царь работает. Царь работает мало — есть у Форда и какой-то бессловесный приказ о моментальном приеме и незатруднении работой нанявшихся русских белых.

В Детройте много огромных мировых предприятий, например Парк Девис — медикаменты. Но слава Детройта — автомобили.

Не знаю, на сколько человек здесь приходится один автомобиль (кажется, на четыре), но я знаю, что на улицах их много больше, чем людей.

Люди заходят в магазины, конторы, в кафе и столовые — автомобили ждут их у дверей. Стоят сплошными рядами по обеим сторонам улицы. Митингами сгрудились на особых озабоченных площадях, где машину позволяют ставить за 25—35 центов.

Вечером желающему поставить автомобиль надо съехать с главной улицы в боковую, да и там поездить минут десять, а

поставив в обнесенный загон, ждать потом, пока ее будут выволакивать из-за тысяч других машин.

А так как автомобиль больше человека, а человек, который выйдет, тоже садится в автомобиль, — то нерушимое впечатление: машин больше людей.

Здесь фабрики:

Пакард.

Кадилак,

бр. Дейч, вторая в мире — 1500 машин в день.

Но над всем этим царит слово — Форд.

Форд укрепился здесь, и 7000 новых фордиков выбегают каждый день из ворот его безостановочно работающей ночью и днем фабрики.

На одном конце Детройта — Гайланд-парк, с корпусами на 45 тысяч рабочих, на другом — Риверруж, с 60 тысячами. Да и еще в Дирборне, за 17 миль от Детройта — авиасборочный завод.

На фордовский завод я шел в большом волнении. Его книга, изданная в Ленинграде в 1923 году, уже имеет пометку — 45-я тысяча; фордизм — популярнейшее слово организаторов труда; о предприятии Форда говорят чуть ли не как о вещи, которую без всяких перемен можно перенести в социализм.

Профессор Лавров в предисловии к 5-му изданию фордовской книги пишет: «Появилась книга Форда... непревзойденная модель автомобиля... последователи Форда жалки, причина последнего кроется в талантливости изобретенной Фордом системы, которая, как всякая совершенная система, только и гарантирует лучшую организацию...» и т. д. и т. д.

Сам Форд говорит: цель его теории — создать из мира источник радости (социалист!); если мы не научимся лучше пользоваться машинами, у нас не станет времени для того, чтобы наслаждаться деревьями и птицами, цветами и лугами. «Деньги полезны лишь постольку, поскольку они способствуют жизненной свободе (капиталиста?)». «Если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке» (не замечал!). «Шеф (Форд) компаньон своего рабочего, а рабочий товарищ своего шефа». «Мы не хотим тяжелого труда, истощающего людей. Каждый рабочий Форда должен и может обдумывать улучшение дела — и тогда он кандидат в Форды» и т. д. и т. д.

Я нарочно не останавливаюсь на ценных и интересных мыслях книги — о них раструблено достаточно, и не для них книга писана.

На завод водят группами, человек по 50. Направление одно, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не останавливаясь.

Чтобы получить разрешение, заполняешь анкету в комнате,

в которой стоит испещренный надписями юбилейный десятиллионный Форд. Карманы вам набивают фордовскими рекламками, грудками лежащими по столам. У анкетщиков и провожающих вид как у состарившихся, вышедших на пенсию зазывал распродажных магазинов.

Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах ходят, посматривая, и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромохиваний. Только общий серьезный гул. Лица зеленоватые, с черными губами, как на киносъемках. Это от длинных ламп дневного света. За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краны сажают кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка непрерывно скатываются шины, рабочие с-под цепи снизу что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шофер, машина съезжает с цепи и сама выкатывается во двор.

Процесс, уже знакомый по кино,—но выходишь все-таки обалделый.

Еще через какие-то побочные отделы (Форд все части своей машины от нитки до стекла делает сам), с тюками шерсти, с летающими над головой на цепях подъемных кранов тысячами пудов коленчатых валов, мимо самой мощной в мире фордовской электростанции, выходим на Woodward — улица.

Мой сотоварищ по осмотру — старый фордовский рабочий, бросивший работу через два года из-за туберкулеза, видел завод целиком тоже в первый раз. Говорит со злостью: «Это они парадную показывают, вот я бы вас повел в кузницы на Ривер, где половина работает в огне, а другая в грязи и воде».

Вечером мне говорили фордовцы — рабкоры коммунистической чикагской газеты «Дейли Воркер»:

— Плохо. Очень плохо. Плевательниц нет. Форд не ставит, говорит: «Мне не надо, чтобы вы плевались,— мне надо, чтобы было чисто, а если плеваться надо вам — покупайте плевательницы сами».

...Техника — это ему техника, а не нам.

...Очки дает с толстым стеклом, чтоб не выбило глаз — стекло дорогое. Человеколюбивый. Это он потому, что при тонком стекле глаз выбивает и за него надо платить, а на толстом только царапины остаются, глаз от них портится все равно года через два, но платить не приходится.

...На еду 15 минут. Ешь у станка, всухомятку. Ему бы кодекс законов о труде с обязательной отдельной столовой.

...Расчет — без всяких выходных.

...А членам союза и вовсе работы не дают. Библиотеки нет. Только кино, и то в нем показывают картины только про то, как быстрее работать.

...Думаете, у нас несчастных случаев нет? Есть. Только про них никогда не пишут, а раненых и убитых вывозят на обычной фордовской машине, а не на краснокрестной.

...Система его прикидывается часовой (8-часовой рабочий день), на самом деле — чистая сдельщина.

...А как с Фордом бороться?

...Сыщики, провокаторы и клановцы, всюду 80% иностранцев.

...Как вести агитацию на 54 языках?

В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смену, — люди валились в трамваи и тут же засыпали, обессилив.

В Детройте наибольшее количество разводов. Фордовская система делает рабочих импотентами.

ОТЪЕЗД

Пристань компании «Трансатлантик» на конце 14-й улицы.

Чемоданы положили на непрерывно поднимающуюся ленту с планками, чтобы вещи не скатывались. Вещи побежали на второй этаж.

К пристани приставлен маленький пароходик «Рошамбо», ставший еще меньше от соседства огромной, как двухэтажный манеж, пристани.

Лестница со второго этажа презрительно спускалась вниз.

Просмотрев, отбирают выпускные свидетельства — свидетельство о том, что налоги Америки с заработавших в ней внесены и что в страну этот человек въехал правильно, с разрешения начальства.

Посмотрели билет — и я на французской территории, обратно под вывеску Фрэнчлайн и под рекламу Бисквит-компанийшенал — нельзя.

Рассматриваю в последний раз пассажиров. В последний, потому что осень — время бурь, и люди будут лежать влужку все 8 дней.

При приезде в Гавр я узнал, что на вышедшем одновременно с нами с соседней пристани «Конард Лайн» пароходе шесть человек проломили себе насквозь носы, упав на умывальник во время качки, перекатывающей волны через все палубы.

Пароход плохонький — особый тип: только первый и третий класс. Второго нет. Вернее, есть один второй. Едут или бедные

или экономные, да еще несколько американских молодых людей, не экономных, не бедных, а посылаемых родителями учиться искусствам в Париже.

Отплывал машущий платками, поражающий при въезде Нью-Йорк.

Повернулся этажами сорока, сквозной окнами Метрополитен-бильдинг. Накиданными кубами разворачивалось новое здание телефонной станции, отошло и на расстоянии стало видно сразу все гнездо небоскребов: этажей на 45 Бененсон-бильдинг, два таких же корсетных ящика, неизвестных мне по имени, улицы, ряды элевейтеров, норы подземок закончились с пристанью Соутонфери. Потом здания слились зубчатой обрывной скалой, над которой трубой вставал 57-этажный Вульворт.

Замахнулась кулаком с факелом американская баба-свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слез.

Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки, ни вина. Американские территориальные воды, еще текущие под сухим законом. Через сутки появилось и то и другое. Люди полегли.

Осталось на палубе и в столовых человек 20, включая капитанов.

Шестеро из них — американские молодые люди, новеллист, два художника, поэт, музыкант и девушка провожавшая, влезшая на пароход и любви ради уехавшая аж без французской визы.

Деятели искусства, осмыслив отсутствие родителей и прогибишена, начали пить.

Часов в пять брались за коктейли, за обедом уничтожали все столовое вино, после обеда заказывали шампанское, за десять минут до закрытия набирали бутылок под каждый палец: выпив все, слонялись по качающимся коридорам в поисках за спящим официантом.

Кончили пить за день до приплыва, во-первых, потому, что озверевший от вечного шума комиссар клятвенно обещал двух художников предать в руки французской полиции, не спуская на берег, а во-вторых, все шампанские запасы были уже выпиты. Может быть, этим объяснялась и комиссарская грозность.

Кроме этой компании, слонялся лысый старый канадец, все время надоедавший мне любовью к русским, сочувственно называя и справляясь у меня о знакомстве с бывшими живыми и мертвыми князьями, когда-нибудь попадавшими на страницы газет.

Путались между дребезжащими столиками два дипломата: помощник парагвайского консула в Лондоне и чилийский представитель в Лигу Наций. Парагваец пил охотно, но никогда не заказывал сам, а всегда в порядке изучения нравов и наблюде-

ния за молодыми американцами. Чилиец пользовался каждой минутой просветления погоды и вылаз женщин на палубу, чтобы проявить свой темперамент или хотя бы сняться вместе на фоне сирены или трубы. И, наконец, испанец-купец, который не знал ни слова по-английски, а по-французски только:

— регардэ —

даже, кажется, «мерси» не знал. Но испанец так умело обращался с этим словом, что, прибавив жесты и улыбки, он целыми днями перебегал от компании к компании в форменном разговорном ажиотаже.

Опять выходила газета, опять играли на скоростях, опять отпраздновали томболу.

На обратном безлюдии я старался оформить основные американские впечатления.

Первое. Футуризм голой техники, поверхностного импрессионизма дымов да проводов, имевший большую задачу революционизирования застывшей, заплывшей деревней психики — этот первобытный футуризм окончательно утвержден Америкой.

Звать и вещать тут не приходится. Перевози в Новороссийск фордзоны, как это делает Амторг.

Перед работниками искусства встает задача Лефа: не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья.

Что автомобиль?.. Автомобилей много, пора подумать, чтобы они не воняли на улицах.

Не небоскреб — в котором жить нельзя, а живут.

С-под колес проносящихся элевейтеров плюет пыль, и кажется — поезда переезжают ваши уши.

Не грохот воспевать, а ставить глушители — нам, поэтам, надо разговаривать в вагоне.

Безмоторный полет, беспроволочный телеграф, радио, бусы, вытесняющие рельсовые трамваи, собвеи, унесшие под землю всякую видимость.

Может быть, завтрашняя техника, умильонивая силы человека, пойдет по пути уничтожениястроек, грохота и прочей технической внешности.

Второе. Разделение труда уничтожает человеческую квалификацию. Капиталист, отделив и выделив материально дорогой ему процент рабочих (специалисты, желтые заправилы союзов и т. д.), с остальной рабочей массой обращается как с неисчерпаемым товаром.

Хотим — продадим, хотим — купим. Не согласитесь работать — выждем, забастуете — возьмем других. Покорных и способных облагодетельствуем, непокорным — палки казенной полиции, маузеры и кольты детективов частных контор.

Умное раздвоение рабочего класса на обыкновенных и привилегированных, невежество трудом высосанных рабочих, в которых после хорошо организованного рабочего дня не остается силы, нужной даже для мысли; сравнительное благополучие рабочего, выколачивающего прожиточный минимум; несбыточная надежда на богатство в будущем, смакуемая усердными описаниями вышедших из чистильщиков миллиардеров; настоящие военные крепости на углах многих улиц — и грозное слово «депортация» далеко отдалают какие бы то ни было веские надежды на революционные взрывы в Америке. Разве что откажется от каких-нибудь оплат долгов революционная Европа. Или на одной вытянутой через Тихий океан лапе японцы начнут подстригать когти. Поэтому усвоение американской техники и усилия для второго открытия Америки — для СССР — задача каждого проезжающего Америками.

Третье. Возможно, фантастика. Америка жиреет. Люди с двумя миллиончиками долларов считаются небогатыми начинающими юношами.

Деньги займы даются всем — даже римскому папе, покупающему дворец напротив, дабы любопытные не заглядывали в его папские окна.

Эти деньги берутся отовсюду, даже из тощего кошелька американских рабочих.

Банки ведут бешеную агитацию за рабочие вклады.

Эти вклады создают постепенно убеждение, что надо заботиться о процентах, а не о работе.

Америка станет только финансовой ростовщической страной.

Бывшие рабочие, имеющие еще неоплаченный рассрочный автомобиль и микроскопический домик, политый потом до того, что неудивительно, что он вырос и на второй этаж, — этим бывшим может казаться, что их задача — следить, как бы не пропали их папские деньги.

Может статься, что Соединенные Штаты сообраза станут последними вооруженными защитниками безнадёжного буржуазного дела, — тогда история сможет написать хороший, типа Уэльса, роман «Борьба двух светов».

Цель моих очерков — заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки.

«Рошамбо» вошел в Гавр. Безграмотные домики, которые только по пальцам желают считать этажи, на час расстояния

гавань, а когда мы уже прикручивались, берег усеялся оборванными калекми, мальчишками.

С парохода кидали ненужные центы (считается — «счастье»), а мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.

Американцы жирно посмеивались с палубы и щелкали ментальными.

Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деньгой.

Мы ехали к Парижу, пробивая тоннелями бесконечные горы, легшие поперек.

По сравнению с Америкой жалкие лачуги. Каждый вершок земли взят вековой борьбой, веками истощаем и с аптекарской мелочностью использован под фиалки или салат. Но даже это презируемое за домик, за земельку, за свое, даже это веками обдуманное цепляние казалось мне теперь невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни.

Зато до самого Руана на бесконечных каштаных проселочных дорогах, на самом густом клочке Франции мы встретили всего один автомобиль.

1925—1926



КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСАНДР БЛОК

Александр Александрович Блок (1880—1921), издавая свои стихотворения, обычно делил их на циклы. К структуре подготовленных им поэтических сборников А. Блок относился с исключительным вниманием. Избранные стихотворения, вошедшие в настоящее издание, расположены по циклам в той последовательности, какую придал им сам поэт в последнем трехтомном собрании стихотворений.

Тексты стихотворений и поэм Блока печатаются в соответствии с ныне принятыми правилами правописания, однако в некоторых случаях сохранена орфография поэта. В письме к редактору одного из журналов, пожелавшему было «выправить» его стихи согласно правописанию, А. Блок пояснил: «Всякая моя грамматическая оплошность в стихах не случайна, за ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать; иначе говоря, мне так «поется».

Избранные стихотворения, поэмы и статья А. Блока печатаются по тексту Собрания сочинений А. Блока в восьми томах (под общей редакцией В. Н. Орлова, А. А. Суркова и К. И. Чуковского), М.—Л., «Художественная литература», 1960—1963.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»

(1901—1902)

«Одинокий, к тебе прихожу...» (стр. 33), Ш а х м а т о в о — подмосковная усадьба Блока, где он подолгу жил.

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (стр. 34). Эпиграф взят из стихотворения «Зачем слова? В безбрежности лазурной...» поэта и религиозно-мистического философа Владимира Сергеевича Соловьева (1853—1900), оказавшего влияние на молодого Блока.

«Сумерки, сумерки вешние...» (стр. 35). Эпиграф — из стихотворения А. А. Фета «Вдали огонек за рекою...».

Ночь на Новый год (стр. 36). Стихотворение представляет собой вариацию на тему известной баллады В. А. Жуковского «Светлана».

ИЗ ЦИКЛА «РАСПУТЬЯ»

(1902—1904)

Фабрика (стр. 41). Одно из ранних социальных стихотворений Блока, написанное по впечатлениям жизни в рабочем районе Петербурга (на Невке). В 1904 г. стихотворение было запрещено цензурой. Ж о л т ы. — Написание слова «желтый» через «о» обозначает у Блока не просто цвет (в таких случаях он писал «желтый»), но и является, как он сам говорил, символом «сытости», мещанского самодовольства, грубости, зла.

ИЗ ЦИКЛА «РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

(1904—1908)

Осенняя воля (стр. 42). Р о г а ч е в с к о е ш о с с е — вблизи Шахматова.

«Девушка пела в церковном хоре...» (стр. 43). Скорбное звучание темы «кораблей, ушедших в море», очевидно, связано с трагической гибелью русского флота в мае 1905 г. в Цусимском сражении. Ц а р с к и е в р а т а — центральная дверь в иконостасе, отделяющем алтарь от остальной части церкви.

«Утихает светлый ветер...» (стр. 43). К а с а т к и — ласточки.

Сольвейг (стр. 44). Стихотворение навеяно, по признанию самого поэта, драматической поэмой норвежского писателя Генрика Ибсена (1828—1906) «Пер Гюнт» (1867). Имя Сольвейг означает «Солнечный путь». Г о р о д е ц к и й Сергей Митрофанович (1884—1967) — русский поэт, примыкавший к символистам, впоследствии к акмеистам. Блок был особенно близок с ним в 1905—1908 гг.

«Прошли года, но ты — всё та же...» (стр. 45). Эпиграф — из стихотворения Ф. И. Тютчева «Я знал ее еще тогда...».

Русь (стр. 46). В примечаниях к стихотворению Блок писал: «Мутный взор колдуна, чарование злаков, ведьмы и черти в снеговых столбах на дороге, девушка, точащая под снегом лезвие ножа на изменившего милого, — все это подлинные образы наших поверий, заговоров и заклинаний». В е д у н ы — колдуны, волшебники. В о р о ж е и — гадалки, знахарки.

Балаган (стр. 48). Эпиграф — из пьесы французского писателя Александра Дюма-сына (1824—1895) «Кин, или Гений и беспутство», К и н Эдмунд (1787—1833) — английский актер-трагик, прославленный исполнитель шекспировских ролей. А р л е к и н, П ь е р о и К о л о м б и н а — традиционные персонажи итальянской народной «комедии масок»; А р л е к и н — шут, паяц, П ь е р о — его наивный друг и незадачливый соперник, К о л о м б и н а — лукавая жена Пьеро и возлюбленная Арлекина.

ИЗ ЦИКЛА «ГОРОД»

(1904—1908)

Петр (стр. 50). По свидетельству Блока, стихотворение «внушено» ему памятником Петру I работы Э. Фальконе на Сенатской площади в Петербурге («Медный всадник»). *Иванов Евгений Павлович* (1879—1942) — литератор, участник символистских кружков и изданий, близкий друг Блока.

«Поднимались из тьмы погребов...» (стр. 51). *Геенна* — ад.

«Барка жизни встала...» (стр. 53). Номер газеты «Наша жизнь», напечатанной 26 ноября 1905 г. это стихотворение и следующее, полиция конфисковала.

«Вися над городом всемирным...» (стр. 54). Стихотворение написано в день опубликования царского манифеста 17 октября 1905 г. о «даровании» населению «незыблемых основ гражданской свободы». Блок оценивал этот манифест как обман свободолюбивых чаяний и надежд народа. *Город всемирный* — Петербург. *Предок царственно-чугунный* — памятник Петру I («Медный всадник»).

Сытые (стр. 54). Как писал Блок, это стихотворение «внушено октябрьскими забастовками 1905 г. в Петербурге»; в частности, тогда бастовали рабочие и служащие столичной электростанции. *Пергаментные речи* — здесь в значении «сухие», «бесстрастные», «бесплодные».

Незнакомка (стр. 55). *Чуть золотится крендель булочный...* — В дореволюционной России вывески булочных обычно украшались золоченым изображением кренделя. *Озерки* — дачный пригород Петербурга.

ИЗ ЦИКЛА «СНЕЖНАЯ МАСКА»

(1907)

(Стр. 60—62)

«Снежная маска», цикл «Фаина» и большинство других стихотворений 1907 года посвящены актрисе Наталье Николаевне Волоховой (1878—1966). В посвящении к отдельному изданию «Снежной маски» (1907) Блок писал: «Посвящаю эти стихи Тебе, высокая женщина в черном, с глазами крылатыми и влюбленными в огни и мглу своего снежного города».

ИЗ ЦИКЛА «ФАИНА»

(1906—1908)

Эпиграф — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Благодарность».

1. «О, весна без конца и без краю...» (стр. 66). *Веси* — селения.

«Она пришла с мороза...» (стр. 71). *Пузыри земли*. — Имеются в виду слова Банко в начале трагедии Шекспира «Макбет» (д. I, сц. 3):

Земля, как и вода, содержит газы,
И это были пузыри земли.

Пер. А. Кронеберга

Паоло и Франческа — несчастные любовники, изображенные в пятой песне «Ада» «Божественной комедии» Данте.

ИЗ ЦИКЛА «ВОЛЬНЫЕ МЫСЛИ»

(1907)

Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — поэт-символист, прозаик и литературный критик, с которым Блок был близок в 1904—1908 гг.

О смерти (стр. 73). Жокей — наездник на скачках, бегах. Ландо — четырехместная карета с открывающимся верхом. Сотка — здесь мера водки в одну сотую часть ведра.

Над озером (стр. 76). Текла (Тэкла) — романтическая героиня в трагедиях Ф. Шиллера «Пикколомини» (1799) и «Смерть Валленштейна» (1799). Шувалово — дачная местность под Петербургом.

В северном море (стр. 78). Тальеры — женские одежды. Иеромонах — монах в сане священника. Послушник — человек, живущий в монастыре и готовящийся стать монахом. Вольный остров — один из небольших островов в дельте Невы. Фероньера — женское украшение с драгоценными камнями, надеваемое на лоб. Сестрорецкий курорт — расположен под Петербургом на берегу Финского залива.

ИЗ ЦИКЛА «СТРАШНЫЙ МИР»

(1909—1916)

К Музе (стр. 80). Аи — сорт шампанского.

Демон (стр. 84). По свидетельству Блока, это стихотворение «написано под впечатлением смерти Врубеля; связь демонов Лермонтова и Врубеля, намеки на которую есть в этих стихах, подлежит исследованию». Кисти художника Михаила Александровича Врубеля (1856—1910) принадлежат картины «Демон» (1890), «Демон поверженный» (1902), иллюстрации к поэме Лермонтова «Демон». Зурна — деревянный музыкальный духовой инструмент, распространенный у кавказских народов. Тамара — героиня поэмы Лермонтова «Демон».

«Как тяжело ходить среди людей...» (стр. 85). Эпиграф — из стихотворения А. А. Фета «Когда читала ты мучительные строки...».

Авиатор (стр. 85). Первоначально стихотворение посвящалось памяти погибшего на глазах у Блока на аэродроме под Петербургом русского летчика В. Ф. Смита. Блок с особым интересом относился к развитию авиации. Летун — в народном языке огненный змей, летучий дух.

«Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (стр. 90). Эпиграф —

из стихотворения Эдгара По (1809—1849) «Ворон» в переводе В. Брюсова. С ö р — блоковское написание английского слова «сэр» («сёр» звучало для Блока, по его признанию, «тургеневским звуком, с французским оттенком»).

ИЗ ЦИКЛА «ВОЗМЕЗДИЕ»

(1908—1913)

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (стр. 91). Стихотворение обращено к жене поэта Л. Д. Блок. А н а л о й — особый высокий столик в церкви для икон и книг, читаемых при церковных службах.

«Кольцо существованья тесно...» (стр. 92). В с е п у т и п р и в о д я т в Р и м — латинская пословица.

Шаги Командора (стр. 92). Стихотворение представляет собой современную вариацию на тему испанской средневековой легенды о дерзком обольстителе Дон Жуане. По преданию, он убил командора монашеского ордена францисканцев, защищавшего честь дочери; тогда монахи заманили его в монастырский сад и убили, распространив слух, будто Дон Жуан был низвергнут в ад оскорбленной им статуей командора. Сюжет Дон Жуана разработан во многих произведениях мировой литературы и искусства. З о р г е н ф р е й Вильгельм Александрович (1882—1938) — поэт-символист, один из друзей Блока.

ИЗ ЦИКЛА «ЯМБЫ»

(1907—1914)

Ю в е н а л Децим Юний (ок. 60 — ок. 127) — римский поэт-сатирик. Ангелина Александровна Блок — сестра поэта (дочь А. Л. Блока от второго брака), с которой Блок познакомился в декабре 1909 г. в Варшаве на похоронах отца. Скончалась 20 февраля 1918 г. в возрасте 25 лет от сыпного тифа. Цикл «Ямбы» Блок относил к лучшим своим стихам и издал их отдельной книжкой в 1919 г.

«Я ухо приложил к земле...» (стр. 94). Это стихотворение, как и следующее, написано в день роспуска царем Второй Государственной думы — так называемого «третьеиюньского переворота», после чего был издан новый избирательный закон, перераспределивший число выборщиков в пользу помещиков и крупной буржуазии, фактически означавшего усиление реакции. Ты р о е ш ь с я, п о д з е м н ы й к р о т! — имеются в виду слова Гамлета в одноименной трагедии Шекспира (д. 1, сц. 5): «Ты славно роешь землю, старый крот!» (перевод А. Л. Соколовского).

«Тропами тайными, ночными...» (стр. 95). П р и д у т з а м у ч е н н ы е и м и... — имеются в виду жертвы царизма. У п ы р и — по народным поверьям, мертвецы, встающие по ночам из могил, чтобы сосать кровь спящих людей, вампиры. И х к о р а б л и в п у ч и н е в о д н о й... — Речь идет о Цусимском сражении 14—15 мая 1905 г., когда в морском бою была разгромлена русская Тихоокеанская эскадра. О т х о д н а я — молитва, которую священник (иерей) читает над умирающим.

«В голодной и больной неволе...» (стр. 95). Господне лето — евангельское выражение, обозначающее доброе, счастливое время.

«О, как смеялись вы над нами...» (стр. 96). Заключительное двустопное — из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» («Молчание!»).

«Я — Гамлет. Холодеет кровь...» (стр. 96). Принц Гамлет был одним из любимых литературных героев Блока. В трагедии Шекспира Гамлет погибает, заколотый отравленной шпагой. Стихотворение обращено к жене поэта, в любовительском представлении этой трагедии, состоявшемся 1 августа 1898 г., Блок исполнял роль Гамлета, а его будущая жена Л. Д. Менделеева — роль Офелии.

«Да. Так диктует вдохновенье...» (стр. 97). Ты видел ли детей в Париже... — В письме к матери из Парижа 4 сентября 1911 г. Блок писал о небывало жарком лете этого года: «В сожженных скверах масса детей — бледных, с английской болезнью».

«В огне и холоде тревог...» (стр. 98). Стихотворение обращено к сестре поэта Ангелине Блок, встреча с которой произошла в Варшаве в декабре 1909 г. на похоронах отца, А. Л. Блока.

ИЗ ЦИКЛА «ИТАЛЬЯНСКИЕ СТИХИ»

(1909)

Стихи этого цикла основаны на впечатлениях Блока от поездки по Италии в мае — июне 1909 г. Колыбель европейской культуры представилась Блоку оскверненной духом буржуазного торгашества.

Равенна (стр. 99). В примечаниях к этому стихотворению в третьем томе собрания стихотворений, изданном в 1912 г., Блок пишет: «В Равенне и ее окрестностях покоятся прахи Теодориха, Данте и той, которая названа Галлой в четвертой строфе и Плакидой в пятой. ...Многошумная судьба бросила эту страстную и властолюбивую женщину от позорной колесницы варвара на трон Западной Римской империи, сердцем которой была пышная в те дни Равенна. Образ Галлы, с лицом то девически-нежным, то твердым и жестоким, почти как лицо legionera, неоднократно вставал перед художниками, в том числе и русскими. Средневековое предание говорит, что она похоронена в сидячем положении... Адриатика давно уже отступила от этих берегов; и шумная некогда гавань состоит теперь из нескольких домиков и огромной полупустой базилики, с прахом св. мученика Аполлинария». Равенна — древняя столица Западной Римской империи, завоеванная в 493 г. королем остготов Теодорихом Великим (456—526); впоследствии превратилась в зачехленный итальянский городок. Базилики — распространенный тип христианских храмов. Саркофаги — каменные гробницы или гробы. «Новая жизнь» (1292) — автобиографическая повесть величайшего поэта Италии Данте Алигьери (1265—1321), который провел последние годы в Равенне и похоронен там.

Девушка из Spoleto (стр. 100). Spoleto — городок в Средней Италии в области Умбрия. Лишь, как художник, смотрю за оградой... — «Художники Возрождения любили изображать себя самих на своих картинах, в качестве свидетелей или участников», — пишет Блок в примечаниях, отмечая,

что в этом стихотворении хотел представить художника как «созерцателя спокойного и свидетеля необходимого».

Перуджия (стр. 101). *Перуджия*, *Перуджа* — город в Средней Италии, область Умбрия. *Перуджино Пьетро* (1446—1523) — итальянский живописец, картины которого проникнуты лиризмом и созерцательным настроением; учитель Рафаэля. *Монастырь Франциска*. — Имеется в виду монастырь католического святого Франциска Ассизского в городке Ассизи вблизи Перуджи.

ФЛОРЕНЦИЯ

1. *«Умри, Флоренция, Иуда...»* (стр. 101). Там, где святой монах сожжен... — На площади Синьории во Флоренции был повешен, а затем сожжен религиозно-политический деятель Джироламо Савонарола (1452—1498), обличавший политику римского папы. *Леонардо* — великий итальянский художник, ученый и инженер Леонардо да Винчи (1452—1519). *Беато* — итальянский художник Раннего Возрождения Фра Джованни да Фьезоле (1387—1455), известный под церковным именем Беато Фра Анжелико. *Медичи* — знатный флорентийский род, игравший важную роль в политической и экономической жизни средневековой Италии. *Лилии* — эмблема феодальной Флоренции. *Месса* — богослужение в католической церкви.

2. *«Флоренция, ты ирис нежный...»* (стр. 102). *Кашини* — пригородный парк во Флоренции, славившийся ирисами.

7. *«Голубоватым дымом...»* (стр. 104). *Тоскана* — область Италии, главным городом которой является Флоренция. *Христовы Слезы* — марка итальянского вина.

«Вот девушка, едва развившись...» (стр. 105). *Сеттиньяно* — селение близ Флоренции. *Септимий Север* (146—211) — римский император в 193—211 гг., основатель династии Северов.

Madonna da Settignano (стр. 105). В примечаниях Блок отмечал: «Стихотворение это внушил мне бюст синеокой мадонны в желтом платке с цветочками, помещенный под местечком [Сеттиньяно], в полугоре».

«Искусство — ноша на плечах...» (стр. 106). В итальянском городке *Фолинью* Блок случайно увидел французскую киноленту, которую уже смотрел годом ранее в Петербурге.

ИЗ ЦИКЛА «РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

(1908—1916)

Друзьям (стр. 106). Эпиграф — из стихотворения А. Н. Майкова «Менестрель».

«Когда замрут отчаянье и злоба...» (стр. 108). Стихотворение обращено

к жене поэта Л. Д. Блок и тематически связано со стихотворением «О доблестях, о подвигах, о славе...», открывающим цикл «Возмездие».

«*Всё это было, было, было...*» (стр. 109). *Возлюбленная поляна* — Шахматово, подмосковное владение Блока. *Дождь* — глава Венецианской республики в VII—XVIII веках. *Калита* — московский великий князь Иван I Данилович по прозвищу Калита, княживший с 1328 по 1340 г.

Сусальный ангел (стр. 110). Тема стихотворения заимствована из рассказа Леонида Андреева «Ангелочек»: о сусальном ангеле, растаявшем в комнатном тепле.

«*Ты помнишь? В нашей бухте сонной...*» (стр. 110). Поводом для стихотворения послужило появление в августе 1911 г. во французском порту Абер-врак (Бретонское побережье Атлантического океана), где жил тогда Блок с женой, французской военной эскадры. В письме к матери он писал: «Я решил, что пахнет войной...» *Кильватерная колонна* — строй кораблей, следующих один за другим по прямой линии.

«*Благословляю все, что было...*» (стр. 111). Третья строфа стихотворения относится к Л. Д. Блок.

Художник (стр. 112). *Сириньи* — сказочные птицы с женской головой и грудью, поющие о радости и счастье, образы древнерусской литературы и фольклора.

ИЗ ЦИКЛА «АРФЫ И СКРИПКИ»

(1908—1916)

«*Май жестокий с белыми ночами!...*» (стр. 116). *Пяст* (Пестовский) Владимир Алексеевич (1886—1940) — поэт-символист, друг Блока, порвавший с ним после появления поэмы «Двенадцать». Смысл заключительных строк стихотворения раскрывается в сопоставлении с высказыванием Блока о Льве Толстом в статье «Солнце над Россией»: «Пока Толстой жив, идет по борозде, за плугом, за своей белой лошадкой, — еще росисто утро, свежо, не страшно, упыри дремлют, и слава богу. Толстой идет — ведь это солнце идет. А если закатится солнце, умрет Толстой, уйдет последний гений, — что тогда?»

ТРИ ПОСЛАНИЯ

(Стр. 117—118)

Все три стихотворения посвящены Валентине Андреевне Щеголевой (Богуславской) (1878—1931), драматической актрисе. Блок познакомился с нею в конце 1906 г. в театре В. Ф. Комиссаржевской, где тогда играла В. А. Щеголева.

«*Не затем величал я себя паладином...*» (стр. 119). *Паладин* — верный рыцарь.

Стихи этого цикла написаны под впечатлением вторичного посещения курорта Бад-Наугейма (вблизи Франкфурта-на-Майне). Впервые Блок побывал в Бад-Наугейме летом 1897 года, когда познакомился там с Ксенией Михайловной Садовской (1862—1925), своей «первой любовью», воспоминаниям о которой и посвящен цикл «Через двенадцать лет».

1. «*Все та же озерная гладь...*» (стр. 120). Г р а д и р н и.— В примечаниях к стихотворению Блок писал: «Градирни, салины — высокие стены из деревянных клеток, набитых хворостом, который пропускает сквозь себя ветер и механически приводимую в движение соленую воду. Ряд салии стоит в полях с подветренной стороны немецкого курорта Bad-Nauheim, благоуханный воздух которого насыщается солью».

3. «*Когда мучительно восстали...*» (стр. 121). Л е с д е в и ч и й (Фрауэнвальд) — парк в Бад-Наугейме.

6. «*В тихий вечер мы встречались...*» (стр. 122). Е л а г и н о с т р о в — парк в Петербурге.

На смерть Комиссаржевской (стр. 124). Блок познакомился со знаменитой драматической актрисой Верой Федоровной Комиссаржевской (1864—1910) в 1906 г., когда в театре Комиссаржевской была поставлена его лирическая драма «Балаганчик». С е р а ф и м ы — ангелы высшего чина, изображаемые шестикрылыми. К а м е н ь б е л - г о р ю ч и й, п л а к у н - т р а в а — образы русского былинного и сказочного фольклора. Т р и з н а — у древних славян — поминки по умершим.

Седое утро (стр. 126). Эпиграф — из стихотворения И. С. Тургенева «В дороге». В начале XX века приобрел популярность романс В. В. Абазы на слова этих стихов Тургенева в исполнении цыганской певицы В. Паниной.

ИЗ ЦИКЛА «КАРМЕН»

(1914)

Цикл стихов написан под впечатлением знакомства (1914) с Любовью Александровной Андреевой-Дельмас (1879—1969), оперной актрисой, исполнительницей партии Кармен в одноименной опере Жоржа Бизе. С образом Дельмас связан и ряд других стихотворений («Была ты всех ярче, верней и прелестней...», «Превратила все в шутку сначала...» и др.). Курсивом в стихах выделены цитаты из либретто оперы «Кармен».

«*Есть демон утра, Дымно-светел он...*» (стр. 131). Х и т о н — широкая одежда древних греков.

«*Бушует снежная весна...*» (стр. 132). Ц у н и г а, Х о з е — действующие лица оперы «Кармен».

«*Среди поклонников Кармен...*» (стр. 132). Л и л л а с - П а с т ь я — трактирщик в опере «Кармен». Т в о р ч е с к и е с н ы — слова из «Евгения Онегина» Пушкина (глава I, строфа LV).

«Сердитый взор бесцветных глаз...» (стр. 132). В стихотворении передано воспоминание о Дельмас, когда она, не участвуя в спектакле, находилась в зрительном зале. С е г и д и л ь я — испанские песня и танец быстрого темпа. Э с к а м и л ь о — действующее лицо в опере «Кармен».

«О да, любовь вольна, как птица...» (стр. 135). Т р е б а — жертвоприношение.

СОЛОВЬИНЫЙ САД

(1915)

(Стр. 136—141)

В лирико-философской поэме отразились воспоминания о местечке Гетари в южной Франции (на Бискайском побережье Атлантического океана), где Блок жил с женой летом 1913 г., его размышления о смысле жизни, искусства, счастья, свободы нравственного выбора. Д о л ь н е е г о р е — земное, человеческое горе. Ч а р ы й (сумрак) — зачарованный.

ИЗ ЦИКЛА «РОДИНА»

(1907—1916)

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

В примечании к этому циклу Блок писал: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди». Таким образом, Блок считал свои стихи о Куликовской битве, происшедшей 8 сентября 1380 г. у впадения реки Непрядвы в Дон между монголо-татарами во главе с Мамаем и русскими войсками московского князя Дмитрия Донского, не столько историческим произведением, сколько стихами о современности. К теме Куликовской битвы Блок неоднократно обращался и позже.

2. «Мы, сам-друг, над степью в полночь стали...» (стр. 142). С а м-д р у г — вдвоем. П о г а н ы й — здесь: языческий, нехристианский. О б е д н я — богослужение в православной церкви, совершаемое в первую половину дня (до обеда).

3. «В ночь, когда Мамай залег с ордю...» (стр. 143). Отдельные образы этого стихотворения («крики лебедей», «ночные птицы», туман над Непрядвой) заимствованы Блоком из летописного «Сказания о Мамаевом побоище».

5. «Опять над полем Куликовым...» (стр. 145). Эпиграф — из стихотворения В. С. Соловьева «Дракон».

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (стр. 147). Е р м а к (ум. 1585 г.) — казачий атаман, предводитель похода, положившего начало присоединению Сибири к России и ее освоению, герой народных песен и сказаний. Ч у д ь — название в русских летописях эстонских племен. М е ř я —

племя, жившее в первом тысячелетии н. э. в районе Волго-Окского междуречья, позже слилось со славянами. Г а т ь — настил из бревен или хвороста для проезда через топкое место. Ц а р ь г р а д с к и е с в я т ы н и — христианские памятники древнего Царьграда (Константинополя, ныне Стамбула).

На железной дороге (стр. 148). В примечаниях Блока к этому стихотворению говорится о «бессознательном подражании» эпизоду из «Воскресения» Толстого: «Катюша Маслова на маленькой станции видит в окне Нехлюдова на бархатном кресле ярко освещенного купе первого класса». М а р и я П а в л о в н а И в а н о в а (1874—1941) — сестра Е. П. Иванова, близкого друга Блока. М о л ч а л и ж е л т ы е и с и н и е; в з е л е н ы х п л а к а л и и п е л и... — В дореволюционной России вагоны I класса окрашивали в синий цвет, II класса — в желтый, III класса — в зеленый.

Новая Америка (стр. 151). В понимании Блока «Новая Америка» — это поэтический образ промышленной, индустриальной России, возрожденной к новой жизни «под знаком мужественности и воли». «Будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс и подземных богатств», — писал Блок в своих записных книжках. Л а д а н — ароматическая смола некоторых тропических деревьев, которой курят во время богослужения. Е к т е н ь я — церковная молитва, содержащая различные прошения. О р а р ь — часть облачения дьякона в виде длинной ленты, перекинутой через плечо. Ф е с к а — турецкий головной убор в форме усеченного конуса, обычно красного цвета. Н е ш е л о м а м и ч е р п а ю т Д о н — вариация строки из «Слова о полку Игореве»: «Испити шелоом Дону». Б у н ч у к — древко с шаром или острием и волосами из конского хвоста, один из символов власти украинских гетманов и казачьих атаманов. М е с с и я — спаситель.

«Петроградское небо мутилось дождем...» (стр. 153). «В а р я г» — популярная песня («Плещут холодные волны...») на слова Я. Репнинского (1904). В том же году была впервые опубликована песня «Варяг» («Наверх, о товарищи, все по местам...») на слова Е. Студенской. Известная ныне мелодия — результат взаимодействия нескольких популярных песен на эту тему. «Е р м а к» («Ревела буря, дождь шумел...») — дума Рылеева (1795—1826), ставшая популярной народной песней. Г а л и ц и й с к и е п о л я. — В Галиции, области Украины, входившей тогда в состав Австро-Венгерской империи, в августе — сентябре 1914 г. развернулось одно из крупнейших сражений первой мировой войны.

«Рожденные в года глухие...» (стр. 154). К теме этого стихотворения Блок снова возвращается позднее в предисловии к поэме «Возмездие»: «...Нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и — увы! — забыть их нельзя, — они окрашены слишком неизгладимо, так что каждая цифра кажется написанной кровью; мы и не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах». Г и п п и у с Зинаида Николаевна (1869—1945), посвящение которой относится к 1916 г., — писательница, представительница декадентской литературы. Октябрьскую революцию встретила крайне враждебно. После появления поэмы Блока «Двенадцать» и его статьи «Интеллигенция и революция» она возглавила кампанию травли поэта. В 1920 г. вместе

с мужем писателем Д. С. Мережковским эмигрировала за границу. От дней войны, от дней свободы...— Имеется в виду русско-японская война и революция 1905—1907 гг.

ИЗ ЦИКЛА «О ЧЕМ ПОЕТ ВЕТЕР»
(1913)

«Милый друг, и в этом тихом доме...» (стр. 157). А з р а и л — в восточной мифологии имя ангела, отторгающего душу от тела в момент смерти.

ВОЗМЕЗДИЕ
(Стр. 157—165)

Над оставшейся неоконченной поэмой «Возмездие» Блок работал с 1910 г. и до конца жизни. Творческую историю поэмы он изложил в предисловии, написанном для публичного чтения третьей главы в петербургском Доме искусств 12 июля 1919 г.:

«Не чувствуя ни нужды, ни охоты заканчивать поэму, полную революционных предчувствий, в годы, когда революция уже произошла, я хочу предпослать наброску последней главы рассказ о том, как поэма родилась, каковы были причины ее возникновения, откуда произошли ее ритмы...

Поэма «Возмездие» была задумана в 1910 году и в главных чертах набросана в 1911 году. Что это были за годы? 1910 год — это смерть Комиссаржевской, смерть Врубеля и смерть Толстого. С Комиссаржевской умерла лирическая нота на сцене; с Врубелем — громадный личный мир художника, безумное упорство, ненасытность исканий — вплоть до помешательства. С Толстым умерла человеческая нежность — мудрая человечность. Далее, 1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном... Зима 1911 года была исполнена глубокого внутреннего мужественного напряжения и трепета. Я помню ночные разговоры, из которых впервые выросло сознание нераздельности и неслиянности искусства, жизни и политики... Наконец, осенью в Киеве был убит Столыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции.

Все эти факты, казалось бы столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор.

Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно, потому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время...»

Публикуются четыре отрывка из поэмы: пролог, впервые появившийся в печати под названием «Народ и поэт» (1917 г., январь); начало первой

главы, напечатанное впервые в сокращенном виде в декабре 1914 г. под названием «Два века» (последние 12 строк не вошли в позднейшие публикации поэмы); вступление во вторую главу («В те годы дальние, глухие...») и конец третьей главы («Когда ты загнан и забит...»). Эпиграф к поэме — слова главного героя драмы норвежского писателя Генрика Ибсена «Строитель Сольнес».

Народ и поэт (стр. 157). З и г ф р и д — герой древнегерманского эпоса «Песнь о Нибелунгах» (XIII в.). Имеется в виду опера немецкого композитора Рихарда Вагнера «Зигфрид» (1871), где Зигфрид, воспитанный нибелунгским кузнецом злым карликом Миме, из расколотого меча своего отца выковывает сказочный меч Нотунг и убивает Миме, пытавшегося завладеть этим мечом. Цикл опер Вагнера «Кольцо Нибелунгов» произвел на Блока сильное и глубокое впечатление. В о т — г о л о в у е г о н а б л ю д е... — Согласно библейской легенде, царица Саломея потребовала у галилейского царя Ирода Антипы в награду за свою пляску голову Иоанна Крестителя, и царь приказал отсечь ему голову. П р и т в о р — передняя часть церкви. Д е н н и ц а — по библии, ангел, низвергнутый с неба за гордыню и злость. У г л ь п р е в р а щ а е т с я в а л м а з... — На рубеже XIX—XX вв. проблема искусственного образования алмаза обсуждалась в научных кругах.

Два века (стр. 159). Н е й р а с т е н и я — старая форма слова «неврастения». С п л и н — уныние, хандра. С п и ч — краткая торжественная речь. Р е н т а — нетрудовой доход с денежного капитала, имущества или земли. Р е к а м ь е Жюли (1777—1849) — жена парижского банкира; в ее салоне собирались политические и литературные деятели, оппозиционно настроенные по отношению к Наполеону I, который в конце концов выслал ее из Парижа. П о д з н а к о м р а в е н с т в а и б р а т с т в а... — Блок вспоминает лозунги французской буржуазной революции XVIII в., которыми буржуазия лицемерно прикрывала свои «темные дела». Р о л а н д — герой французского средневекового эпоса «Песнь о Роланде». Л ю ц и ф е р — в христианской мифологии дух зла, сатана. К о м е т ы г р о з н о й... — Имеется в виду яркая комета (комета Галлея), период обращения которой вокруг солнца равен 76 годам. Последний раз она наблюдалась в 1910 г. и вызвала толки об угрозе существования Земли. Б е з ж а л о с т н ы й к о н е ц М е с с и н ы... — 28 декабря 1908 г. южноитальянский город Мессина был разрушен сильнейшим землетрясением, во время которого погибло свыше 100 000 человек.

[Вступление во вторую главу]. «В те годы дальние, глухие...» (стр. 161). П о б е д о н о с ц е в К. П. (1827—1907) — реакционный государственный деятель, олицетворявший полицейский режим и черносотенную политику царского правительства, один из воспитателей будущих императоров Александра III и Николая II. Ш т ы к с в е т и л, п л а к а л и к у р а и т ы... — Имеется в виду шпиль Петропавловского собора и куранты на колокольне этого собора. О с т р о в а — парк в Петербурге, расположенный на островах в дельте Невы. В о с т о к а с т р а ш н а я з а р я... — Речь идет о русско-японской войне 1904—1905 гг. И ц а р ь — о г р о м н ы й, в о д я н и с т ы й... — Александр III. «К н я з ь» — пренебрежительное название в дореволюционной России татарина-старьевщика. С ф и н к с — один из двух древнеегипетских

сфинксов, установленных в 1834 г. на набережной Невы. **Д е р ж а в н ы й**
О с н о в а т е л ь — Петр I. **В ы м п е л** — длинный, с разрезом на конце флаг,
поднимаемый на военном судне.

«Когда ты загнан и забит...» (стр. 164). **Б р а н д** — герой одноименной
драмы Г. Ибсена (1866), воплощение идей религиозного аскетизма, подвижни-
чества и бунтарства.

ДВЕНАДЦАТЬ

(Стр. 165—175)

Поэма Блока является первым в мировой литературе художественным
откликом на Октябрьскую революцию и крушение старого мира. «Двенадцать»
были созданы за крайне короткий срок. Первое упоминание о работе над
поэмой относится к 8 января 1918 г., а 28 января она была уже закончена.
На следующий день Блок записывает: «Сегодня я — гений». Вскоре, 18 фев-
раля (3 марта по новому стилю), поэма была опубликована в петроградской
газете «Знамя труда». При жизни Блока неоднократно переиздавалась, в том
числе и за границей в переводах на французский, немецкий, итальянский,
английский, польский, болгарский и другие языки. Блок вспоминал: «Во время
и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом,
большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого
мира)... Поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую пору, когда
проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях —
природы, жизни и искусства... Моря природы, жизни и искусства разбушева-
лись, брызги встали радугою над нами. Я смотрел на радугу, когда писал
«Двенадцать». Тогда же, в 1920 г., Блок сказал одному из своих собеседни-
ков: «Двенадцать»... — это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил
современностью». Однако уже в феврале — марте 1918 г. Блок выражает
сомнение в убедительности и правомерности финального образа Иисуса Христа
в поэме. В дневнике Блок записывает: «Разве я «восхвалял»? (Христа)
Я только констатировал факт: если взглянуть в столбы мятели на этом пути,
то увидишь «Иисуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женст-
венный призрак».

У ч р е д и т е л ь н о е с о б р а н и е. — Выборы в Учредительное собра-
ние проходили в ноябре 1917 г. по положению, выработанному еще комиссией
Временного правительства; поэтому большинство избранных оказалось каде-
тами, эсерами и меньшевиками. Однако большевики пошли на созыв Учреди-
тельного собрания, открывшегося в Петрограде 5 (18) января 1918 г., чтобы
показать массам его контрреволюционную сущность. Эта тактика себя оправда-
ла. Ввиду того, что Учредительное собрание отказалось подтвердить декреты
о мире, о земле, о переходе власти к Советам, решением ВЦИК оно было
распущено 6 (19) января того же года. **В и т и я.** — Образом краснобая-писа-
теля Блок как бы предвосхитил выступления тех злобствующих против Совет-
ской власти буржуазных литераторов, которые отвернулись от него после
издания поэмы «Двенадцать»... **И у н а с б ы л о с о б р а н и е...** — Блок вы-
смеивает продажность буржуазии с ее демагогическим лозунгом Учредитель-
ного собрания. **Б у б н о в ы й т у з** — красный четырехугольник, нашивавший-

ся на спину одежды арестанта, осужденного на каторжные работы. К е р е н к и — разговорное название бумажных денег, достоинством в 20 и 40 рублей, выпущенных в 1917 г. Временным правительством, когда его возглавлял Керенский. Б ы л В а н ь к а н а ш... — то есть красногвардеец. Р е в о л ю ц и о н н ы й д е р ж и т е ш а г! — В статье «Как делать стихи?» Маяковский приводит эту строчку поэмы Блока как образец агитационного стиха, воздействующего «на толпы революции». К о н д о в ы й — старинный, исконный. К а к п о ш л и н а ш и р е б я т а... — В основу этой строфы положена русская народная песня. М ы н а г о р е в с е м б у р ж у я м м и р о в о й п о ж а р р а з д у е м — это двестише было использовано в плакате, выпущенном к первой годовщине Октябрьской революции. Л и х а ч — извозчик с щегольским экипажем и хорошей резвой лошастью. Н е с л ы ш н о ш у м у г о р о д с к о г о, н а д Н е в с к о й б а ш н е й т и ш и н а — слова популярного народного романса, литературным источником которого послужило стихотворение поэта пушкинской поры Ф. Н. Глинки (1786—1880) «Песнь узника». Н е в с к а я б а ш н я — здание бывшей городской думы на Невском проспекте в Петербурге, увенчанное башней. В стихотворении Глинки: «В заневских башнях тишина!» (то есть на бастионах Петропавловской крепости). В п е р е д, в п е р е д, в п е р е д, р а б о ч и й н а р о д! — вариация слов революционной песни «Варшавянка» (1897, вольный перевод с польского Г. М. Кржижановского): «Марш, марш вперед, рабочий народ!»

СКИФЫ

(Стр. 175—177)

Стихотворение написано сразу же после окончания поэмы «Двенадцать» как отклик на начало мирных переговоров с немцами в Брест-Литовске. 11 января 1918 г. Блок записывает в дневнике: «Но позор 3½ лет («война», «патриотизм») надо смыть. Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним».

Эпиграф — неточная цитата из стихотворения Вл. С. Соловьева (См. примеч. к стр. 34) «Панмонголизм». П а н м о н г о л и з м — разработанное им реакционное учение о неизбежном столкновении европейского Запада с азиатским Востоком. Блок дает полемическое переосмысление этого положения, противопоставив революционную Советскую Россию буржуазному Западу, и призывает народы к миру и братству. П р о в а л Л и с с а б о н а — 1 ноября 1755 г. столица Португалии Лиссабон была разрушена сильнейшим землетрясением; отстроена заново в конце XVIII в. М е с с и н а — см. примечание к поэме «Возмездие» («Два века»). К р ы л а м и б ь е т б е д а — поэтический образ, заимствованный из «Слова о полку Игореве». П е с т у м. — Имя этого города на юго-западе Италии (ныне Песто) символизировало в античности роскошь беззаботного существования. Римские поэты (Вергилий, Овидий, Марциал) писали, что «розы Пестума цветут дважды в год». В IX в. был захвачен и разрушен арабами. Э д и п — в древнегреческой мифологии сын фиванского царя, разгадавший загадку фантастического чудовища Сфинкса и таким образом спасший Фивы. Г а л л ь с к и й — французский. П а р и ж с к и х у л и ц

а д.— В этом образе слились воедино и революционное прошлое Парижа и впечатления от исключительно жаркого лета 1911 г., когда Блок был в Париже. К е л ь н — один из крупнейших промышленных городов Западной Германии. Г у н н — представитель тюркского кочевого племени, которое в IV в. двинулось из Азии на захват Европы и дало толчок так называемому Великому переселению народов; в переносном смысле — варвар, разрушитель культуры.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

Пушкинскому Дому (стр. 178). Последнее законченное стихотворение Блока. Написано по случаю 84-й годовщины со дня смерти Пушкина и торжественного чествования его памяти, на котором Блок выступил с речью «О назначении поэта». П у ш к и н с к и й Д о м — основанный в 1905 г. в Петербурге музей и центр пушкиноведения, вошедший после Октябрьской революции в состав Академии наук и преобразованный позднее в Институт русской литературы АН СССР. Д р е в н и й С ф и н к с — см. примечание к поэме «Возмездие» («В те годы дальние, глухие...»). В с а д н и к б р о н з о в ы й — памятник Петру I работы Э. Фальконе на Сенатской площади (ныне — площадь Декабристов). Т а й н а я с в о б о д а — слова Пушкина из стихотворения «К Н. Я. Плюсковой». П л о щ а д ь С е н а т а.— В 1921 году Пушкинский Дом помещался в главном здании Академии наук, расположенном по другую сторону Невы, почти напротив площади Сената.

ИЗ ПЕРЕВОДОВ

БАЙРОН

Блок переводил стихи Байрона по заказу профессора С. А. Венгерова, который готовил к изданию русское «Полное собрание сочинений» английского поэта. Из переведенных Блоком пятнадцати стихотворений наиболее известны два, публикуемые в настоящей книге.

Из дневника в Кефалонии (стр. 179). Байрон написал это стихотворение, ставшее его поэтическим завещанием и своеобразным итогом творчества, перед отплытием в Грецию, где он принял участие в национально-освободительной борьбе греческого народа против турецкого ига и где умер 19 апреля 1824 г. Впервые опубликовано только в 1901 г. К е ф а л о н и я — остров в Ионическом море у берегов Греции, где в 1823 г. Байрон останавливался на пути в Грецию. Стихотворение предпослано в качестве эпиграфа дневнику, который поэт вел на этом острове.

Песнь к сулиотам (стр. 179). Воинственная «Песнь к сулиотам» Байрона — это боевой призыв, обращенный к албанским воинам-горцам (сулиотам), которые в XVIII—XIX вв. героически боролись за свою свободу против турецкого ига. Б а у а — воинственный клич сулиотов (примечание Байрона). С т р а т и о т ы — воины.

Блок неоднократно обращался к переводам поэзии великого немецкого поэта Генриха Гейне (1797—1856). По поводу перевода стихотворения «Не знаю, что значит такое...» Блок писал С. А. Венгерову 19 ноября 1909 г.: «Позвольте предложить Вам для Сборника Литературного фонда этот мой перевод знаменитой «Лорелеи». Решаюсь остановиться именно на этом стихотворении, так как в нем мне удалось, кажется, передать все тонкости размера, и, насколько я знаю, впервые». Ранее это стихотворение переводили К. Павлова, М. Михайлов, Л. Мей, П. Вейнберг, А. Майков и др.

«Не знаю, что́ значит такое...» (стр. 180) — одно из самых известных стихотворений Гейне (входит в цикл «Снова на родине», 1823—1824), переложенное рядом композиторов на музыку и популярное в народе. Фашисты, запретившие сочинения Гейне в Германии, печатали его «Лорелею» как песню «неизвестного автора». Л о р е л е я — русалка, губившая своим пением всех, плывших мимо ее утеса на Рейне.

АВЕТИК ИСААКЯН

Исаакян Аветик Саакович (1875—1957) — классик армянской литературы, стихи которого Блок переводил для антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», вышедшей в свет в 1916 г. под редакцией В. Я. Брюсова.

«Караван мой бренчит и плетется...» (стр. 181). Д ж а н — милая.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

(Стр. 182—190)

Статья Блока, открыто ставшего на сторону Октябрьской революции, была враждебно встречена буржуазной прессой и некоторыми контрреволюционно настроенными литераторами (например, З. Гиппиус), расценившими первое публичное выступление поэта в советской печати (статья опубликована 19 января 1918 г. в петроградской газете «Знамя труда», где месяц спустя была впервые напечатана поэма «Двенадцать») как «стрельбу по своим». «Господа,— отвечал им Блок,— вы никогда не знали России и никогда ее не любили! Правда глаза колет». Одним из первых поддержал Блока нарком просвещения молодой Советской Республики А. В. Луначарский.

«О п о я с а н н а я б у р е й» — слова английского писателя и историка Томаса Карлейля (1795—1881) об американской революции XVIII в. из его книги «История французской революции» (1837), глава V. Т о с к а, у ж а с, п о к а я н и е, н а д е ж д а — настроения и мысли, о которых говорит Блок, нашли свое отражение во многих его стихотворениях 1908—1914 гг. В и т т е С. Ю. (1849—1915) — царский министр, в 1905—1906 гг. — премьер-министр, руководивший разгромом революции 1905 г. Д у р н о в о П. Н. (1845—

1915) — министр внутренних дел в кабинете Витте, один из наиболее реакционных представителей царской бюрократии, принимавший самые жестокие меры для разгрома революции 1905 г. **С т о л ы п и н П. А.** (1862—1911) — министр внутренних дел и премьер-министр с июля 1906 г.; руководил после отставки Витте подавлением первой русской революции. С его именем связан период столыпинской реакции, во время которой свирепствовали военно-полевые суды и широко применялась смертная казнь. **Р а с п у т и н Г. Е.** (Новых) (1865—1916) — авантюрист, подвизавшийся при дворе Николая II. Выдавая себя за «провидца» и «исцелителя» больного наследника престола Алексея, Распутин пользовался благосклонностью царской семьи и добился неограниченной свободы в решении государственных дел. Распутинщина явилась выражением крайнего разложения правящих верхов царской России. Убит в декабре 1916 г. группой монархистов. **А з е ф Е. Ф.** (1869—1918) — один из лидеров партии эсеров, провокатор, тайный агент царской охраны. Разоблачен в 1908 г., но скрылся за границей. **Ф о к к е р** — самолет-истребитель германской армии времен первой мировой войны. **В с п о м и н а ю т с я с л о в а Т ю т ч е в а...** — Приведенные строки взяты из стихотворения Федора Ивановича Тютчева (1803—1873) «Цицерон», написанного, по-видимому, под впечатлением известий об Июльской революции 1830 г. во Франции. «**Н а с о л н ц е , п о д с к а л о ю**» — Блок пересказывает заключительную часть стихотворения Пушкина «Арион». «**Р а з о р в а н н ы й в е т р о м в о з д у х**». — Имеется в виду завершающее первый том «Мертвых душ» Н. В. Гоголя описание «птицы-тройки», будущего России. «**Н е и з ъ я с н и м ы н а с л а ж д е н ь я**» — пушкинские строки из трагедии «Пир во время чумы». «**П р е к р а с н о е т р у д н о**» — заключительные слова Сократа в диалоге древнегреческого философа и писателя Платона «Гиппий Большой». «**Т о , ч е г о н е т н а с в е т е**» — из «Песни» Гиппиус: «Мне нужно то, чего нет на свете». **Ф о м а Н е в е р н ы й** (неверующий) — нарицательное имя человека, во всем сомневающегося. Выражение возникло из евангельской легенды. **Д е л и к т** — юридический термин, означающий правонарушение. **Л и б е р а л ь н о г о «а б л а к а т а»** описал Достоевский — Блок имеет в виду образ адвоката Фетюковича из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». «**С о в е р ш е н н а я л ю б о в ь и з г о н я е т с т р а х**» — евангельское выражение. «**Н е т р о н ь м о и х ч е р т е ж е й**» — возглас великого физика и математика древности Архимеда (287—212 до н. э.), которым он встретил ворвавшихся в его дом в Сиракузах (Сицилия) римских воинов. По преданию, Архимед был убит в тот момент, когда чертил на полу, посыпанном песком, геометрические фигуры. **Н а д м е в а ю т с я** — кичатся, раздуваются спесью. **Д о г м а т и к а** — система догматов — положений, принимаемых на веру и составляющих основу какой-либо религии, вероучения. **А д о г м а т и ч е с к и й** — отрицающий догматику. Противоречивым сочетанием этих понятий Блок иронически подчеркивает отсутствие у буржуазной интеллигенции твердых убеждений. **Д е м о н** некогда повелел Сократу слушаться духа музыки. — Имеются в виду слова из диалога Платона «Федон», в котором рассказывается о последних часах жизни великого философа Древней Греции Сократа (469—399 до н. э.).

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Избранные стихотворения Сергея Александровича Есенина (1895—1925) расположены в хронологическом порядке. В основу настоящего издания положены тексты произведений Есенина, напечатанные в Собрании сочинений в пяти томах (М., «Художественная литература», 1961—1962) и переизданные в повторном выпуске этого Собрания сочинений в 1966—1968 гг.

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Выткался на озере алый свет зари...» (стр. 194). П е р е с у д у н е т — нет дела до сплетни. Ф а т а — легкое женское покрывало, обычно свадебный головной убор.

«Матушка в Купальницу по лесу ходила...» (стр. 195). К у п а л ь н и ц а — народное название ночи накануне праздника Ивана Купалы (24 июня, 7 июля по новому стилю). Т р а в ы в о р о ж б и н ы е — по народному поверью, многие травы в Купальницу приобретают колдовскую или целебную силу. Н е д о з н а м о п е ч е н и с у д о р г а с х в а т и л а — не от печени судорога схватила. С у т е м е н ь — вечерние сумерки.

Береза (стр. 196) — первое напечатанное стихотворение Есенина (1914, журнал «Мирок»).

В хате (стр. 197). Д р а ч е н ы — кушанье из запеченной смеси яиц, молока, масла и муки или картофеля. Д е ж к а — кадка, в которой заквашивают и месят тесто. П е ч у р к а — углубление в боковой части русской печи. М а х о т к а — небольшой глиняный горшок.

«Гой ты, Русь, моя родная...» (стр. 197). К о р о г о д — хоровод. Л е х и — полевые полосы.

«Край ты мой заброшенный...» (стр. 198). П р у т н и — кустарник.

«Черная, потом пропахшая выть!..» (стр. 199). В ы т ь — участок пахотной земли, принадлежащий крестьянину. В е р е т ь е — грубая ткань, изготовленная из льна и пеньки. Т а г а н — треножник, козлы, к которым подвешивается котел при приготовлении пищи на открытом огне. К у к а н — островок, появляющийся во время спада воды в реке.

Русь (стр. 199). На обороте автографа стихотворения рукой Есенина даны объяснения ряда слов: В п о г о р а ю щ е м и н е е — облетающем, исчезающем инее. З а с т р е х а — полукрыша, намет соломы у карниза. Ш а л ь п у р г и — снежный смерч (вьюга). Б л а с т — видение. Есенин говорил известному литературоведу И. Н. Розанову о своих стихах, посвященных войне: «Я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «гром победы раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан».

«В том краю, где желтая крапива...» (стр. 202). С в е й — дорожная пыль или песок, сбитые ветром.

Песнь о собаке (стр. 204). О чтении Есениным этого стихотворения рассказывает А. М. Горький: «Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят...

— А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье,— молвил Есенин задумчиво и тихо... пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатались глаза собачьи
Золотыми звездами в снег —

на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих слов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей», любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком».

Лисица (стр. 206). Р е м и з о в Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель, с которым Есенин познакомился в 1915 г. В 1921 г. эмигрировал из Советской России, в конце жизни принял советское подданство. П р о ш в а — прошивка, узкая полоска. Б л а с т и л с я — мерещился. Ж е л н а — черный дятел. О щ у р — оскал зубов.

«Разбуди меня завтра рано...» (стр. 207). Есенин говорил, что стихотворение явилось первым его откликом на Февральскую революцию.

«Зеленая прическа...» (стр. 208). Посвящено Л. И. К а ш и н о й — дочери помещика из Константинова, родного села поэта, где и было написано это стихотворение. Л. И. Кашина, по воспоминаниям сестры поэта А. А. Есениной, явилась прототипом Анны Снегиной.

Кантата (стр. 210). Написана в первую годовщину Октября, к открытию на Красной площади барельефа работы С. Т. Коненкова в память погибших героев революции. На церемонии открытия присутствовал В. И. Ленин. Хором и оркестром была исполнена кантата, состоявшая из трех частей. Первая часть была написана поэтом Пролеткульта М. П. Герасимовым, вторая — Есениным, третья — крестьянским поэтом С. А. Клычковым.

Небесный барабанщик (стр. 210). Стихотворение посвящено Л. Н. С т а р к у (Рябовскому), поэту и журналисту дооктябрьской «Правды», редактору газеты «Советская страна», где в 1919 г. печатался Есенин. Н ы н ч е л у н у с в о д ы л о ш а д и в ы п и л и — образ, навеянный детскими впечатлениями. В одной из автобиографий он вспоминает, как с дядей ездил на Оку поить лошадей: «Ночью луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось, что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами отплывала от их ртов». Б е л о е с т а д о г о р и л л — так поэт называет белые армии контрреволюции.

«Теперь любовь моя не та...» (стр. 213). К л ю е в Николай Алексеевич (1887—1937) — крестьянский поэт, с которым Есенин познакомился в 1915 г. Т е б е о с о л н ц е н е п р о п е т ь...— В сборнике «Скифы» (№ 2 за

1918 г.) рядом со стихами Есенина была напечатана «Песнь Солнценосца» Клюева, насыщенная религиозной символикой и лексикой церковного обихода. Критик Р. В. Иванов-Разумник и поэт А. Белый в статьях, напечатанных в том же сборнике, дали неоправданно высокую оценку Клюеву, что вызвало возмущение Есенина.

«Закружилась листва золотая...» (стр. 213). М о р д о й м е с я ц а с е н о ж е в а т ь... — Есенин исходит из образности народных загадок и поговорок, в которых месяц сравнивается с конем.

Из «Сорокоуста» (стр. 215). С о р о к о у с т — молитвы об умершем, которые читаются в течение сорока дней после смерти. С к а ч е т к р а с н о г р и в ы й ж е р е б е н о к... — В одном из писем (август 1920) Есенин рассказывает: «Трогает меня... только грусть за уходящее милое родное звериное и незблемая сила мертвого, механического. Вот Вам наглядный случай из этого. Ехали мы от Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни...»

«Я последний поэт деревни...» (стр. 216). М а р и е н г о ф Анатолий Борисович (1897—1962) — поэт.

«Все живое особой метой...» (стр. 216). Не следует буквально понимать строки:

Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Почти в таких же словах Есенин говорил о Гамлете: «Но если б теперь он жил, то был бы бандит и вор». Та же поэтическая условность выступает в строках о ветре:

Плюйся, ветер, охапками листьев,—
Я такой же, как ты, хулиган.

«Не жалею, не зову, не плачу...» (стр. 217). С. А. Толстая-Есенина пишет: «Есенин рассказывал, что это стихотворение было написано под влиянием одного из лирических отступлений в «Мертвых душах». Иногда полушутя прибавлял: «Вот меня хвалят за эти стихи, а не знают, что это не я, а Гоголь. Несомненно, что место в «Мертвых душах», о котором говорил Есенин,— это вступление к шестой главе, которое заканчивается словами: «...что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! О моя свежесть!» Те же мотивы встречаем в стихотворении «Этой грусти теперь не рассыпать...»

«Я обманывать себя не стану...» (стр. 218). Т в е р с к о й о к о л о т о к — имеется в виду центральный район Москвы, располагавшийся вокруг Тверской улицы (ныне ул. Горького) и Тверского бульвара.

«Заметался пожар голубой...» (стр. 220). Этим стихотворением открывался

цикл «Любовь хулигана», в который входило также шесть последующих стихотворений. Цикл посвящен актрисе московского Камерного театра Августе Леонидовне Миклашевской (1891—1978), с которой поэт познакомился в августе 1923 г.

«Годы молодые с забубенной славой...» (стр. 226). Стихотворение написано во время пребывания Есенина в больнице в связи с операцией руки.

Письмо матери (стр. 227). Мать поэта — Татьяна Федоровна Есенина (1875—1955). Ш у ш у н — верхняя женская одежда (телогрейка, кофта).

«Мы теперь уходим понемногу...» (стр. 228). Стихотворение написано на смерть крестьянского поэта Александра Васильевича Ширяевца (псевдоним А. В. Абрамова, 1887—1924), близкого друга Есенина.

Возвращение на родину (стр. 228). В августе 1923 г. Есенин вернулся на родину после поездки по Европе и Америке. Стихотворение написано под впечатлением посещения родных мест в мае 1924 г. и наряду со стихотворениями «Русь советская» и «Русь уходящая» свидетельствует о новом отношении поэта к советской деревне. Критика отмечала также «ясность пушкинского реализма» в этих стихах. К у к о л ь н и, к у к о л ь — сорняк с малиново-розовыми цветами, растущий среди злаков. П о - б а й р о н о в с к и н а ш а с о б а ч о н к а меня встречала с лаем у ворот... — Имеется в виду «Прощание Чайльд Гарольда» из первой песни поэмы Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда», где говорится о псе, забывшем своего хозяина.

Пушкину (стр. 231). Написано к 125-летию со дня рождения Пушкина. 6 июня 1924 г. Есенин прочитал стихотворение на митинге у памятника Пушкину на Тверском бульваре в Москве. Отвечая на анкету, проводившуюся в связи с этим юбилеем, Есенин писал: «Пушкин — самый любимый мною поэт. С каждым годом я воспринимаю его все больше и больше, как гения страны, в которой я живу». В автобиографии 1925 г. он отмечал: «В смысле формального развития теперь меня тянет все больше к Пушкину». С у м е л о б р о н з о й п р о з в е н е т ь. — В 1972 г. в Москве на Есенинском бульваре открыт памятник Есенину.

Русь советская (стр. 233). С а х а р о в Александр Михайлович (1894—1955) — издательский работник, товарищ Есенина, с которым он ездил в мае 1924 г. в Константиново. Б у д е н н ы й Семен Михайлович (1883 — 1973) — герой гражданской войны, Маршал Советского Союза, командовавший легендарной Первой Конной армией. Д е м ь я н Б е д н ы й (псевдоним Е. А. Придворова, 1883—1945) — русский советский поэт. В годы гражданской войны агитационные стихи и песни Демьяна Бедного играли огромную роль, поднимая дух красноармейцев и разоблачая классовых врагов. Особенно популярна стала его песня «Как родная меня мать провожала...».

«Издатель славный! В этой книге...» (стр. 235). Стихотворение адресовано И. И. Ионову (1877—1942), в те годы директору Ленинградского Госиздата, где в 1924 г. предполагалось издание сборника стихов Есенина «Ржаной путь».

Баллада о двадцати шести (стр. 236). Написана и опубликована в Баку к шестой годовщине со дня расстрела эсерами и английскими интервентами 26 революционных деятелей Закавказья, в их числе председателя Бакинского Совнаркома и члена ЦК Коммунистической партии, чрезвычайного комиссара

Советского правительства по делам Кавказа С. Г. Шаумяна (1878—1918), наркома внутренних дел, председателя Бакинского Совета П. А. Джапаридзе (1880—1918), комиссара по делам народного хозяйства И. Т. Фиолетова (1884—1918), наркома по военно-морским делам Г. Н. Корганова (1886—1918), наркома труда Я. Д. Зевина (1888—1918), наркома земледелия М. Г. Везирова (1889—1918) и других партийных, советских и военных работников. Они были расстреляны на 207-й версте близ Красноводска, между станциями Перевал и Ахча-Куйма Закаспийской железной дороги. В сентябре 1920 г. останки бакинских комиссаров были перевезены в Баку и торжественно захоронены на площади, получившей название «Площадь 26-ти бакинских комиссаров», где в 1968 году сооружен пантеон. О выступлении Есенина в Баку с чтением этого стихотворения П. И. Чагин вспоминал: «Помню, с каким вдохновением Сергей Есенин читал эту свою знаменитую «Балладу» у памятника двадцати шести и какой бурной овацией наградили его бакинские рабочие». Я к у л о в Георгий Богданович (1884—1928) — художник и скульптор, работавший в начале 20-х годов над проектом памятника бакинским комиссарам. Есенин посещал мастерскую Якулова, принимал участие в обсуждении проекта.

Стансы (стр. 243). Чагин Петр Иванович (1898—1967) — участник Октябрьской революции, во время посещения Есениным Баку был вторым секретарем ЦК КП Азербайджана и редактором газеты «Бакинский рабочий», где были опубликованы многие стихи Есенина 1924—1925 гг.; в последующие годы — директор ряда издательств: АН СССР, «Художественная литература», «Московский рабочий», «Советский писатель», автор воспоминаний о Есенине. В 1925 г. в Баку вышла книга Есенина «Русь советская» с предисловием Чагина. Т н г у л е в к а — «холодная», арестантское помещение. Д е м ь я н а м.— Имеется в виду Демьян Бедный, выступивший в печати с резкой статьей против Есенина.

Письмо к женщине (стр. 248). Х в а л а и с л а в а р у л е в о м у! — Возникающий в этом стихотворении образ В. И. Ленина получил дальнейшее развитие в стихотворении «Капитан земли». П о п у т ч и к и — так назывались в 20-х и начале 30-х гг. советские писатели, выходцы из непролетарской среды. В связи с роспуском всех литературных группировок в 1932 г. и созданием единого Союза писателей СССР термин «попутчики» постепенно исчез. По воспоминаниям современников, Есенин говорил об этом стихотворении: «Я пишу: «В своей стране я самый яростный попутчик...» И я здесь под словом «попутчик» разумею соратника, спутника, друга в пути, в делах, в намеченной цели» («Звезда», 1958, № 2, стр. 171).

Поэтам Грузии (стр. 250). В стихотворении отразились традиционные дружеские отношения грузинских и русских поэтов. Во время посещения Тифлиса (Тбилиси) Есенин близко сошелся с группой грузинских поэтов. Г о л у б ы е р о г и.— Речь идет о литературной группировке грузинских поэтов «Голубые роги» (1916—1930), участники которой испытали влияние западноевропейского символизма.

ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ

Цикл «Персидские мотивы» создан Есениным в период с осени 1924 г. по август 1925 г. в результате трех поездок по Грузии и Азербайджану, встреч и бесед в Тифлисе, Батуми и Баку. В Персии Есенин никогда не бывал. Журналист Н. К. Вержбицкий вспоминает: «Подвернулся мне томик — «Персидские лирики X—XV веков» в переводе академика Корша. Я взял его домой почитать. А потом он оказался в руках Есенина, который уже не хотел расставаться с ним. Что-то глубоко очаровало поэта в этих стихах. Он ходил по комнате и декламировал Омара Хайяма». Первое издание сборника «Персидские мотивы», вышедшее в мае 1925 г., было посвящено П. И. Чагину, в те годы редактору газеты «Бакинский рабочий», где впервые печаталось большинство стихотворений этого цикла. Тогда же на даче Чагина близ Баку Есенин читал эти стихи С. М. Кирову.

Персия — название Ирана, употреблявшееся до 1935 года, когда это государство стали официально именовать Ираном.

«Я спроеил сегодня у менялы...» (стр. 257). Полтумана — туман (томан) — персидская золотая монета XIX в., исчезнувшая из обращения с начала XX в. и ставшая предметом торговли на рынках Ирана.

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» (стр. 258). Шаганэ — Шаганэ Нерсесовна Тальян (р. 1900), в те годы преподавательница литературы в одной из школ Батума. Есенин познакомился с ней в этом городе зимой 1924/25 гг. Имя Шаганэ упоминается и в некоторых других стихотворениях цикла «Персидские мотивы», иногда в уменьшительной форме — Шага. Шираз — город на юге Ирана. В письме Г. А. Бениславской из Баку Есенин писал: «Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И не даром мусульмане говорят: если он не поет, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза». Эту поговорку Есенин использовал в «Персидских мотивах» в стихотворении «Руки милой — пара лебедей...».

«Ты сказала, что Саади...» (стр. 258). Саади — крупнейший персидский поэт XIII века.

«Свет вечерний шафранного края...» (стр. 260). Хаям. — Имеется в виду великий персидский и таджикский поэт и философ Омар Хайям (ок. 1048—1123), автор знаменитых четверостиший (рубаи).

«Воздух прозрачный и синий...» (стр. 261). Пери — в персидской мифологии добрая фея, охраняющая людей от «злых духов». Этот образ прекрасной крылатой женщины в более широком смысле означает женщину пленительной красоты. Гасан. — Имеется в виду азербайджанский поэт XIII—XIV вв. Гасан Оглы Иззеддин, основной темой поэзии которого была любовь. Его лирика служила образцом для многих поколений поэтов, писавших на тюркских языках.

«Золото холодное луны...» (стр. 262). Шахрезада (Шехерезада) — героиня средневековых арабских сказок «Тысяча и одна ночь», мудрая дочь

визиря царя Шахрияра, укротившая его жестокость своими сказками. О ш а ф р а н и т — от слова «шафран».

«В Хороссане есть такие двери...» (стр. 262). Х о р о с с а н (Хорасан) — провинция на северо-востоке Ирана, славящаяся своими коврами.

«Голубая родина Фирдуси...» (стр. 263). Ф и р д у с и (Фирдоуси) Абулькасим (934 — ок. 1020) — великий персидский и таджикский поэт, автор эпоса «Шахнаме». У р у с — восточное произношение слова «русский».

«Быть поэтом — это значит то же...» (стр. 264). П е т ь п о - с в о й с к и, даже как лягушка... — Н. К. Вержбицкий в воспоминаниях приводит рассказ народного певца Йетима Гурджи, с которым Есенин встречался в Тифлисе. «Всякая песня годится, лишь бы она шла от души! — сказал Гурджи Есенину. — Царь Давид хвастался, что его песни больше всего нравятся богу. А бог посмотрел сверху, покачал головой и говорит: «Ишь ты, расхвастался!.. Каждая лягушка в болоте поет не хуже тебя! Посмотри, как она от всей души старается, хочет мне угодить!» И тогда царю Давиду стало стыдно».

«Руки милой — пара лебедей...» (стр. 265). Е с л и п е р с с л а г а е т плохо песнь, значит, он вовек не из Ш и р а з а... — См. примечания к стихотворению «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»

«Голубая да веселая страна...» (стр. 267). Автограф этого стихотворения имеет заглавие «Подражание Омар Хаяму». Г е л и я — шестилетняя дочь П. И. Чагина Роза, с которой Есенин любил играть, когда жил на даче у Чагина; называла себя «Гелия Николаевна».

Капитан земли (стр. 268). Стихотворение впервые опубликовано посмертно в газете «Заря Востока» 21 февраля 1926 г. с примечанием, что оно написано в январе 1925 г. в Батуми накануне годовщины смерти Ленина. Метафорическое сравнение Ленина с капитаном, рулевым революции, близко к образу Ленина, созданному в поэме Маяковского «Владимир Ильич Ленин». А. М. Горький писал в те годы: «На душе тяжело. Рулевой ушел с корабля. Я знаю, что остальная команда — храбрые люди и хорошо воспитанные Ильичем. Знаю, что они не потеряются в сильную бурю».

Собаке Качалова (стр. 270). Народный артист СССР Василий Иванович Качалов (1875—1948), близко знавший Есенина, писал в «Воспоминаниях»: «Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидел Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым басом приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться», — бормотал Есенин с широко раскрывшейся, детски лукавой улыбкой...

Прихожу как-то домой, вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то, Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз».

«*Каждый труд благослови, удача!..*» (стр. 274). Стихотворение написано после того, как Есенин два дня провел на Оке с рыбацкой артелью. Поэт часто посещал родное село Константиново на Оке и всегда возвращался с новыми произведениями.

«*Я красивых таких не видел...*» (стр. 279). Это стихотворение и два последующих посвящены сестре Есенина — Александре Александровне.

«*Мелколесье. Степь и дали...*» (стр. 284). В е н к а — венская двухрядная гармоника.

«*До свиданья, друг мой, до свиданья...*» (стр. 288). Последнее стихотворение Есенина, написанное накануне смерти в ленинградской гостинице «Англетер», где в ночь с 27 на 28 декабря он покончил жизнь самоубийством. Утром 27 декабря Есенин хотел записать это стихотворение, но в гостинице не оказалось чернил, он разрезал себе руку и написал стихи кровью.

В статье «Как делать стихи?» Маяковский рассказывает, как по прочтении предсмертных стихов Есенина, исполненных пессимизма, у него возникла идея полемики с ними. «Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подраसेялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные стихи:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

Сразу стало ясно, скольких колеблющихся этот сильный стих, именно стих, подведет под петлю и револьвер.

И никакими, никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь.

С этим стихом можно и надо бороться стихом, и только стихом» (см. стихотворение Маяковского «Сергею Есенину»).

ПОЭМЫ

ЛЕНИН

(Стр. 289—291)

Первый замысел Есенина воплотить в поэзии образ Ленина относится к зиме 1921/22 гг. К первой годовщине смерти В. И. Ленина поэт написал

стихотворение «Капитан земли»; к ленинской теме он обращался и в других произведениях этих лет («Анна Снегина», «Песнь о великом походе» и др.). Подзаголовок «Отрывок из поэмы «Гуляй-поле» связан с замыслом, возникшим зимой 1921/22 гг. (село Гуляй-поле было центром махновщины в годы гражданской войны). По первоначальному плану Есенин предполагал дать широкую панораму революционных событий в России, показать героические эпизоды гражданской войны. Одним из главных действующих лиц произведения должен был стать Ленин. Однако в ту зиму поэма не была написана. Тем не менее мысль о поэме не оставляла Есенина. Одной из причин, побудившей его вновь вернуться к своему замыслу, была смерть Ленина. С. А. Толстая-Есенина пишет: «Смерть Ленина произвела на поэта огромное впечатление. Он выпросил через друзей корреспондентский билет одного из сотрудников «Правды» и несколько часов провел в Колонном зале у гроба вождя». В сентябре 1924 г. поэт читал отрывок «Ленин» в одном из бакинских клубов. После выступления Есенина, вспоминает Н. К. Вержбицкий, «несколько секунд стояла напряженная тишина. А потом вдруг все сразу утонуло в грохоте рукоплесканий. Потом просили читать еще и еще... многие встали с мест и обступили сцену, не сводя глаз с Есенина. Задние ряды тоже поднялись и хлынули...»

АННА СНЕГИНА

(Стр. 291—311)

Поэма посвящена литературному критику Александру Константиновичу Воронскому (1884—1943), редактору журналов «Красная новь» и «Прожектор», в которых часто печатался Есенин. В поэму введены названия села рязанщины Радово и деревни Криуши, в лирических сценах отразились константиновские пейзажи. О прообразе героини поэмы Л. И. Кашиной см. примечание к стихотворению «Зеленая прическа...».

К а л и ф с т в о в а л К е р е н с к и й.— Есенин подчеркивает непрочность власти главы буржуазного Временного правительства А. Ф. Керенского («калиф на час»). Б у л д ы ж н и к — буян, озорник. Н а и с п о д — наизнанку. Л я о я н — имеется в виду Ляоянское сражение в августе 1904 г. в районе г. Ляоян (Северо-Восточный Китай) во время русско-японской войны, где царская армия, возглавляемая бездарными военачальниками, потерпела поражение. П о р т - А р т у р.— Героическая оборона крепости Порт-Артур в течение 1904 г. завершилась предательской сдачей крепости японцам на 329-й день после начала войны генералом Стесселем. С и в у ш н ы й — водочный (сивуха — плохо очищенная хлебная водка, самогон). Н е р ч и н с к и Т у р у х а н — при царизме места политической ссылки революционеров в Забайкалье и на севере Енисейской губернии. «К е р е н к и» — бумажные деньги, выпущенные в 1917 году Временным правительством, возглавлявшимся Керенским. «Х о д я» — уничижительное название китайцев (здесь: китай-

ских денег). Ф е ф е л а — здесь: нерасторопный, несообразительный человек. «К а т ь к и» — сторублевые кредитные билеты царского времени с изображением Екатерины II.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

ЖЕЛЕЗНЫЙ МИРГОРОД

(Стр. 311—318)

Есенин — первый советский поэт, посетивший США. Впечатления от этой поездки (1922—1923) получили отражение в очерке, само название которого свидетельствует об отношении поэта к Америке: индустриальное начало сочетается с духовным захолустьем.

Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки.— В мае 1922 г. Есенин и американская танцовщица Айседора Дункан (1878—1927) вылетели из Москвы в Кенигсберг и на другой день прибыли в Берлин, где провели май — июнь, выезжая в Веймар, Франкфурт и Висбаден. В июле Есенин посетил Бельгию, а затем через Париж направился в Италию, где за одиннадцать дней побывал в Венеции, Риме, Неаполе, Флоренции. Вернувшись в Париж, получил разрешение на въезд в США. Сопровождая А. Дункан в ее турне по Америке, Есенин побывал в ряде городов восточных штатов и Среднего Запада (Нью-Йорк, Бостон, Филадельфия, Чикаго, Милуоки). В феврале 1923 г. Есенин выехал во Францию, в конце июля через Бельгию и Германию возвращается в СССР и 3 августа приезжает в Москву. И м а ж и н и з м — литературная группировка 20-х годов, куда наряду с Есениным входили поэты А. Мариенгоф, В. Шершеневич, А. Кусиков, И. Грузинов, художники Б. Эрдман, Г. Якулов. Основным достоинством поэзии имажинисты считали «образ как таковой», образность стиха. В 1924 г. Есенин, с которым была связана известность имажинизма, заявил о своем выходе из группы, что привело к ее фактическому распаду. «Дым отечества» — то есть родина. Слова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «И дым отечества нам сладок и приятен», являющиеся в свою очередь не вполне точной цитатой из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа»: «Отечества и дым нам сладок и приятен». П о э м ы М а я к о в с к о г о о б А м е р и к е.— Имеется в виду поэма Маяковского «150 000 000». У р б а н и с т ы — сторонники направления в литературе и искусстве, воспевающего жизнь большого промышленного капиталистического города. В а ш и «к у з н и ц ы» и в а ш и «л е ф ы»...— литературные группы 20-х годов: «Кузница», объединявшая пролетарских писателей, и «Леф» (Левый фронт искусств). Участники этих групп уделяли в своем творчестве большое место технике, темам индустриализации. С е й ч а с п р и б е ж и т с в и н ь я, с х в а т и т б у м а г у, и м ы с п а с е н ы! — Есенин вспоминает эпизод из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Есенин не раз называл Н. В. Гоголя своим любимым писателем и использовал заглавие сборника

его повестей «Миргород» в названии своего очерка об Америке. Гардинг Уоррен (1865—1923) — тогдашний президент США, деятельность которого была ознaменована невиданно широкой коррупцией в окружении президента. Правительство Гардинга отказалось допустить советских представителей на Вашингтонскую конференцию 1921—1922 гг. Гайавата — герой эпической поэмы американского поэта Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855), написанной на основе сказаний индейского народа. Лучший русский перевод сделан И. А. Буниным. Загнали догнивать на болота Флориды. — Имеются в виду индейцы племени семиола, которые в середине XIX в. были истреблены, а жалкие их остатки загнаны в непроходимые болота Флориды. Американские войска запятнали себя в этой войне массовыми убийствами индейских женщин и детей. Терпсихора — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница танца; в переносном смысле — искусная танцовщица. «Умри, Денис!..» — выражение употребляется в значении высшей похвалы, часто иронически, и приписывается (без особых на то оснований) князю Потемкину, сказавшему будто после представления комедии Дениса Ивановича Фонвизина (1744 или 1745—1792) «Недоросль»: «Умри, Денис, или больше ничего уже не пиши» (обычно говорится: «Умри, Денис, лучше не напишешь»). Отхожий промысел — сезонная работа в городах или других деревнях, на которую уходили крестьяне, оставляя на время свое хозяйство. Нравственно или безнравственно поставить памятник Эдгару По. — Когда Есенин писал эти строки, минуло три четверти века после смерти великого американского поэта Эдгара Аллана По (1809—1849), но американские хозяева жизни все еще не могли отказаться от легенды о безнравственности поэта: в саду у домика-музея Э. По в Фордхеме (Нью-Йорк), где он провел последние годы своей жизни, к 100-летию юбилею был поставлен бронзовый бюст, однако памятник постоянно подвергался надругательствам и в конце концов был разбит.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

В избранных произведениях Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930) сохранен хронологический принцип расположения материала, примененный самим поэтом в начатом им при жизни десятитомном издании Собрания сочинений. Хронологический принцип выдержан и в циклах «Париж», «Стихи об Америке», «Стихи детям». Стихотворения и проза печатаются по тексту Полного собрания сочинений В. В. Маяковского в тринадцати томах, М., издательство «Художественная литература», 1955—1961. Поэмы печатаются по тексту Собрания сочинений в трех томах, М., издательство «Художественная литература», 1978.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Гимн судье (стр. 322). Описывая в шутливом тоне будто бы далекую и экзотическую страну Перу, поэт обличает в иносказательной форме произвол властей в царской России. *Галера* — старинное военное гребное судно, гребцы которого, осужденные на каторжные работы, военнопленные или рабы, приковывались цепями к скамейкам. Позже слово «галера» стало обозначать каторгу.

Дешевая распродажа (стр. 324). *Морган Джон Пьерпонт-младший* (1867—1943) — американский финансист-миллиардер. *Надеждинская* — улица в Петрограде, где в 1916 г. жил Маяковский (ныне ул. Маяковского).

Себе, любимому, посвящает эти строки автор (стр. 326). «Кесарю — богу богов». — Согласно евангельской легенде, Иисус Христос на вопрос о том, позволительно ли платить налоги кесарю (римскому императору), сказал, указывая на изображение кесаря на монете: «Отдавайте кесарево кесарю, а божие богу». *Голиаф* — легендарный великан, о котором повествуется в Библии.

«Ешь ананасы...» (стр. 327). Написано в сентябре — октябре 1917 г. Позже вошло в текст poem «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!». Маяковский вспоминал: «...Это двестише стало моим любимейшим стихом: петербургские газеты первых дней Октября писали, что матросы шли на Зимний, напевая какую-то песенку: Ешь ананасы и т. д.».

Тучкины штучки (стр. 328). Маяковский рассматривал стихотворение как написанное для детей и предполагал включить его в 1918 г. в сборник стихов для детей, однако издание не было осуществлено.

Хорошее отношение к лошадям (стр. 328). *Кузнецким* — Кузнецкий мост, улица в центре Москвы. *Клешить* — неологизм Маяковского от слова «клеш»: гулять, фланировать, «подметать» тротуары брюками клеш.

Ода революции (стр. 330). Опубликовано к первой годовщине Октябрьской революции. *Блаженный стропила соборы тщетно возносит, пощаду моля...* — Собор Василия Блаженного в Москве, выдающийся памятник русской архитектуры XVI века. В дни боев с контрреволюцией в октябре 1917 г. был поврежден снарядами. «Слава» — русский военный корабль Балтийского флота, геройски сражавшийся 4 (17) октября 1917 г. с германскими кораблями, пытавшимися прорваться в Финский залив для захвата Петрограда; получил 7 прямых попаданий и был затоплен своей командой. *Гельсингфорс* (ныне Хельсинки, столица Финляндии). — Маяковский имеет в виду волнения среди моряков-балтийцев в августе — сентябре 1917 г., сопровождавшиеся расправой над контрреволюционным командованием.

Приказ по армии искусств (стр. 331). Первое из стихотворений Маяковского об искусстве и революции, написанное, когда поэт еще возлагал какие-то надежды на футуристов, принявших Октябрьскую революцию, но не понявших ее политических и культурных задач. *Совдепы* — Советы рабочих и солдатских депутатов.

Левый мари (стр. 332). Одно из известнейших стихотворений Маяков-

ского, переведенное на многие иностранные языки как яркий образец советской поэзии первых лет революции. Поэт впервые читал это стихотворение 17 декабря 1918 г. в Петрограде в Матросском театре бывшего Гвардейского экипажа. «Левый марш» был специально написан для этого выступления, чем и объясняется его подзаголовок «Матросам». С л о в е с н о й н е м е с т о к л я у з е... — то есть не место пустой болтовне. М а у з е р — название систем пистолетов и винтовок (по имени двух немецких конструкторов и владельцев оружейного завода Павла Маузера, 1838—1914, и Вильгельма Маузера, 1834—1882). Б р и т а н с к и й л е в — национальная эмблема Великобритании, в переносном смысле — Англия, англичане. Л е в о й — творительный падеж от «леева» (неологизм от глагола «лить»), с т а л ь н а я л е е в а — поток пуль, снарядов. А н т а н т а — империалистический блок Англии, Франции и царской России, выступавший в годы первой мировой войны против германской коалиции, объединявшей более 20 государств. В марте 1918 г. началась интервенция Антанты против Советской России, в которой приняли активное участие также США. Провал походов Антанты против Советского государства повел за собой обострение противоречий между ее участниками и в дальнейшем к распаду коалиции.

Владимир Ильич! (стр. 333). Написано к 50-летию со дня рождения В. И. Ленина. У л и т ь е — прилагательное от «улитка», «улита». И с п л е н е н — неологизм от слова «плен».

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (стр. 335). Летом 1920 г. Маяковский жил в дачной местности Пушкино под Москвой и ездил на работу в Москву. По вечерам из сада дачи, расположенной на так называемой А к у л о в о й г о р е, видел, как заходит солнце. Зная поэта в то время рассказывают, что он не раз шутя говорил: «Заходит, заходит, а вот зашло бы ко мне». На этой игре слов построено стихотворение. С и д и, р и с у й п л а к а т ы! — Начиная с осени 1919 г. Маяковский вел большую работу в Роста (Российское телеграфное агентство) над текстами и рисунками для агитплакатов («Окон» Роста). Я с ь — неологизм от слова «ясность». С о н н и ц а — неологизм от слова «сон».

О дряни (стр. 338). Т а р и ф — здесь: ставка, зарплата. Г а л и ф и щ а — от «галифе», брюк особого покроя, широких на бедрах и обтянутых у колен (по имени французского кавалерийского генерала Галиффе, 1830—1909). Р е в в о е н с о в е т — коллегиальный орган высшей военной власти в СССР в 1918—1934 гг.

Приказ № 2 армии искусств (стр. 340). Это стихотворение, написанное через три с половиной года после первого «Приказа по армии искусств», свидетельствует о развитии идейно-эстетических взглядов поэта. Чисто литературным спорам и проблемам Маяковский противопоставляет большие задачи, стоящие перед страной, и новое искусство, помогающее народу «выволочь республику из грязи». А р и я м и Р о м е о в и Д ж у л ь е т т. — Ироническое отношение к старому искусству передано нарочито искаженной формой «Ромеов» (речь идет об опере французского композитора Шарля Гуно «Ромео и Джульетта» (1865), написанной на сюжет одноименной трагедии Шекспира). П е н т р ы — иронически-уничижительное наименование художников (произ-

водное от французского слова, означающего «живописец»). **Ф у т у р и с т и к и**, **и м а ж и н и с т и к и**, **а к м е и с т и к и**. — Маяковский пренебрежительно перечисляет различные направления в поэзии, враждовавшие между собой по вопросам литературной формы. **П р о л е т к у л ь т ц ы**. — Речь идет о поэтах так называемого Пролеткульта (Пролетарская культура), литературно-художественной и культурно-просветительской организации, возникшей накануне Октябрьской революции и развернувшей в 1917—1920 гг. активную деятельность по созданию «чисто пролетарской» культуры. Политическая вредность и несостоятельность Пролеткульта отмечалась В. И. Лениным и была осуждена в «Письме ЦК РКП(б) «О пролеткультах» (декабрь 1920 г.). **А к а д е м и ч е с к и й п а е к** — повышенный продовольственный паек, который получали в 1919—1922 гг. ученые и деятели искусства. **М а э с т р о** — почетное название (главным образом у итальянцев) композитора, музыканта-виртуоза, дирижера; здесь: иронически о поэтах «чистого искусства».

Прозаседавшиеся (стр. 342) — первое стихотворение Маяковского, напечатанное в газете «Известия» и привлечшее к себе внимание В. И. Ленина. В докладе «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 г. Ленин сказал: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и пере-заседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 13). **К т о в г л а в**, **к т о в к о м**, **к т о в п о л и т**, **к т о в п р о с в е т** — сокращенное название одного учреждения — Главного политикопросветительного комитета Наркомпроса РСФСР, где Маяковский выпускал агитационные плакаты (продолжение «Окон» Роста). **С о в р е м е н и ó н а** — то есть с незапамятных времен (церковнославянское выражение «во время óна»). **О б ъ е д и н е н и е Т е о и Г у к о н а** — нарочитая нелепость: **Т е о** — театральный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе, **Г у к о н** — главное управление коннозаводства при Народном комиссариате земледелия.

Мы не верим! (стр. 343). Стихотворение написано в связи с ухудшением здоровья Владимира Ильича, когда в марте 1923 г. ежедневно публиковались и вывешивались на улицах и в учреждениях правительственные бюллетени о состоянии его здоровья.

Комсомольская (стр. 344). Стихотворение является первым поэтическим откликом Маяковского на смерть В. И. Ленина. **Г е ъ н ь и н а** — неологизм: прилагательное от «гений». **Р а з г р о м а д и т ь с я** — неологизм: глагольное образование от слова «громада».

Юбилейное (стр. 348). Написано в связи со 125-летием со дня рождения А. С. Пушкина. **Т р е в о ж у с ь я о н е м**, **в щ е н к а с м и р е н н о м л ь в е н к е**... — то есть о своем сердце. **Н а в у х о д о н о с о р о м б и б л е й ц е м** — упоминаемый в Библии вавилонский царь Навуходоносор II, правив-

ший в 605—562 гг. до н. э., когда Вавилония достигла экономического и культурного расцвета. Согласно библейскому сказанию, за грехи он был лишен дара слова и обращен в животное (отсюда у Маяковского «блеется»). «К о о п с а х» — Кооперация сахарной промышленности. Вывеска магазина «Коопсах» на бывшей Страстной площади (ныне площадь Пушкина), на которой стоит памятник Пушкину, изображала сахарную голову на синем фоне с расходящимися в разные стороны оранжевыми лучами. К р а с н ы е и б е л ы е з в е з д ы. — Имеются в виду две наиболее известные пароходные линии, связывавшие Европу с Америкой: пароходы «Красной звезды» курсировали между Антверпеном (Бельгия) и Нью-Йорком; пароходы «Белой звезды» — между Ливерпулем (Англия) и Нью-Йорком. «У т р о м д о л ж е н б ы т ь у в е р е н, ч т о с в а м и д н е м у в и ж у с ь я» — из восьмой главы «Евгения Онегина» Пушкина (строфа XXXII). Н а д с о н Семен Яковлевич (1862—1887) — русский поэт, в стихах которого получили отражение настроения скорби и обреченности. Д о р о г о й ч е н к о Алексей Яковлевич (1894—1947) — поэт, стихи которого отличаются патетической декларативностью. Г е р а с и м о в Михаил Прокофьевич (1889—1939) — поэт, один из основателей литературной группы «Кузница», воспевал труд в абстрактных, гиперболических образах. К и р и л л о в Владимир Тимофеевич (1890—1943) — поэт группы «Кузница», его стихам свойственны основные черты поэзии Пролеткульта: гиперболизм, абстрактная символика и риторизм. Р о д о в Семен Абрамович (1893—1968) — поэт и литературный критик, выражал сектантские, вульгаризаторские тенденции журнала «На посту» (1923—1925). О д н а р о б р а з н ы й — иронический неологизм Маяковского, в котором сочетаются слова «однообразный» и «Наробраз» — отдел народного образования, что подчеркивает ученическую слабость этой поэзии. М у ж и к о в с т в у ю щ и х с в о р а. — Маяковский говорит о так называемых «крестьянских поэтах» (Н. А. Клюев, С. А. Клычков, П. В. Орешин и др.), воспевавших патриархальную отсталость русской деревни. Б е з ы м е н с к и й Александр Ильич (1898—1973) — в те годы молодой комсомольский поэт. А с е е в Николай Николаевич (1889—1963) — русский советский поэт, друг Маяковского. Л е ф («Левый фронт») — журнал, издававшийся в Москве под редакцией Маяковского в 1923—1925 гг. Я д а л б ы в а м ж и р к о с т ь и с у к н а... — то есть поручил бы работу над текстами реклам парфюмерных изделий треста «Жиркость» и треста «Моссукно». В эти годы Маяковский писал стихи для рекламы различных изделий. Г у м с к и х — от ГУМ (Государственный универсальный магазин в Москве.) Ш к о д а — негодяй, мерзавец. Ч е м в ы з а н и м а л и с ь д о 17-г о г о д а? — традиционный вопрос в анкетах тех лет. С п и р и т и з м — суеверное представление о загробной жизни душ умерших и возможности общения с ними. Н е в о л ь н и к ч е с т и — слова из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Смерть Поэта». Н а Т в е р с к о м б у л ь в а р е... — памятник Пушкину работы скульптора Опекушина был открыт в 1880 г. на Тверском бульваре, а в 1949 г. перенесен на площадь Пушкина.

Владикавказ — Тифлис (стр. 356). Стихотворение связано с поездкой Маяковского летом 1924 г. по Крыму и Кавказу. Я в с п о м н и л, ч т о я —

г р у з и н...— Маяковский родился и провел детские годы в Грузии. А р х а - л у х — легкий кафтан из шерстяной или шелковой ткани, собранный у талии. К а р а б а х — порода горных кавказских верховых лошадей. Р о й л ь с («роллеройс») — модная в 20-е годы марка английского автомобиля. М у ш а́ (груз.) — рабочий, грузчик. И р а к л и и, Н и н ы, Д а в и д ы — имена царей и цариц средневековой Грузии. З о л о т о п о г о н н и к — презрительное название офицера царской армии; Маяковский имеет в виду военные действия царских войск против местных горских племен. Л и ш ь т е б е о д н о й в с е, ч т о д а н о м н е с в ы с о т ы б о г о м — слова песни грузинского писателя Шалвы Дадиани (1874—1959). А р с е н — Арсен Джорджиашвили (1881—1906), грузинский революционер, убивший в январе 1906 г. царского карателя генерала Грязнова и казненный по приговору военно-полевого суда. А л и х а н с в - А в а р с к и й М. (1846—1907) — генерал-губернатор Кутаисской губернии в 1905 г., убит в июле 1907 г. в Александрополе (ныне Ленинакан). В автобиографии «Я сам» Маяковский называет его «усмирителем Грузии». К а к и е - т о л ю д и, м у т н е й, ч е м К у р а...— имеются в виду грузинские меньшевики, которые в годы гражданской войны пошли на сговор с французскими и английскими империалистами. В феврале 1921 г. меньшевистское правительство Грузии было свергнуто и провозглашена Грузинская Советская Социалистическая Республика. М а д ч а́ р и (груз.) — неперебродившее молодое вино. Э д е м — по библейской легенде, земной рай. К и н т о (груз.) — бродячий торговец, балагур. З у р н а — восточный народный музыкальный инструмент в виде рожка или свирели. Ш а и р и — форма классического грузинского стиха, которым написана поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.).

Тамара и Демон (стр. 360). Это стихотворение Маяковского, как и ряд других, написанных на литературную тему («Юбилейное», «Сергею Есенину», «Разговор с фининспектором о поэзии»), отражает полемическое отношение поэта к ряду явлений литературного быта и литературной борьбы того времени. Вместе с тем Маяковский утверждает связь своего творчества с классической традицией русской поэзии («Мы общей лирики лента»). О м н и б у с — многоместная карета, запряженная лошадьми; вытеснена автобусами. Б о р ж о м (Боржоми) — известный курортный город в Грузии. Л у н а ч а р с к и й Анатолий Васильевич (1875—1933) — выдающийся деятель советской культуры. С 1917 по 1929 г. народный комиссар просвещения. К о г а н Петр Семенович (1872—1932) — историк литературы и критик, президент Государственной Академии художественных наук. «К р а с н а я н и в а» — литературно-художественный иллюстрированный массовый еженедельный журнал (1923—1931), в котором печатался Маяковский. Г о в а р и в а л н е к и й Л е р м о н т о в.— Маяковский соединяет в дальнейшем черты двух лермонтовских героинь: царицы Тамары из одноименной баллады и княжны из поэмы «Демон». П р о э т о п и ш е т с е б е П а с т е р н а к.— Речь идет о книге поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890—1960) «Сестра моя — жизнь» (1922), открывающейся стихотворением «Памяти Демона» и посвященной Лермонтову.

ИЗ ЦИКЛА «ПАРИЖ»

(1924—1925)

Стихотворения этого цикла написаны в результате поездки в Париж в ноябре — декабре 1924 г. и вышли отдельной книгой во второй половине 1925 г.

Прощание (Кафе) (стр. 365). Стихотворение сатирически изображает атмосферу сплетен и антисоветских инсинуаций, царившую в белоэмигрантских кругах Запада, с чем пришлось воочию столкнуться поэту в Париже. В очерке «Парижские провинции» Маяковский писал: «Раньше было так: была в России провинция, медвежьи углы и захолустье. Где-то далеко были российские столицы — широкие, кипящие мировыми интересами. А совсем над всеми был Париж — сказочная столица столиц. И здесь, как и во всем, Октябрьской революцией сделан невероятный сдвиг... Сейчас Париж для приехавшего русского выглядит каким-то мировым захолустьем. Все черты бывшей нашей провинции налицо...» Все дороги приводят в Рим (все дороги ведут в Рим) — средневековая поговорка, вошедшая в русскую литературу благодаря басне французского баснописца Лафонтена (1621—1695) «Третейский судья, брат милосердия и пустынный». Монпарнасец — обитатель Монпарнаса, квартала художников и литераторов в Париже. Ромулы и Рем — братья-близнецы, легендарные основатели Рима; Маяковский обыгрывает эти имена для создания иронического эффекта. Николай Николаевич Романов (младший) (1856—1929) — великий князь, верховный главнокомандующий во время первой мировой войны. В 1919 г. эмигрировал из Крыма в Италию, а затем во Францию. Среди белой эмиграции считался претендентом на российский престол. Чекист — здесь в значении советский разведчик. Буа-дю-Булонь — Булонский лес. Сбондил до йот — стащил, украл вплоть до мелочей. Агафья. — Имеется в виду купеческая дочь Агафья Тихоновна из комедии Н. В. Гоголя «Женитьба». Черчилль Уинстон (1874—1965) — английский государственный деятель, в то время министр финансов, позднее премьер-министр; ярый враг СССР, один из организаторов антисоветской интервенции и разного рода агрессивных блоков, направленных против СССР. Кулидж Калвин (1872—1933) — президент США (1923—1929), занимал враждебную позицию по отношению к СССР, отказываясь от его дипломатического признания.

ИЗ «СТИХОВ ОБ АМЕРИКЕ»

(1925—1926)

Цикл «Стихи об Америке» написан в результате поездки Маяковского за границу в мае — ноябре 1925 г., во время которой он посетил Германию, Францию, Кубу, Мексику и США.

6 монахинь (стр. 369). «Эспань» — 21 июня 1925 г. Маяковский отплыл в Америку из французского порта Сен-Назер на пароходе «Эспань». Квота (лат.) — доля, часть, норма. Медали со Львом и с Пием — очевидно, имеются в виду папа римский с 1878 по 1903 г. Лев XIII, стремившийся приспособить деятельность католической церкви к условиям буржуаз-

ного общества, и папа римский с 1903 по 1914 г. Пий X, активно выступавший против демократических идей и помогавший царскому правительству России бороться против революции 1905—1907 гг. Оркестром без дирижера.— В 1922 г. в Москве был организован и вскоре стал популярен Персимфанс (Первый симфонический ансамбль Моссовета), оркестр, выступавший без дирижера и рассчитанный на творческую активность каждого члена ансамбля. А г и т п р о п щ и к — работник агитпропа, отдела массовой агитации, пропаганды и партпросвещения, существовавшие до 1930 г. при местных комитетах нашей партии.

Атлантический океан (стр. 371). И с п а н с к и й к а м е н ь с л е п я щ и б е л...— В начале стихотворения речь идет об отплытии из порта Ла-Корунья на Атлантическом побережье Испании, куда 22 июня 1925 г. на несколько часов заходил пароход «Эспань». Р е в к о м (революционный комитет).— Временные чрезвычайные органы Советской власти (ревкомы) были созданы и действовали в период гражданской войны и военной интервенции 1918—1920 гг. Ц и к (Центральный Исполнительный Комитет Советов) — высший орган Советской власти, существовавший до образования Верховного Совета СССР, избранного на основе Конституции СССР 1936 г. П о р ф и р а — длинная пурпуровая мантия, символ власти монарха.

Мелкая философия на глубоких местах (стр. 375). В с е т е ч е т... В с е м е н я е т с я — известное выражение, определяющее постоянную изменчивость природы, приписывается древнегреческому философу-материалисту Гераклиту из Эфеса (ок. 540—470 до н. э.) и известно в передаче Аристотеля и Платона. С т е к л о в Юрий Михайлович (1873—1941) — публицист, историк и общественный деятель, в 1917—1925 годах — редактор газеты «Известия». Его длинные статьи-передовицы Маяковский иронически называл «стекловицами». Д е м ь я н Б е д н ы й (псевдоним Придворова Ефима Алексеевича, 1883—1945) — советский поэт.

Блек энд уайт (стр. 377). В первой журнальной публикации стихотворение имело подзаголовок «Черные и белые» — перевод английского названия «Блек энд уайт». П о д п а л ь м о й н а н о ж к е с т о я т ф л а м и н г о.— Имеется в виду изображение-реклама на вывесках разного рода заведений в Гаване; ф л а м и н г о — птица с нежно-розовым оперением, с длинной шеей и длинными ногами. К о л а р и о — гаванские цветы (примечание Маяковского). В е д а д о — в то время загородный квартал богачей в Гаване. «Э н р и К л е й э н д Б о к, л и м и т е д» — основанная в 1842 г. англичанином Генри Клеем табачная фабрика «Корона», знаменитая своими гаванскими сигарами (ныне носит имя убитого на ней в 1948 г. рабочего-коммуниста Мигеля Фернандеса Роя). П р а д о — главная улица-бульвар в Гаване. М а с е о Антонио (1845—1896) — один из руководителей национально-освободительной борьбы кубинского народа против испанского господства. Памятник Масео находится недалеко от табачной фабрики «Корона». К о м и н т е р н (Коммунистический Интернационал) — международная революционная пролетарская организация, существовавшая в 1919—1943 гг. и представлявшая собой объединение коммунистических партий различных стран.

Бродвей (стр. 380). Б р о д в е й — одна из главных улиц Нью-Йорка, на

которой расположены конторы крупных торговых фирм и финансовых учреждений, театры, отели, рестораны. Центральная часть Нью-Йорка остров Манхаттан представляет собой сплошную сеть продольных (а в е н ю) и поперечных (с т р и т ы) улиц, образующих мелкие кварталы. Ч у и н г а м (англ.) — жевательная резинка. «М е к м ó н е й?» — «Делаешь деньги?» — вместо привет (примечание Маяковского). С о б в е й — американское название метро. Э л е в е й т е р — надземная железная дорога на эстакаде. Г у д з о н — река, в устье которой расположен Нью-Йорк. «К о ф е М а к с в е л г у д т у д и л а с т д р о п» — реклама кофе: «Кофе Максвелл хорош до последней капли» (англ.). Г а у д у ю д у! — привет при встрече (примечание Маяковского).

Небоскреб в разрезе (стр. 382). В американских рекламах небоскребы часто изображаются в разрезе, чтобы показать, на каком этаже что помещается. Д о о к т я б р ь с к и й Е л е ц а л ь К о н о т о п — то есть быт и культура американца так же пронизаны духом собственничества, как разрушенный революцией быт маленьких городков Российской империи, таких как Елец или Конотоп. Д е т е к т и в — сыщик.

Бруклинский мост (стр. 384). Построенный в 1867—1884 гг. Бруклинский мост через Ист-Ривер соединяет два района Нью-Йорка: Манхаттан и Бруклин. В те годы это был один из крупнейших подвесных мостов мира (длина около 2 км.). Бруклинский мост строился в годы формирования в Америке функциональной школы архитектуры, идеи которой были впервые сформулированы американским скульптором Г. Грино, развиты чикагским архитектором Луи Салливаном и получили отражение в конструкции Бруклинского моста. Р а з ь ю н а й т е д с т е т с о ф А м е р и к а — комическое усиление слов «Юнайтед стейтс оф Америка»: «Соединенные Штаты Америки». С к и т — жилище монаха-отшельника, уединенная обитель. М е р е щ ь — неологизм от глагола «мерещиться», вечерний сумрак, придающий предметам фантастические очертания. Э л е в е й т е р — см. примечание к стихотворению «Бродвей». К о г д а ж, к а з а л о с ь, с - п о д р е ч к и н а ч а т о й р а з в о з и т с ф а б р и к и с а х а р л а в о ч н и к... — Необычный порядок слов этой фразы затрудняет ее понимание. Стоящему на высоком мосту поэту кажется, будто лавочник развозит сахар с фабрики, «начатой с-под реки», то есть находящейся где-то далеко внизу, чуть ли не под водой. С т о л е т и й г е о л о г с у м е л в о с с о з д а т ь б ы д н и н а с т о я щ и е. — Речь идет о теории основателя палеонтологии французского зоолога Жоржа Кювье (1769—1832), который разработал метод реконструкции ископаемых животных по немногим сохранившимся частям скелета. Эти и следующие строки перекликаются также с высказыванием Карла Маркса в «Капитале»: «Такую же важность, какую строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических формаций» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 191). П у с т и в п о в е т р у и н д е й с к и е п е р ь я. — Имеется в виду истребление европейскими колонизаторами индейских племен Северной Америки, остатки которых были загнаны в резервации США и Канады. О т с ю д а б е з р а б о т н ы е в Г у д з о н к и д а л и с ь в н и з г о л о в о й. — По-видимому, эта строфа

«наиболее действенным» из своих стихов. Маяковский ценил в Есенине талантливого поэта и не отождествлял его поэзию с «есенинщиной» как болезненным общественно-литературным явлением. Историю работы над стихотворением «Сергею Есенину» Маяковский рассказал в статье «Как делать стихи?», подчеркивая сознательную целенаправленность этого поэтического произведения против «есенинщины»: «Осматривая со всех сторон эту смерть и перетряхивая чужой материал, я сформулировал и поставил себе задачу. Целевая установка: обдуманно парализовать действие есенинских стихов, сделать есенинский конец неинтересным, выставить вместо легкой красоты смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человеку для начатой революции». **Смычка** — в первые годы после революции этим словом обозначался союз рабочего класса с крестьянством («смычка города и деревни»). **Богема** — деклассированная часть художественной интеллигенции. «Слово «богема» стало нарицательным для всякой художественно-обывательской бытовщины», — писал Маяковский в статье «Как делать стихи?». **На посты** (напостовцы) — писатели и критики, группировались вокруг журнала «На посту» (1923—1925), считавшего себя призванным направлять развитие всего литературного процесса в СССР и применявшего методы администрирования в литературе, подвергал резким нападениям М. Горького, Маяковского и других так называемых «попутчиков», то есть писателей непролетарского происхождения. **Доронин Иван Иванович** (р. 1900) — советский поэт; его поэму «Тракторный пахарь» (1926) Маяковский критиковал за однообразие «словесного и рифменного пейзажа». **Раводить мистерии** — то есть свершать обряды и произносить высокопарные речи. **И несут стихов за упокойный лом...** — Смерть Есенина вызвала широкий отклик в литературе. «Появились стихи, воспоминания, очерки и даже драмы. По-моему, 99% написанного об Есенине просто чушь или вредная чушь», — писал Маяковский. ...**А к решеткам памяти уже понесли посвящений и воспоминаний дрянь.** — Ср. слова Городничего в «Ревизоре» Гоголя: «...только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает откуда и нанесут всякой дряни!» **Собин** — Леонид Витальевич (1872—1934) — выдающийся русский певец. 18 января 1926 г. в помещении Московского Художественного театра состоялся вечер памяти Есенина, на котором Собинов исполнил романс П. И. Чайковского на слова А. Н. Плещеева «Ни слова, о друг мой». Объясняя свой полемический выпад, Маяковский говорил в свойственной ему иронической манере: «На фоне тощей, надломившейся березки выступали с «прочувствованными» речами ораторы. Затем Собинов тоненьким голоском запел: «Ни слова, о друг мой, ни вздоха, мы будем с тобой молчаливы...», хотя молчалив был один Есенин, а Собинов продолжал петь. Вот вся эта обстановка произвела на меня удручающее впечатление». **Леонидом Лоэнгриным** — Леонид Витальевич Собинов прославился исполнением партии Лоэнгина в одноименной опере немецкого композитора Рихарда Вагнера. **Коган** — см. примечание к стихотворению «Тамара и Демон». Маяковский говорил, что образ П. С. Когана в этом стихотворении является собирательным. **В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней** — перефразировка последних строк предсмертного

стихотворения Есенина («В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей»), на которые прежде всего считал необходимым ответить Маяковский: «На всем протяжении моей работы всего стихотворения я все время думал об этих строках. Работая другие строки, я все время возвращался к этим — сознательно или бессознательно».

Разговор с фининспектором о поэзии (стр. 394). Маяковский рассматривал поэзию как общественный труд, а работу поэта как участие в социалистическом строительстве. Этой теме посвящено стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии», ряд других стихов и статья «А что вы пишете?». *Л а б а з* — помещение для продажи и хранения различных товаров. *У г о д ь е* — участок земли, дающий средства к жизни, приносящий доход. Маяковский считал, что писатель в правовом отношении должен быть приравнен к трудящимся, а не числиться в группе кустарей, торговцев и пр. ...з а н е п о д а ч у д е к л а р а ц и й.— Торговцы и лица «свободных профессий» обязаны были ежегодно подавать заявления («декларации») в финотдел о своих доходах за год. Уклонившиеся от подачи таких деклараций штрафовались. Поводом для написания стихотворения послужили реальные переговоры, которые Маяковский вел с Мосфинотделом в 1926 г. о снижении ему ставки подоходного налога. В частности, в заявлении фининспектору он писал: «Неподача мною деклараций объяснена отнюдь не уклонением от сообщения о своих заработках, а только тем, что в сложном поэтическом производстве почти невозможно точно учесть производственные расходы и способ их определения. Для этой только начатой работы нужны целые научные труды. Ввиду этого я вместо подачи декларации регулярно бывал лично у фининспектора и указывал на свои доходы и на проценты моих расходов к общей сумме заработка». *В е к с е л ь* — долговой документ, содержащий обязательство уплатить определенную сумму в определенный срок. Маяковский шутливо уподобляет рифму векселю: по числу рифм можно определить число строк и, следовательно, полученный поэтом гонорар. *Ф л е к с и я* — изменяемое при склонении, спряжении и т. п. окончание слова. *Т а р и ф* — официально установленная роспись обложения налогом, сборами с чего-либо. *В е н е с у э л а*.— Название этого государства в Южной Америке используется Маяковским как обозначение далекой экзотики. *Б ы л и в ы е з д ы?* — В анкете финотдела, которую заполнял Маяковский, значился вопрос: «Имеете ли собственный выезд?» (то есть экипаж и лошадей). Маяковский иронически обыгрывает этот анкетный вопрос, говоря о крылатом коне древнегреческой мифологии Пегасе, символе поэтического вдохновения, на котором он «выезжал» последние 15 лет, то есть за время своей литературной деятельности. *А м о р т и з а ц и я* — естественный износ машин, зданий и т. п.; здесь в переносном смысле. *Б а л а н с* — финансовый термин: соотношение доходов и расходов. *Б р о д в е й с к а я л а м п и о н и я*.— Имеется в виду Бродвей как центр световой рекламы Нью-Йорка («лампиония» — неологизм от слова «лампа»). *Б а г д а д с к и е н е б е с а* — то есть небеса, под которыми родился поэт (село Багдади в Грузии, переименованное в 1936 г. в Маяковский). *П е р е д в и ш н я м и Я п о н и и*.— Маяковский собирался в 1925 г., кроме Америки, посетить и Японию. *Э т а ш а п к а С е н е* — русская поговорка «по Сеньке и шапка»; используется здесь в значении: зачем это вообще поэту

надо? Э н к а п е э с (НКПС) — Народный комиссариат путей сообщения. С т и л ó — ироническое название орудия письма, перо.

Послание пролетарским поэтам (стр. 401). Б е з ы м е н с к и й Александр Ильич (1898—1973), С в е т л о в Михаил Аркадьевич (1903—1964), У т к и н Иосиф Павлович (1903—1944) — в то время молодые советские поэты. Р о з д а н н ы е Луначарским венки лавровые. — А. В. Луначарский написал ряд предисловий к сборникам стихов молодых поэтов. Н а п о с т ó в с к о й. — См. примеч. к стихотворению «Сергею Есенину». О д н о г о называют красным Байроном, другого — самым красным Гейне. — В ряде статей того времени творчество Светлова сравнивали с творчеством Гейне, а Уткина называли красным Байроном. Р а е ш н и к — рифмованный злободневный монолог сатирического или шуточного характера.

Товарищу Нетте — пароходу и человеку (стр. 406). Н е т т е Теодор Иванович (1896—1926) — член партии большевиков с 1914 г., участник гражданской войны, затем политработник. Погиб 5 февраля 1926 г. в поезде, следовавшем через латвийскую территорию в Берлин, куда он вез дипломатическую почту. В п о р т, горящий, как расплавленное лето... — встреча с пароходом «Теодор Нетте» произошла 28 июня 1926 г. Я к о б с о н Роман Осипович (р. 1896) — языковед, один из основоположников структурализма. В составе постпредства РСФСР в 1921 г. выехал в Прагу, в СССР не вернулся.

Нашему юношеству (стр. 409). Стихотворение направлено против имевших место в 20-х годах в некоторых республиках СССР буржуазно-националистических искривлений национальной политики Коммунистической партии в области культуры и образования. К у р с к и й — Курский вокзал в Москве, откуда отправляются поезда южного направления. П о з у м е н т — шитая золотом или серебром тесьма для оторочки одежды; здесь: украшение шапки кубанских казаков. Г о л о в ы сахара высят хребты. — Сахар раньше продавался головами в виде конуса, обернутого снизу в синюю бумагу. Снеговые вершины похожи на «головы сахара». Н э ч у ю (укр.) — не слышу. Б о д л е р Шарль (1821—1867) — французский поэт, предшественник декадентства. М а л а р м е (Малларме) Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист. Б у л ь в а р д ь е — всегдашней бульваров, празднующийся. Ш о р ы — боковые наглазики для лошадей, не позволяющие глядеть по сторонам; в переносном смысле — ограниченность. К а ц а п — презрительное название русского (в отличие от украинца — «хохла»). Маяковский приводит одну из записок, присланных ему на выступлении по поводу этого стихотворения: «Все стихотворение хорошее и нужное. Для украинца вовсе не обидно «хохол», а для русского «кацап», потому что они поймут в стихе, что это осмеяние старого». С е ч е в и к — казак Запорожской Сечи, общественно-политической и военной организации украинского казачества за Днепровскими порогами в XVI—XVIII вв. Р у с о п е т — квасной патриот всего русского.

Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру (стр. 414). С 26 по 29 января 1928 г. Маяковский находился в Свердловске. Один из встречавшихся с ним журналистов вспоминает: «В дни пребывания В. В. Маяковского в Свердловске по улице Ленина заселяли вновь выстроенный дом. Рабочие Верхне-Исетского завода переезжали из маленьких екатеринбург-

ских хибарок в новые просторные и светлые квартиры. Маяковский не прошел мимо этого простого и будничного факта. Он побывал в квартирах рабочих, беседовал с ними...»

Труе (стр. 416). *Э р к а и* (РКИ) — Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин), орган государственного контроля, действовавший в СССР с 1920 по 1934 г., позднее комиссии народного контроля.

Помпадур (стр. 420). Эпиграф — из фельетона М. К. Кольцова «В международном вагоне», опубликованного в «Правде» 15 мая 1928 г. *П о м п а д у р* — здесь: администратор-самодур (по имени фаворитки французского короля Людовика XV маркизы Помпадур). Впервые в этом значении слово появилось в сатирических очерках М. Е. Салтыкова-Щедрина «Помпадуры и помпадурши» (1863—1874). *Н а в о д ы* — то есть на курорт группы «Минеральные воды». «*В о л о д е т ь и к н я ж и т ь*» — слова из первой русской летописи «Повесть временных лет» (XII век). *Ц И К* — см. примечание к стихотворению «Атлантический океан». *С Т О* — Совет труда и обороны при Совнаркоме СССР, руководивший деятельностью всех ведомств в области обороны страны (существовал до 1937 г.).

Секрет молодости (стр. 423). *К И М* (Коммунистический Интернационал Молодежи) — международная молодежная организация, существовавшая в 1919—1943 гг., являлась секцией Коминтерна и действовала под его руководством.

Подлиза (стр. 424). *А р х и - р а з и е р а р х и я* — то есть сверхиерархия, неологизм Маяковского, подчеркивающий бюрократическое чинопочитание.

Стихи о разнице вкусов (стр. 426). Этим стихотворением с дополнительным заглавием «Вместо предисловия» Маяковский открыл сборник «Туда и обратно» (1929), в который вошли его стихи, написанные в связи с поездками за границу в 1927 и 1928 гг.

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви (стр. 427). *К о с т р о в* Тарас (псевдоним Александра Сергеевича Мартыновского, 1901—1930) — редактор газеты «Комсомольская правда». В 1928 г. был также редактором журнала «Молодая гвардия», где впервые напечатано это стихотворение.

Письмо Татьяне Яковлевой (стр. 431). При жизни Маяковского стихотворение не печаталось. Опубликовано в 1956 г. *Я к о в л е в а* Татьяна Алексеевна (р. 1906), к которой обращено стихотворение, в 1925 г. по вызову своего родственника, художника А. Е. Яковлева, выехала из СССР. Маяковский познакомился с ней осенью 1928 г. в Париже, а по возвращении в Москву около года с ней переписывался.

Разговор с товарищем Лениным (стр. 434). Написано к пятой годовщине со дня смерти В. И. Ленина. *Ф о т о г р а ф и е й н а б е л о й с т е н е*. — В комнате Маяковского на стене висела фотография Ленина. *Н и щ ь и о г о л ь* — собирательные существительные от слов «нищий», «голый».

Парижанка (стр. 436). *М а л е н ь к о г о р е с т о р а н а* — *Г р а н д - Ш о м ь е р* — игра слов: название ресторана означает «большая хижина».

Краєавицы (стр. 439). *У б и г а н я т с я* — неологизм Маяковского, образованный от названия известной в те годы французской парфюмерной фирмы

«Убиган». Р е ф ы — участники литературной группы РЕФ (Революционный фронт искусства), организованной Маяковским в 1929 г. Ш е н ш и л я (шиншилла) — ценный мех южноамериканского грызуна серебристо-серого цвета. Маяковский употребляет разговорную форму названия меха шиншиллы — шеншиля.

Стихи о советском паспорте (стр. 440). Стихотворение связано с последней поездкой Маяковского за границу (во Францию с 14 февраля по 2 мая 1929 г.). С д в у х п а л ь н ы м а н г л и й с к и м л е в о ю. — Имеется в виду государственный герб Великобритании, на котором изображены лев и единорог, символы Англии и Шотландии. Ч то э то з а г е о г р а ф и ч е с к и е н о в о с т и? — На протяжении XIX и начала XX века Польша не существовала как самостоятельное государство. Д у б л и к а т — второй экземпляр какого-либо документа, имеющий равную с ним силу.

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка (стр. 445). Партийный работник Сибири Ульян Петрович Х р е н о в рассказал Маяковскому о строительстве Кузнецкого металлургического комбината, одного из крупнейших предприятий черной металлургии СССР, детища первой пятилетки. Строительство комбината вместе с городом Новокузнецком Кемеровской области началось в 1929 г. Один из руководителей строительства Кузнецкого комбината академик И. П. Бардин вспоминал о впечатлении, произведенном на строителей стихотворением Маяковского: «...Поэт Маяковский в самые, быть может, тяжелые времена жизни Кузнецкстроя, в момент, когда приехавшая на строительство первая комиссия «распушила» нас в пух и прах, написал свой «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»... Этим он поддержал наш дух, и мы продолжали начатое дело и считали его самым главным в осуществлении нашей мечты». С л и в е ю т — неологизм: становятся синими от холода, как слива.

Особое мнение (стр. 448). В ударных бригадах Союз. — После опубликования 20 января 1929 г. статьи В. И. Ленина «Как организовать соревнование?» по всему Советскому Союзу развернулось массовое движение ударных бригад. В декабре 1929 г. в Москве состоялся Первый Всесоюзный съезд ударных бригад. В и н д у с т р и а л и з а ц и ю л ь е м з а е м. — Имеются в виду государственные займы индустриализации (3-го выпуска), подписка на которые производилась в широких масштабах (число подписчиков в 1927 г. составило 6 миллионов человек), а собранные средства направлялись на промышленное строительство.

СТИХИ ДЕТЯМ

(1925—1929)

Стихи, обращенные к детям, написаны в 1925—1929 гг. Маяковский сотрудничал в детских журналах «Еж» и «Пионер», печатался в газете «Пионерская правда». Он автор киносценария «Дети» (1926) и первого в советской литературе очерка для детей «Чешский пионер» (1927). Стихотворения Маяковского «Возьмем винтовки новые» (музыка К. Корчмарева и Д. Покрас-

са) и «Майская песенка» (музыка Г. Гнесина) стали популярными детскими песнями.

Что ни страница — то слон, то львица (стр. 453). Стихотворение вышло отдельной книжкой в Тбилиси (1928). При подготовке четвертого тома своих сочинений Маяковский написал новый вариант стихотворения, публикуемый в настоящем издании.

Песня-молния (стр. 463).— Написано в связи с проходившим в Москве Первым Всесоюзным слетом пионеров (1929). Маяковский читал это стихотворение пионерам на стадионе «Динамо».

ПОЭМЫ

ОБЛАКО В ШТАНАХ

(Стр. 464—483)

Замысел этой первой поэмы Маяковского относится к началу 1914 г. В июле 1915 г. поэма была закончена и в сентябре вышла отдельным изданием с большими купюрами, сделанными царской цензурой. Выступая в марте 1930 года в Доме комсомола Красной Пресни, Маяковский вспоминал: «Облако в штанах». Оно начато письмом в 1913/14 гг., закончено в 1915 г. и сначала называлось «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в каком случае, что это ни в каком случае меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили, как я могу соединить лирику и большую грубость. Тогда я сказал: «Хорошо, я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым нежным, не мужчина, а облако в штанах». В полном виде поэма вышла в свет в начале 1918 г. и была враждебно встречена буржуазной прессой. Весьма одобрительно отзывался о ней А. М. Горький. В предисловии к изданию 1918 г. Маяковский писал: «Облако в штанах» (первое имя «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свыкся) считаю катехизисом сегодняшнего искусства; «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — четыре крика четырех частей». Отсюда подзаголовок поэмы «Тетраптих», то есть композиция из четырех частей.

Химеры собора Парижской Богоматери — изваяния мифических существ на здании собора, построенного в Париже в XII—XIII веках. «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть». — Очевидно, речь идет о романе американского писателя Джека Лондона (1876—1916) «Мартин Иден», впервые переведенном на русский язык в 1913 г. Тема эта не переставала волновать Маяковского и впоследствии. В 1918 г. по мотивам того же романа Лондона он пишет либретто фильма «Не для денег родившийся» и снимается в роли главного героя. Джиконда (ок. 1503) — портрет богатой горожанки Моны Лизы работы великого итальянского живописца Леонардо да Винчи (1452—1519). В 1911 г. картина была украдена из Лувра (Париж), в 1913 г. возвращена обратно в музей. «Лузитания» — английский пасса-

жирский пароход, торпедированный 7 мая 1915 г. германской подводной лодкой и погибший в море. В а в и л о н с к а я б а ш н я — согласно библейской легенде, люди пытались построить в Вавилоне (Месопотамия) город и башню, вершина которой достигла бы небес. Разгневанный дерзостью людей бог «смешал их языки» так, что они перестали понимать друг друга и не могли продолжить постройку. Х о р а л — форма религиозных многоголосых песнопений, духовная хвалебная песнь. К р у п п ы и К р у п п и к и — имеются в виду фабриканты оружия (по имени концерна, принадлежавшего семье Круппов и активно участвовавшего в создании военной мощи германского империализма). З а р а т у с т р а — пророк и реформатор древнеиранской религии, живший в начале первого тысячелетия до н. э. Его имя стало популярно в кругах декадентски настроенной интеллигенции после выхода книги немецкого философа и писателя Фридриха Ницше «Так говорит Заратустра» (1883—1884), герою которой противопоставляет своего Заратустру Маяковский. Л е п р о з о р и й — колония для больных проказой (лепрой). Г о м е р — легендарный поэт Древней Греции, считающийся автором эпических поэм «Илиада» и «Одиссея». О в и д и й — Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) — древнеримский поэт, автор поэмы «Метаморфозы», состоящей из мифологических и фольклорных сказаний о превращениях людей в животных, растения, созвездия. Г о л г о ф а — холм близ Иерусалима, где, по евангельскому преданию, был распят Иисус Христос. В переносном смысле место мучений и страданий; здесь: травля Маяковского буржуазной прессой во время поездки по городам России в конце 1913—начале 1914 г. Б у р л ю к Давид Давидович (1882—1967) — русский поэт и художник, организатор группы кубофутуристов. В 1913—1914 гг. вместе с Маяковским участвовал в турне футуристов по России. Бурлюк был слеп на один глаз. Ж е л т а я к о ф т а. — В автобиографии «Я сам» Маяковский рассказывает: «Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы — гнуснейшего вида. Испытанный способ — украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор, значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно — увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстукую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое» (раздел «Желтая кофта»). «Пейте какао Ван Гутена!» — В газетах и журналах того времени печатались рекламы какао Ван Гутена. Маяковский имел в виду факт, о котором сообщалось в прессе: приговоренный к смерти согласился крикнуть перед казнью: «Пейте какао Ван Гутена!» За это рекламное выступление фирма Ван Гутена обещала большое вознаграждение семье казненного. Б и с м а р к Отто (1815—1898) — германский государственный деятель, осуществивший объединение Германии на прусско-милитаристской основе. Г а л и ф е (Галиффе) Гастон Огюст — французский генерал, один из палачей Парижской коммуны 1871 г., отличившийся особой жестокостью в расправе с коммунарами. Р о т ш и л ь д. — Имеется в виду династия финансовых магнатов Ротшильдов, обогатившихся на военных поставках и финансовых спекуляциях. П и р у е т М а м а е м, з а д о м н а г о р о д н а с е в... — Речь идет о победителях, которые пировали, сидя на досках, положенных на тела побежденных. В действительности так пировал не хан Золотой Орды Мамай, потерпевший

полное поражение в Куликовской битве (1380), а полководцы Чингисхана после битвы при Калке в 1223 г. А з е ф Е. Ф. (1869—1918) — один из руководителей партии эсеров, провокатор, состоявший на службе в царской полиции. Был разоблачен в 1908 г. Его имя стало синонимом предательства. В а р а в в а — по евангельскому преданию, разбойник, осужденный в тот же день, что и Христос. Толпа потребовала помилования Вараввы и казни Христа. П р е с н я — улица в Москве, где жил Маяковский (ныне Красная Пресня). Т и а н а — имя женщины в одноименном стихотворении И. Северянина. И р о д и а д а. — Согласно евангельскому преданию, танцевала вокруг блюда с головой казненного проповедника Иоанна Крестителя не Иродиада, а ее дочь Саломея. П р о й т и с ь в к и - к а - л у х м у р о м у П е т р у А п о с т о л у. — Ироническое использование евангельского образа апостола Петра в сочетании с названием модного тогда эстрадного танца создает комический эффект. С е в р с к и е в а з ы — вазы знаменитого фарфорового завода в Севре (близ Парижа), художественные изделия которого славятся с XVIII в.

ЛЮБЛЮ

(Стр. 483—491)

М у ж ч и н а по М ю л л е р у мельницей машется — то есть занимается гимнастикой согласно популярному в начале XX века руководству Мюллера «Моя система». Р и о н (Риони) — река в Грузии, на которой расположен г. Кутаиси, где Маяковский жил с девяти до тринадцати лет. «Т р и л и с т и к а» — азартная карточная игра (двадцать одно). Б у т ы р к и — Бутырская тюрьма в Москве, где Маяковский сидел в 1909—1910 гг. в одиночной камере № 103. Б у л о н с к и й л е с — парк на западной окраине Парижа: традиционное место отдыха парижан. Д е с ь т ь — мера писчей бумаги; русская десьть — 24 листа. И л о в а й с к и й Д м и т р и й И в а н о в и ч (1832—1920) — автор широко распространенных в дореволюционных гимназиях учебников по всеобщей и русской истории, написанных с позиций защиты монархизма и носивших глубоко консервативный характер. Б а р б а р о с с а — император Священной римской империи Фридрих I (1123—1190) по прозвищу Барбаросса («рыжая борода»), герой многих немецких легенд и преданий. ...К о л ь ц о м с в о и х б е с к о н е ч н ы х С а д о в ы х. — Название Садовых улиц, образующих звенья кольцевой магистрали, происходит от располагавшихся вдоль них палисадников или садов, разбитых в 1819—1831 гг. на месте бывшего земляного вала и просуществовавших до расширения проезжей части Садового кольца в 1938 г. С т р а с т н а я п л о щ а д ь — называлась так по имени стоявшего на ней Страстного монастыря, в 1931 г. переименована в Пушкинскую площадь. П л е ч п о д г и б а я к о с у ю с а ж е н ь. — Имеется в виду выражение «косая сажень в плечах»: широкоплечий, могучего сложения. До введения метрической системы в старину на Руси, кроме обыкновенной сажени, равной трем аршинам (около 2 метров), в быту существовала еще косая сажень, равная расстоянию от конца большого пальца правой ноги до конца среднего пальца поднятой вверх левой руки. М и р а к о р м и л и ц а, г и п е р б о л а п р а о б р а з а М о п а с с а н о в а. — Имеет-

ся в виду рассказ французского писателя Ги де Мопассана (1850—1893) «Идиллия» (1884), в котором речь идет о молодой женщине, потерявшей новорожденного ребенка и мучавшейся от избытка молока; в конце концов она кормит грудью голодного человека, случайно оказавшегося ее соседом в железнодорожном вагоне. К р е з (595—546) — последний царь древнего государства Лидии в Малой Азии. Богатство Креза вошло в поговорку, о нем сложено много легенд. П у ш к и н с к и й р ы ц а р ь.— Имеется в виду сцена в подвале из «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Скупой рыцарь», когда Барон любит своею золотом, сложенным в сундуки.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

(Стр. 491—551)

Поэма задумана Маяковским при жизни В. И. Ленина в 1923 г. Смерть Ленина и всенародные похороны вождя революции, на которых присутствовал поэт, потрясли его. В октябре 1924 г. поэма была закончена, и Маяковский 18 октября выступил с публичным чтением ее в московском Доме печати. Маяковский выступал с чтением поэмы перед рабочей и партийной аудиторией во многих городах Советского Союза. В 1925 г. поэма вышла первым отдельным изданием. 21 января 1930 г. поэт читал заключительную, третью часть в Большом театре на траурном вечере памяти В. И. Ленина. В начале поэмы Маяковский использует традиционный эпический зачин в стиле летописного сказания.

Д з е р ж и н с к и й Феликс Эдмундович (1877—1926) — выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства. В декабре 1917 г. по предложению Ленина был назначен председателем Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК или Чека). Как совесть революции возникает образ Дзержинского у гроба Ленина; через три года в поэме «Хорошо!» (гл. 18) Маяковский скажет о Дзержинском как о человеке и коммунисте, с которого должен брать пример юноша, «решающий сделать бы жизнь с кого». Ш а х м а т ы е м у.— Маяковский имеет в виду широкоизвестную любовь Владимира Ильича к шахматам, о которой рассказывается в воспоминаниях людей, близко знавших Ленина (см. «Воспоминания о В. И. Ленине», М., Госполитиздат, 1955, стр. 22). К о л о н н ы й з а л.— В Колонном зале Дома Союзов с 23 по 27 января 1924 г. был установлен гроб с телом Ленина, и за это время через Колонный зал прошло около 700 000 человек. Б р о м л е й.— Имеется в виду один из старейших станкостроительных заводов в Москве, основанный в 1857 г. французскими предпринимателями братьями Бромлей; ныне завод «Красный пролетарий». Г у ж о н.— Речь идет о московском металлургическом заводе, основанном в 1883 г. французским предпринимателем Гужоном; теперь это завод «Серп и молот». Е л и с е е в — крупнейший владелец гастрономических магазинов в царской России. Его фамилия приводится как имя нарицательное. П а т а г о н и я — область на юге Аргентины. В 1921 г. в Патагонии произошло восстание батраков, жестоко подавленное властями. И в а н о в о - В о з н е с е н с к — город текстильщиков (ныне Иваново), один из старей-

ших центров революционного движения в России. «Марсельеза» — песня времен Великой французской революции (слова и музыка К. Ж. Руже де Лилля); ныне государственный гимн Франции. Грoссбух — главная бухгалтерская книга, дающая сводку всех счетов и приходно-расходных операций. Пол а м п и р и с т ы й — иронический неологизм от слова «ампир». Ампир — стиль западноевропейской архитектуры и прикладного искусства начала XIX в., отличающийся монументальностью форм. Потолок рококо в ы й — то есть с причудливой орнаментацией, свойственной стилю рококо, возникшему в начале XVIII в. во Франции. В сочетании с «ампиристым полом» создает впечатление безвкусицы дворца буржуа, еще больше усиливающееся в следующих строках, где французское числительное «четырнадцатый» (французский король Людовик XIV, при котором процветало пышное искусство, отражавшее расцвет абсолютизма) превращается в русское склоняемое существительное «Каторз», что создает подчеркнутую ироничность всей строфы. И про это. — Маяковский имеет в виду тему любви, главную в его поэме «Про это». Мы прорвeмся к небесам в распахнутую синь — этот образ восходит к словам К. Маркса о парижских коммунарах, «готовых штурмовать небо». Характеристика коммунаров, данная Марксом, приводится Лениным в его «Предисловии к русскому переводу писем К. Маркса к Л. Кугельману» (1907) (см. письмо от 12 апреля 1871 г.). Золотой телец — идол, которому, по библейскому преданию, поклонялись в древности; символ богатства. Тьер Адольф (1797—1877) — палач Парижской коммуны «кроважрый карлик Тьер» (как называл его В. И. Ленин). Парижскою стеною — стена парижского кладбища Пер-Лашез, у которой были расстреляны 27 мая 1871 г. пленные коммунары. В 1899 г. на этом месте воздвигнут памятник «Стена коммунаров». Коммунизма призрак по Европе рыскал... — перефразировка начала «Коммунистического манифеста» К. Маркса и Ф. Энгельса («Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»). Ульянов Александр Ильич (1866—1887) — брат Владимира Ильича, пытавшийся совершить покушение на Александра III и казненный в Шлиссельбургской крепости 8 мая 1887 г. вместе со своими товарищами. Получив об этом известие, семнадцатилетний Владимир Ильич сказал: «Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти» (воспоминание Н. К. Крупской в книге: «Воспоминания родных о В. И. Ленине». М., Госполитиздат, 1955, стр. 186). Союз борьбы за освобождение рабочего класса — организация, в которую осенью 1895 г. Ленин объединил существовавшие в Петербурге марксистские рабочие кружки. Володимирка — Владимирский тракт, по которому отправляли ссыльных из Москвы через Владимир в Сибирь. Эта печальной памяти дорога стала темой русского искусства и литературы (картина И. Левитана «Владимирка», стихи Некрасова, стихотворение Есенина «В том краю, где желтая крапива»). В память о революционерах Владимирское шоссе в Москве в 1919 г. переименовано в шоссе Энтузиастов. Служил ты недолго, но честно... — слова известной революционной песни «Последнее прости» («Замучен тяжелой неволей...») (1876) Г. А. Мачтета — одной из любимых песен В. И. Ленина. Чухлома — название городка Костромской губернии, став-

шее нарицательным для обозначения отсталости. Теперь на Марсов охотится Пулково.— В Пулковской обсерватории под Ленинградом велись наблюдения за планетой Марс во время ее великого противостояния в 1924 г. Гапонщина (гапоновщина) — попытка царских властей отвлечь от революционной борьбы рабочих путем создания монархических, шовинистических и религиозных организаций. Инициатором такого проправительственного рабочего движения выступил священник одного из рабочих кварталов Петербурга, тайный агент царской полиции Г. А. Гапон. 9 января 1905 г. он повел 140 000 безоружных людей к Зимнему дворцу с петицией к царю. Демонстрация была расстреляна. Мукденская бойня — одно из крупнейших сражений (6—25 февраля 1905 г.) русско-японской войны. Поражение русской армии в Мукденском сражении имело большое значение для исхода войны в пользу Японии и в развитии революции — 1905 г. Цусима.— Имеется в виду морское сражение 14 и 15 мая 1905 г. в Корейском проливе вблизи островов Цусима, в результате которого русская эскадра понесла поражение. Встали пресненцы.— Речь идет о Московском вооруженном восстании в декабре 1905 г., центром которого был рабочий район Пресня; ныне Красная Пресня. Ильич уже здесь...— 8 (21) ноября 1905 г. Ленин приехал в Петербург, где руководил деятельностью ЦК и Петербургского комитета большевиков, подготовкой вооруженного восстания. Царь на балкон выходил с манифестиком.— 17 октября 1905 г. в дни Октябрьской всероссийской политической стачки Николай II, чтобы ослабить нарастание революции и выиграть время, издал манифест, в котором населению даровались «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Либеральная буржуазия встретила манифест ликованием. Большевики разоблачали лживость обещаний царя. Подавив Декабрьское вооруженное восстание 1905 г., правительство нарушило свои «конституционные» обещания. Дубасов Ф. В. (1845—1912) — русский адмирал, в ноябре 1905 г. был назначен московским генерал-губернатором и руководил разгромом Декабрьского вооруженного восстания. Богоискатели — представители религиозно-философского течения среди русской либеральной интеллигенции в годы реакции, последовавшей за разгромом революции 1905 г.; предлагали перестроить личную и общественную жизнь на основе обновленного христианства. Ленин писал, что богоискатели предлагали замену слишком грубых средств оглушения народа «более тонкими, более усовершенствованными средствами» (Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 435). Плеханов Г. В. (1856—1918) — теоретик и пропагандист марксизма, деятель русского и международного рабочего движения. После поражения Декабрьского вооруженного восстания Плеханов писал в «Дневнике социал-демократа»: «Сила пролетариата оказалась недостаточной для победы. Это обстоятельство нетрудно было предвидеть. А потому не нужно было и браться за оружие». Нет, за оружие браться нужно...— Отвечая Плеханову, Ленин писал в статье «Уроки московского восстания»: «Напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие, нужно было разъяснять массам невозможность одной только мирной стачки и необходимость

бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы» (т. 13, стр. 371). И Л е н и н снова в своем изгнании.— После поражения первой русской революции Ленин был вынужден в декабре 1907 г. вновь эмигрировать в Швейцарию. С т р а ш н ы й ч е т ы р ь н а д ц а т ы й — начало первой мировой войны в 1914 г. П о л т а в а.— Имеется в виду бой под Полтавой 27 июня 1709 г., решающее сражение Северной войны (1700—1721), когда войска Петра I разбили армию шведского короля Карла XII. П л е в н а.— Речь идет о длительных боях за город Плевну (Плевен) с июля до декабря 1877 года во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. П р и с п о с о б и л и с ь В о в ы — популярный в годы первой мировой войны водевиль Е. А. Мировича «Вова приспособился», в котором показано, как тепло устроившийся в тылу Володя рьяно призывает всех «идти на фронт». Р у к и п р е д а в ш и е в ы м ы в — ставшее поговоркой библейское выражение «умыть руки» в значении устранившись от ответственности за что-либо. Ц и м м е р в а л ь д — международная социалистическая конференция интернационалистов, состоявшаяся 5—8 сентября 1915 г. в г. Циммервальде (Швейцария), на которой Ленин выступил с программой последовательного революционного интернационализма, с призывом бороться против войны за мир без аннексий и контрибуций. К т у р к а м ш л ю т.— Турция выступала в первой мировой войне на стороне Германии и Австро-Венгрии. Россия воевала с турками на Кавказском фронте и на Черном море. В е р д е н — Верденская операция, бои в феврале — декабре 1916 г. за укрепленный район г. Вердена на северо-востоке Франции, в ходе которой погибло около миллиона солдат и офицеров. Д в и н а — то есть Западная Двина, ставшая с осени 1915 г., когда война между Россией и Германией приняла позиционный характер, пограничной рекой на северном участке фронта. Д о в о л ь н о ! П р е в р а т и м в о й н у н а р о д о в в г р а ж д а н с к у ю в о й н у ! — Маяковский приводит слова Ленина из его статьи «Положение и задачи социалистического Интернационала»: «...работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная социалистическая работа в эпоху империалистического вооруженного столкновения буржуазии всех наций» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 41). П о д ы м е м з н а м я г р а ж д а н с к о й в о й н ы ! — ленинский лозунг из той же статьи «Положение и задачи социалистического Интернационала» (у Ленина: «Поднимем знамя гражданской войны!»). Т а в р и з (Тебриз) — город на северо-западе Ирана, один из центров демократического движения XX в. Т а с к а т ь , к а к и в с т а р ь , и з о г н я к а ш т а н ы — выражение из басни Лафонтена (1621—1695) «Обезьяна и Кот»: Обезьяна заставляла Кота доставать из огня жареные каштаны; Кот обжигал себе лапы, а каштаны съедала Обезьяна. Выражение употребляется в значении: с риском для себя трудиться ради выгоды другого. Г о г е н ц о л л е р н ы — династия прусских королей и германских императоров, последний из Гогенцоллернов — Вильгельм II был свергнут с престола Ноябрьской революцией в 1918 г. в Германии. Д а р д а н е л ь с к и й , в д е в и ч е с т в е М и л ю к о в — иронически о лидере партии кадетов П. Н. Милюкове (1859—1943). Во время Февральской революции пытался спасти монархию, заменив Николая II его братом Михаилом. Став министром иностранных дел Временного

правительства, выступал за продолжение войны «до победного конца» и присоединение к России Дарданельского пролива. Премьер — глава Временного правительства А. Ф. Керенский (1881—1970). Ироническая метафора «вышивание гладью» говорит о дилетантизме Керенского в политике и напоминает о гоголевском губернаторе в «Мертвых душах», который «вышивал потлюю». Оборонцы — мелкобуржуазные партии, выступавшие за продолжение мировой войны «до победного конца» и поддержку военной политики Керенского. «Марш, марш на фронт, рабочий народ» — приспособленный к лозунгам оборонцев припев одной из наиболее популярных песен русского пролетариата «Варшавянки» (автор — польский социалист В. Свенцицкий, вольный русский перевод сделан в 1897 г. одним из соратников Ленина Г. М. Кржижановским). В «Варшавянке» — «марш, марш вперед, рабочий народ!». Савинков Б. В. (1879—1925) — один из лидеров партии эсеров, участвовавший в подготовке контрреволюционного заговора летом 1917 г. После Октябрьской революции продолжал контрреволюционную деятельность против Советской власти. С Финляндского вокзала по Выборгской. — В. И. Ленин вернулся из эмиграции в Петроград 3 апреля 1917 г. Встреченный тысячами рабочих и солдат, он произнес с броневика у Финляндского вокзала (на Выборгской стороне) речь, закончив ее словами: «Да здравствует социалистическая революция!» Литейный — Литейный проспект в Ленинграде, идущий от Финляндского вокзала к Невскому проспекту. Сбросим эсдечества обветшавшие лохмотья. — В статье «Задачи пролетариата в нашей революции» В. И. Ленин, предлагая заменить старое название «Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков)» названием «Российская Коммунистическая партия (большевиков)», писал: «Пора сбросить грязную рубашку, пора надеть чистое белье» (т. 31, стр. 183). Дом Кшесинской — в особняке балерины М. Ф. Кшесинской, подаренном ей Николаем II, в 1917 г. помещался ЦК РСДРП(б). «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй» — см. примечание на стр. 690. Примериваясь в июле. — Имеется в виду стихийное выступление петроградских рабочих и солдат 3—5 июля 1917 г. под лозунгом «Вся власть Советам!». Временное правительство направило против мирной демонстрации войска. На повестку дня стала вооруженная борьба трудящихся за власть. На мушку Ленина! — 7 июля 1917 г. Временное правительство издало приказ об аресте Ленина. В. И. Ленин переехал к рабочему Н. А. Емельянову на станцию Разлив в 30 км. от Петрограда, а через несколько дней поселился в шалаше за озером Разлив. Когда в конце августа наступили холода, ЦК партии организовал переезд Ленина в Финляндию. Ленин сам явился в Питер. — 7 октября Ленин по решению ЦК партии нелегально переезжает из Выборга в Петроград. 10 октября состоялось историческое заседание ЦК партии большевиков, принявшее по предложению Ленина резолюцию о вооруженном восстании. От гуда дрожит взбудораженный Смольный. — В дни Октябрьской революции Маяковский бывал в Смольном. В своем выступлении на первой Всесоюзной конференции ВААП в январе 1925 г. Маяковский заявил, что писал картину Смольного с натуры: «Немногим из нас было

дано счастье увидеть товарища Ленина. Взятый мною факт это один из тех, которые я описывал с натуры. Эта картина была в дни революции буквально списана с товарища Ленина...» **Н о б е л е ц.**— Имеются в виду рабочие петроградского сталелитейного завода, основанного шведским промышленником Эммануэлем Нобеле (1801—1872), активно участвовавшие в революционной борьбе. **П у т и л о в е ц.**— Рабочие основанного в Петербурге в 1801 г. чугунолитейного завода (ныне Ленинградский Кировский завод) во время Октябрьской революции в составе отрядов Красной гвардии участвовали в штурме Зимнего дворца и охране Смольного. **В л а с т ь С о в е т а м! З е м л я к р е с т ь я н а м! М и р н а р о д а м!**— Речь идет о первых исторических декретах Советской власти, принятых Всероссийским съездом Советов по предложению Ленина 26 октября 1917 г. **Д у х о н и н Н. Н. (1876—1917)** — генерал царской армии. После бегства Керенского исполнял обязанности верховного главнокомандующего. Ярый враг Советской власти. Убит в Могилеве толпой солдат и матросов, возбужденных известием об освобождении им из тюрьмы руководителей корниловщины (Л. Г. Корнилова, А. И. Деникина и др.). **К о р н и л о в Л. Г. (1870—1918)** — один из руководителей российской контрреволюции, верховный главнокомандующий, возглавивший в августе 1917 г. контрреволюционный мятеж, а в ноябре 1917 г. — белогвардейскую Добровольческую армию. **Г у ч к о в А. И. (1862—1936)** — крупный капиталист, основатель и лидер буржуазно-помещичьей контрреволюционной партии октябристов, воспользовавшейся датой конституционного манифеста 17 октября 1905 г. как названием партии; один из организаторов корниловщины. После победы Октябрьской революции боролся против Советской власти. «**М и р х и ж и н а м, в о й н а, в о й н а, в о й н а д в о р ц а м**» — один из популярных лозунгов французской буржуазной революции XVIII в., который Ленин включил в свое «Воззвание к солдатам всех воюющих стран» (1917). **М ы и к у х а р к у к а ж д у ю в ы у ч и м у п р а в л я т ь г о с у д а р с т в о м!** — В статье «Удержат ли большевики государственную власть?» Ленин писал: «Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством... Мы требуем, чтобы о б у ч е н и е делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно н а ч а л и привлекать всех трудящихся, всю бедноту» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 315). **В и л ь г е л ь м о в с а п о г** — Вильгельм II (1859—1941), германский император и король Пруссии (1888—1918), способствовавший развязыванию первой мировой войны и активно продолживший военные действия против Советской России. **П о х а б н ы й Б р е с т.**— Имеется в виду мирный договор, заключенный Советской Россией с Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией в Брест-Литовске (ныне Брест) 3 марта 1918 г. и положивший конец участию России в первой мировой войне. «Похабным» этот мир назван потому, что Германия насильно навязала Советской России непомерно тяжелые условия договора. В. И. Ленин считал необходимым принять даже такие условия, чтобы дать стране передышку и сохранить завоевания Октябрьской революции. Выступая по вопросу о заключении мира, Ленин говорил на VII съезде партии: «...я хочу уступить пространство факти-

ческому победителю, чтобы выиграть время. В этом вся суть, и только в этом» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 27). С гидрой плакаты.— В плакатах эпохи гражданской войны контрреволюция часто изображалась в виде многоголовой гидры. «Мы смело в бой пойдем за власть Советов...» — припев популярной революционной песни периода гражданской войны, исполнявшейся на мотив известного романса «Белой акации гроздь душистые...». Путь на завод Михельсона.— 30 августа 1918 г. В. И. Ленин выступал перед рабочими в Замоскворецком районе Москвы на заводе Михельсона (ныне завод им. Владимира Ильича). После выступления, когда Ленин подходил к автомобилю, он был тяжело ранен эсеркой-террористкой Ф. Каплан. Осьм у ш к а.— Имеется в виду одна восьмая часть фунта хлеба (51 грамм). Н и к о л а е в к и д а к ё р е н к и — бумажные деньги времен царствования Николая II и правления Керенского. Р у м б — деление на круге компаса, соответствующее $1/32$ части горизонта. А р ш и н у у ч и с ь — то есть учись торговать. На XI съезде партии весной 1922 г. Ленин поставил задачу перед коммунистами научиться торговать. И Ленин сам...— Речь идет о Всероссийском субботнике 1 мая 1920 г., в котором Ленин принял личное участие. Мы д в и н е м с я в о с т о р а з м е д л е н н е й...— Маяковский использует слова Ленина, сказанные на XI съезде партии: «...Если мы капитализм побьем и смычку с крестьянской экономикой создадим... тогда рядовой крестьянин будет видеть: они мне помогают; и он тогда пойдет за нами так, что если эта поступь и будет в сто раз медленнее, зато будет в миллион раз прочнее и крепче» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 92). Но это уже полезней проделывать, чем об этом писать.— В послесловии к первому изданию книги «Государство и революция» Ленин писал: «...Приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 120). Д о з в о н к и х к о п е е к.— В 1922—1924 гг. была проведена денежная реформа: обесцененные бумажные деньги были заменены твердой валютой — червонцем. Тогда же появились «звонкие копейки»: серебряные и медные монеты с эмблемой Советского государства — серпом и молотом. К л а н я ю т с я И л ь и ч е в о й р е с п у б л и к е С о в е т о в.— В 1922 г. в результате международной Генуэзской конференции по экономическим и финансовым вопросам Советской Республике удалось прорвать единый фронт империалистических государств, пытавшихся добиться изоляции Советского государства. П а н с к и е в о е в о д ы.— Имеются в виду офицеры армии польского маршала Пилсудского, вторгшейся в 1920 г. в Советскую Россию. М а м о н т о в. К. К. (1869—1920) — белоказачий генерал, командовавший Донским конным корпусом в контрреволюционных армиях Краснова и Деникина, отличался особой жестокостью в расправе с мирным населением. Разбит конным корпусом С. М. Буденного под Касторной. С ж и г а л и н а с я п о н ц ы.— В апреле 1920 г. японские интервенты захватили власть во Владивостоке и арестовали руководство Революционного военного совета. В конце мая 1920 г. японцы вывезли из Владивостока героя партизанского движения Приморья С. Г. Лазо и его соратников А. Н. Луцкого и В. М. Сибирцева и после пыток сожгли их в паровозной топ-

ке. Пятиэтажное здание Съезда Советов.— 22 января 1924 г. на утреннем заседании XI Всероссийского съезда Советов в здании Большого театра М. И. Калинин сообщил о смерти В. И. Ленина. Это его несут с Павелецкого.— Траурный поезд с телом В. И. Ленина прибыл из Горок в Москву на Павелецкий вокзал 23 января в час дня. Святцы — церковная книга, содержащая список имен святых и церковных праздников в календарном порядке. Коммунары с-под площади Красной.— На Красной площади у Кремлевской стены похоронены борцы революции, павшие за Советскую власть во время октябрьских боев 1917 г. Тверская и Дмитровка.— Очередь пришедших проститься с телом В. И. Ленина растянулась вдоль прилегающих к Дому Союзов улиц — Тверской (с 1932 г. ул. Горького) и Большой Дмитровки (с 1937 г. Пушкинская улица). Бездонный обрыв в четыре ступени.— Поэтический образ строится на сопоставлении реальных ступеней у гроба Ленина и тех предшествующих коммунизму четырех общественно-экономических формаций (первобытный строй, рабовладение, феодализм и капитализм), которые представляются страшным обрывом в прошлое. Подобная образная многозначность особенно характерна для заключительной части этой поэмы (ср. «революции и сына и отца», «все сквозь газетное ситко черный засеял снег»). Надежда Константиновна — Крупская Надежда Константиновна (1869—1939), жена В. И. Ленина, его друг и соратник, видный деятель Коммунистической партии и Советского государства. «Прощай же, товарищ, ты честно прошел...» — перефразированные строки известной революционной песни «Вы жертвою пали...» — «Прощайте же, братья, вы честно прошли свой доблестный путь, благородный». «Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои» — строки из песни на слова поэта-народника Г. А. Мачтета (1852—1901), особенно любимой Лениным. На черный, посыпанный снегом кружок — циферблат часов на Спасской башне Кремля. К последней четверке прыжок.— В четыре часа дня 27 января 1924 г., когда гроб с телом Ленина установили во временном мавзолее, был произведен салют и на пять минут прекращена работа на фабриках и заводах, приостановлено движение транспорта. Муралов Н. И.— в то время командующий Московским военным округом, член комиссии по организации похорон Ленина. Четыреста тысяч от станка горячих... — массовый прием в РКП(б) передовых рабочих в 1924 г., происходивший в связи с кончиной Ленина (подано около 400 тысяч заявлений, принята 241 тысяча человек). «По морям, по морям, нынче здесь, завтра там» — припев песни поэта и журналиста В. С. Межевича (1814—1849), из его драмы «Артур, или Шестнадцать лет спустя» (1839). Песня эта приобрела широкую популярность в годы гражданской войны и, как рассказывает Д. Фурманов в романе «Чапаев» (1923), стала любимой песней В. И. Чапаева. «Раз, два, три! Пионеры мы...» — слова одной из первых пионерских песен начала 20-х годов.

ХОРОШО!

(Стр. 551—616)

Начало работы над поэмой относится к декабрю 1926 — первым месяцам 1927 г., заключительные главы написаны в июле — начале августа 1927 г. в Крыму. Первая часть поэмы (главы 2—8) предназначались для юбилейного представления в связи с 10-летием Октября и были инсценированы для праздничного спектакля, шедшего в октябрьские дни 1927 г. в Ленинградском Малом оперном театре. Отдельным изданием поэма «Хорошо!» вышла в середине октября 1927 г. Одно из первых чтений состоялось 18 октября 1927 г. в Красном зале МК ВКП(б) для актива московской партийной организации. А. В. Луначарский назвал новую поэму Маяковского «Октябрьской революцией, отлитой в бронзу». «Хорошо» считаю программной вещью, вроде «Облака в штанах» для того времени», — писал поэт в автобиографии «Я сам».

Этот день... — то есть 25 октября 1917 г. Г у н к о в — см. примечание к поэме «Владимир Ильич Ленин». Р о д з я н к о М. В. (1859—1924) — крупный помещик, один из лидеров партии октябристов, председатель Государственной думы (с 1911 г.), после Февральской революции возглавил Временный комитет Государственной думы. Р а с т р е л л и Варфоломей Варфоломеевич (1700—1771) — русский архитектор, представитель русского барокко, итальянец по происхождению. По его проекту в 1754—1762 гг. в Петербурге построена главная резиденция российских императоров Зимний дворец, в котором ныне расположен Государственный Эрмитаж. П р и с я ж н ы й п о в е р е н н ы й. — Маяковский иронически описывает главу Временного правительства А. Ф. Керенского («вертлявый пострел», «сам себя уверенно и быстро назначает — то военным, то юстиции, то каким-нибудь еще министром»). До революции Керенский был присяжным поверенным, то есть адвокатом. После Февральской революции был во Временном правительстве министром юстиции (март — май 1917), военным и морским министром (май — сентябрь), с июля одновременно министр-председатель (премьер), а с августа верховный главнокомандующий. В день Октябрьского вооруженного восстания бежал из Петрограда на фронт и возглавил мятеж Керенского — Краснова, после разгрома которого бежал на Дон и затем эмигрировал во Францию, позднее в США. Г л а з а у н е г о б о н а п а р т ы и ц в е т а з а щ и т н о г о ф р е н ч. — Высмеивая стремление Керенского подражать Наполеону, Маяковский использует ритмико-интонационные особенности «Воздушного корабля» Лермонтова. А г р а р и е б е с п о р я д к и — так буржуазия и помещики называли захват и раздел крестьянами помещичьих земель. К о р н и л о в — см. примечание к поэме «Владимир Ильич Ленин». Доверенные лица Керенского вели с Корниловым переговоры о посылке в Петроград конного казачьего корпуса в случае выступления большевиков. И м п е р а т о р а ? Н а в о д у ? И ч е р н у ю к о р к у ? — Исполнительный комитет Петроградского Совета постановил арестовать свергнутого Николая II и заключить в Петропавловскую крепость. У Временного правительства было намерение отправить его вместе с семьей за границу, в Англию. Г е о р г V (1865—1936) — король Англии в 1910—1936 гг., двоюродный брат Николая II. Е г о р и с у ю т —

и Бродский и Репин.— Художники Илья Ефимович Репин (1844—1930) и Исаак Израилевич Бродский (1883—1939) летом 1917 г. писали портреты Керенского. В 1926 г. Репин передал написанный им портрет Музею Революции СССР. Кускова Е. Д. (1869—1958) — русская общественная деятельница. Желая подчеркнуть эволюцию общественно-политических позиций Кусковой, считавшей себя в 90-е годы марксисткой, а после 1917 г. ставшей участницей контрреволюционного подполья и врагом Советской власти, Маяковский дает ей в «няни» П. Н. Милюкова (см. примечание к поэме «Владимир Ильич Ленин»). Высмеивая прекраснодушие буржуазной интеллигенции, преклонявшейся перед Керенским, Маяковский сатирически перефразирует разговор Татьяны Лариной с няней из III главы «Евгения Онегина». Михаил Романов (1878—1918) — брат Николая II, в пользу которого Николай отрекся от престола. В период Февральской революции Милюков и Родзянко пытались сохранить монархию, заменив Николая Михаилом. Аксельбанты — плетеное украшение в виде шнура из золотых или серебряных нитей с металлическими наконечниками, носимое на правом плече; знак отличия некоторых военных чинов и должностных лиц царской России. ...Говорили — адъютант (в «Селекте» на Лиговке) и штабс-капитан Попов. «Селект» — название гостиницы в Петрограде. Попов — здесь: художественное обобщение, имеющее, однако, реальный прототип. В Военно-автомобильной школе, где в 1915—1917 гг. служил призванный в армию Маяковский, снискал общую ненависть грубостью и жестокостью штабс-капитан Попов. От Вильгельма кресты да ленты — пьяный штабс-капитан повторяет клевету, распространявшуюся буржуазной печатью о Ленине и политических эмигрантах, вернувшихся после свержения самодержавия из Швейцарии на родину через Германию и Швецию (будто большевики были подкуплены немецким кайзером Вильгельмом II). Каледина А. М. (1861—1918) — царский генерал, глава казачьей контрреволюции на Дону. В августе 1917 г. выступил с программой подавления революционного движения, после Октябрьской революции поднял мятеж на Дону, поражение которого заставило Каледина застрелиться. Челядь чайники бесшумно подавала — во время войны торговля спиртными напитками была запрещена и в ресторанах под видом чая подавали спиртное в чайниках. Казатчина и самокатчина — конные казачьи войска и военнослужащие самокатных частей (пехота, посаженная на самокаты), вызванные Временным правительством для обороны Зимнего дворца. Сюда направляют с Гатчины. — Временное правительство распорядилось вывести из Петрограда революционно настроенные войска и ввести в город казаков, расквартированных в Гатчине (город в 45 км. от Петрограда). Выборгская сторона — рабочий район Петрограда. Литейный мост — мост через Неву, соединяющий Выборгскую сторону с центральной частью города. Лашевич Михаил Михайлович (1884—1928) — член Военно-революционного комитета Петроградского Совета. Ему было поручено во главе рабочих отрядов занять почту, телеграф и телефон. Сам приехал... — то есть В. И. Ленин. Александра Федоровна — жена царя Николая II. Здесь игра слов: Керенского звали Александр Федорович. Троицкий — мост через Неву

в Петрограде (ныне Кировский мост). К р о н ш т а д т ц ы — моряки из военной крепости Кронштадт, выступившие в Октябрьскую революцию на стороне большевиков. Т и х и й, в р о д е у п а к о в а н н о й т р у б ы... — Высмеивая пристрастие Керенского к парадным речам, Маяковский сравнивает его с оркестровой трубой, которую упаковали в дорогу. «В з б у н т о в а в ш и е с я р а б ы!..» — эта циничная фраза была сказана Керенским в апреле 1917 г. на совещании делегатов фронта. М и л л и о н н а я — улица, ведущая к Зимнему дворцу (ныне улица Халтурина). К е к с г о л ь м ц ы — солдаты Кексгольмского полка, выступившие в октябре 1917 г. на стороне большевиков. И л ь и ч г р и м и р о в а н н ы й. — Скрываясь от агентов Временного правительства, отдавшего приказ о его аресте, В. И. Ленин загримировался, чтобы неузнанным попасть в Смольный институт, где помещался Военно-революционный комитет и штаб восстания, А н т о н о в - О в с е е н к о В л а д и м и р Александрович (1883—1939) — в октябре 1917 г. был секретарем Петроградского Военно-революционного комитета, один из руководителей штурма Зимнего дворца и ареста Временного правительства. П о д в о й с к и й Николай Ильич (1880—1948) — в дни Октябрьского восстания был председателем Военно-революционного комитета в Петрограде и одним из руководителей штурма Зимнего дворца. Описывая свержение Временного правительства, Маяковский пользовался воспоминаниями участников событий, и в частности Подвойского. П а в л о в ц ы — солдаты Павловского пехотного полка, выступившие на стороне революции и принявшие участие в штурме Зимнего дворца. К у д а п р о т и в н а с б о ч к а р е в с к и м д у р а м?! — Среди войск, защищавших Временное правительство, был Первый петроградский женский батальон, которым командовала М. В. Бочкарева. М и х а й л о в ц ы, к о н с т а н т и н о в ц ы — юнкера Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ, выступавшие на стороне Временного правительства. П р о к о п о в и ч С. Н. (1871—1955) — министр продовольствия в правительстве Керенского. Не присутствовал на последнем заседании Временного правительства, поскольку не смог пройти в осажденный восставшими Зимний дворец. Н и к о л а е в с к и й м о с т — мост через Неву (ныне мост Лейтенанта Шмидта); по приказу Военно-революционного комитета 24 октября 1917 г. крейсер Балтийского флота «Аврора» подошел к Николаевскому мосту. К о н о в а л о в А. И. (1875—1948) — крупный текстильный фабрикант, министр торговли и промышленности в правительстве Керенского, а также его заместитель. Ф о р т ы П е т р о п а в л о в к и — укрепления Петропавловской крепости, расположенной на берегу Невы напротив Зимнего дворца. Т е х т р и н а д ц а т ь — то есть тринадцать министров Временного правительства, арестованных при взятии Зимнего дворца. «З д р а в с т в у й т е, А л е к с а н д р Б л о к...» — Об этой встрече с Блоком Маяковский рассказал в некрологе «Умер Александр Блок»: «Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо», — сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли». Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанные в его

поэме «Двенадцать». Текст 7-й главы поэмы «Хорошо!» насыщен скрытыми параллелями и полемикой с поэмой Блока «Двенадцать». «Незнакомки», «дымки севера» — характерные для Блока поэтические образы. По воде шагающего Христа — библейский миф о Христе, прошедшем как по суше по водам Геннисаретского озера, сочетается здесь с образом Христа, идущего во главе красногвардейского патруля в финале поэмы Блока «Двенадцать». Такого отечества такой дым разве уж настолько приятен? — перефразировка слов из «Горе от ума» А. С. Грибоедова: «И дым отечества нам сладок и приятен» (д. 1, явл. 7). Национальный трутень — так Маяковский называет буржуазию (трутень — пчела, не собирающая меда, не работающая). «Сюртэ-женераль», «интеллиженс-сервис», «дефензивы», «сигуранцы» — названия контрразведки во Франции и Англии и политической полиции в бывшей панской Польше и монархической Румынии. Голубые чехи. — Состоявшие из чехов (носивших голубые мундиры) части австрийской армии, сдавшиеся в плен русским во время мировой войны, в 1918 г. подняли контрреволюционный мятеж в Сибири и Поволжье, облегчив тем самым наступление адмирала Колчака. Двина-река, кровью крашенная. — Английские интервенты, захватившие в 1918 г. Архангельск, производили там массовые расправы с населением. «Итсэ-лонг-уэй-ту-Типерери...» — начальные строки английской солдатской песни времен первой мировой войны («Путь далек от Типерери, путь далек домой»). «Фратэрнитэ» и «эгалитэ» («братство» и «равенство») — лозунги французской буржуазной революции XVIII века, ставшие официальным лозунгом буржуазной демократии. «Янки-дудль...» — слова патриотической народной песенки времен американской революции. Образ неотесанного простака Янки Дудля стал со временем символом американца («Янки Дудль, подтянись, покажи нам удаль»). Стахеев — золотопромышленник, дореволюционный владелец дома, в котором жил Маяковский (Лубянский проезд, 3). После революции дом находился в ведении Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), ныне в нем расположен Государственный музей В. В. Маяковского. Слушают асфальт с копейками в окне — то есть слушают бродячих шарманщиков, бросая им из окон деньги. «Трансваль, Трансваль, страна моя...» — популярная в годы первой русской революции песенная переработка стихотворения Г. А. Галиной-Оренбургской (1873—1942) «Бур и его сыновья» (1899). Трансвааль — провинция ЮАР. Главтоп (Главное управление топливной промышленности при ВСНХ). — Весной 1920 г. в Верховном трибунале разбиралось дело о крупных спекуляциях в Главтопе, помещавшемся во дворе дома, в котором жил Маяковский. Фунт (около 400 граммов) — по хлебным карточкам первой (самой высокой) категории, которые получали рабочие, выдавалось по фунту хлеба в день. Филиппов — известный в дореволюционной Москве владелец булочных и кондитерских. Едят у Зунделовича — частная столовая в доме, где жил Маяковский. Анатолий Васильич —

народный комиссар просвещения РСФСР с 1917 по 1929 г. А. В. Луначарский. Л и л я — Лиля Юрьевна Брик (1891—1978), жена О. М. Брика. О с я — Осип Максимович Брик (1888—1945) — критик, друг Маяковского. Я р о с л а в с к и й — вокзал Северной железной дороги в Москве. Из-за недостатка топлива во многих домах замерзали канализационные трубы. Б о л и в о л ж с к о й — голода, постигшего Поволжье в 1921—1922 гг. О л я — сестра поэта Ольга Владимировна Маяковская (1891—1949). Б р е д е т т р е х в е р с т н о й П р е с н е ю — улица в Москве (ныне Красная Пресня), где жили мать и сестры Маяковского. Г о р я ч к о й т и ф о з н о й — в годы гражданской войны в Москве была эпидемия тифа. П о д у х о м с а м ы м л е с т н и ц а. — За стеной комнаты, в которой жил Маяковский, находилась входная лестница. М а м о н т о в — см. примечание к поэме «Владимир Ильич Ленин». С е г о д н я д е н ь в б е ж а л в т о р о п я х... — Речь идет о покушении на Ленина 30 августа 1918 г. эсеркой Ф. Каплан. С а л о п г о в о р и т ч у й к е — то есть обыватель говорит обывателю; с а л о п — старомодная женская шуба; ч у й к а — мужской длинный кафтан. Л у б я н с к а я л а п а Ч е - к а — Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) помещалась на Лубянской площади (ныне пл. Дзержинского). 2 сентября 1918 г. в связи с покушением на Ленина было принято решение ВЦИК о красном терроре против буржуазии и ее агентов. М ы т о л ь к о м о ш к и, м ы ж д е м к о р м е ж к и. — Маяковский перефразирует в применении к обывателям популярную уличную песенку «Цыпленок жареный, цыпленок пареный...». Л а в у т П. И. (р. 1898) — устроитель вечеров и выступлений Маяковского в городах СССР в 1926—1930 гг. «А л м а з» — крейсер, на котором Врангель 15 ноября 1920 г. бежал из Крыма. Ш т а н д а р т н а я я х т а — яхта со штандартом — флагом, обозначающим присутствие на судне командующего флотом. У з е л — мера скорости движения судов (одна морская миля в час). З а в т р а ш н и е г а л л и п о л и й ц ы — бежавшие из Крыма белогвардейцы высадились на полуострове Галлиполи (европейская часть Турции). «И с н а м и В о р о ш и л о в...» — слова из популярной в те годы советской песни «Марш Буденного» (слова А. Д. Актиля). П о к а у б и т о г о к р о в ь г о р я ч а. — Маяковский говорит о демонстрациях протеста в связи с предательскими убийствами за границей советских работников В. В. Воровского (1923), П. Л. Войкова (1927), похороненных на Красной площади. Я з д е с ь б ы в а л в б а р а б а н а х с т у ч а щ и х и в м е р т в о м х о л о д е с л е з и л ь д и н — то есть во время майских и октябрьских парадов и в дни похорон В. И. Ленина. М е с т о л о б н о е — круглый каменный помост на Красной площади в Москве, построенный в 1534 г. для объявления важнейших правительственных указов и для торжественных церемоний; широко распространено ошибочное представление, будто на Лобном месте происходили казни. С т е н а — и ж е н щ и н а с о з н а м е н е м — барельеф работы скульптора С. Т. Коненкова, был установлен на Кремлевской стене над братскими могилами рабочих и красногвардейцев, погибших в уличных боях в октябре — ноябре 1917 г. В 1949 г. этот барельеф перенесен в Музей Революции в Москве. К р а с и н Леонид Борисович (1870—1926) — советский государственный и партийный деятель, первый

советский посол во Франции. Маяковский вспоминает восторженную встречу Красина трудящимися Парижа, которую он наблюдал 4 декабря 1924 г. Д о р и ó Жак (р. 1898) — в то время один из руководителей Французской компартии, впоследствии изменил делу рабочего класса. В о й к о в Петр Лазаревич (1888—1927) — полпред СССР в Польше в 1924—1927 гг.; убит в Варшаве 7 июня 1927 г. белогвардейским террористом. Маяковский виделся с ним во время пребывания в Варшаве в середине мая 1927 г. Н а к р а с н о м п о г о с т е — то есть у Кремлевской стены, где похоронены борцы революции. М о л о д ц ы — в е н ц ы! — Маяковский имеет в виду восстание венских рабочих в июле 1927 г., о котором писали тогда газеты. Восставшие подожгли здание суда. З е р г у т (нем.) — очень хорошо.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

(Стр. 616—621)

Написана в декабре 1929 — январе 1930 г. Первое публичное чтение состоялось 1 февраля 1930 г. на открытии отчетной выставки «20 лет работы Маяковского» в клубе Федерации писателей в Москве. Работа над поэмой «Во весь голос» проходила одновременно с подготовкой выставки. Выступая 25 марта 1930 г. в Доме комсомола Красной Пресни на вечере, посвященном двадцатилетию его деятельности, Маяковский отмечал эту непосредственную связь: «Последняя из написанных вещей — о выставке, так как это целиком определяет то, что я делаю и для чего я работаю. Очень часто в последнее время вот те, кто раздражен моей литературно-публицистической работой, говорят, что я стихи просто писать разучился и что потомки меня за это взгреют... Я человек решительный, я хочу сам поговорить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать мои критики в будущем. Поэтому я обращаюсь непосредственно к потомкам в своей поэме, которая называется «Во весь голос». При жизни не была опубликована. В записной книжке с беловым автографом поэмы имеется подзаголовок «Первое вступление в поэму о пятилетке».

А с с е н и з а т о р — работник, занимающийся ассенизацией, оздоровлением почвы и гигиенических условий местности, удалением и обезвреживанием нечистот. С а м а с а д и к я с а д и л а, с а м а б у д у п о л и в а т ь — слова популярной в те годы частушки. К у д р е в а т ы е М и т р е й к и, м у д р е в а т ы е К у д р е й к и — молодые поэты К. Н. Митрейкин (1904—1934) и А. А. Кудрейко (р. 1907), близкие в то время к группировке «Литературный центр конструктивистов», которую Маяковский резко критиковал в ряде выступлений 1929—1930 гг. за эстетство и увлечение техницизмом. «Т а р а - т и н а, т а р а - т и н а, т - э н - н...» — Маяковский высмеивает формалистические ухищрения главы «Литературного центра конструктивистов» поэта Ильи Сельвинского (1899—1968), цитируя строки стихотворения «Цыганский вальс на гитаре» (1922):

И доно́сйтсѧ то́лько стон'ы? гитта́оры:

Та́ратинна-та́ратинна-tan...

А г и т п р о п — см. примечание к стихотворению «6 монахинь». П р о в и т я з ь — неологизм, образованный от слов «провидец» и «витязь»; поэт

утверждает, что значение его стихов не в поэтизации легендарного прошлого, а в отражении настоящего и борьбы за коммунистическое будущее. Н у м и з м а т — знаток и собиратель старинных монет и медалей... В о д о п р о в о д, с р а б о т а н н ы й е щ е р а б а м и Р и м а — наземные и подземные водопроводные системы (акведуки). Частично сохранились акведуки Рима (с 4 г. до н. э.) и провинций Римской империи. Особенно известны акведуки Марция в Риме (140 г. до н. э.) и Клавдия близ Рима (38—52), являющиеся выдающимися архитектурными памятниками античности. М ы д и а л е к т и к у у ч и л и н е п о Г е г е л ю.— Маяковский противопоставляет книжной учености современных ему толкователей культурного наследия прошлого добытое в реальных битвах за коммунизм знание основ классовой борьбы и «место поэта в рабочем строю». Л е т а — в древнегреческой мифологии река в подземном царстве; души умерших, испив воду из Леты, забывали прошлое. В переносном смысле Лета обозначает забвение. Ш е р ш а в ы м я з ы к о м п л а к а т а.— Имеется в виду работа Маяковского над плакатами «Окна» Роста. Ц е К а К а (Центральная контрольная комиссия) — партийный орган, избиравшийся съездом ВКП(б) (теперь Комиссия партийного контроля).

ИЗ НЕОКОНЧЕННОГО

(Стр. 621—622)

Кроме первого вступления в поэму «Во весь голос» Маяковским, по свидетельству друзей, было задумано второе, лирическое вступление. Замысел не был осуществлен, но в записных книжках поэта сохранилось несколько отрывков, относящихся к этому «второму» вступлению.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

МОЕ ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

(Стр. 623—660)

Книга состоит из четырех очерков: «Мексика», «Нью-Йорк», «Америка» и «Отъезд». Работа над книгой началась еще во время путешествия Маяковского за границы (май — ноябрь 1925 г.). Отрывки печатались в журналах и газетах в первой половине 1926 г., в августе 1926 г. вышло отдельное издание книги.

Д а н т а у н (Даунтаун) — деловая часть Нью-Йорка. Н и к е л ь — пятицентовая монета. В о й н а з а о с в о б о ж д е н и е.— Речь идет о войне за независимость США от Англии (1775—1783). С т е к л я н н ы й и л и с е р е б р я н н ы й п у з ы р е к.— В период между 1920 и 1933 гг. торговля алкогольными напитками была запрещена в США специальной поправкой к конституции, что и нашло отражение в описании употребления незаконного виски. Э л е в е й т е р — см, примечание к стихотворению «Бродвей». А й - д о б л ь - д о б л ь - ю (I. W. W.) — сокращенное название профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира», основанной в 1905 г. и сыгравшей значитель-

ную роль в истории американского рабочего движения. В 20-е годы после ухода из «ИРМ» революционных элементов, перешедших в Компартию США, организация постепенно сошла с политической арены. У с м и р и т е л я И р л а н д и и.— В 1916 г. в Ирландии вспыхнуло народное восстание, жестоко подавленное английскими войсками. С о б в е й (англ.) — метро. А й с к р и м (англ.) — мороженое. Г е н е р а л Г р а н т Улисс Симпсон (1822—1885) — главнокомандующий войсками северян в заключительный период гражданской войны 1861—1865 гг., президент США в 1869—1877 гг. Усыпальница Гранта и его жены на Риверсайд-Драйв и 122-й стрит превращена в национальный мемориал. К у л и д ж — см. примечание к стихотворению «Прощание (Кафе)». Г о л и а ф — легендарный библейский великан. Ф а й ф - о - к л о к (англ.) — чаепитие в 5 часов вечера. П р о г и б и ш е н.— Имеется в виду закон, запрещающий употребление спиртных напитков. Р а х м а н и н о в Сергей Васильевич (1873—1943) — выдающийся русский композитор, пианист и дирижер. С 1918 г. жил в США, занимаясь концертно-пианистической деятельностью. В а н д е р б и л ь д — один из крупнейших миллиардеров США. «А т т а б о й» (искаженное англ. *hat's a boy*) — вот это парень! Б ы ч о к — здесь: изображение на долларе. Л и н к о л ь н А в р а а м (1809—1865) — выдающийся государственный деятель США, президент во время гражданской войны 1861—1865 гг., национальный герой американского народа. Убит агентом рабовладельцев. П а к е н, А н а н — владельцы роскошных ателье одежды и обуви в Париже. О б е з ь я н и й п р о ц е с с — распространенное название судебного процесса 10—21 июля 1925 г. в Дейтоне (штат Теннесси) над учителем Д. Скопсом, обвиненным в том, что он излагал в школе эволюционную теорию Ч. Дарвина. Суд приговорил Скопса к денежному штрафу. Процесс вызвал возмущение американской и международной прогрессивной общественности. М о н м а р т р — район Парижа, где сосредоточены увеселительные заведения. Б у т л е г е р — торговец контрабандными спиртными напитками. О с е н и 1920 — 1921 г.— В то время США переживали первый экономический кризис после первой мировой войны, армия безработных выросла до 5,5 миллиона человек, многие предприятия обанкротились. С а к л а т в а л а Шапурджи (1874—1936) — член ЦК Компартии Великобритании, депутат парламента, индеец по происхождению. «Д е й л и В о р к е р» («Дейли Уоркер») — ежедневная марксистская газета, издававшаяся с 1924 г. в Чикаго, а с 1927 г.— в Нью-Йорке; с 1968 г. издается под названием «Дейли Уорлд». А м е р и к а н с к и й д я д ю ш к а.— В старинных комедиях, особенно французских, счастливая развязка иногда заключалась в неожиданном получении наследства от полузабытого дяди, когда-то уехавшего в Америку; отсюда в переносном смысле — богатый родственник. А м е р и к у я видел только из окон вагона.— 27—30 июля 1925 г. Маяковский на поезде пересек Америку от мексиканской границы Ларедо до Нью-Йорка. После лекции в Чикаго выехать ночью на лекцию в Филадельфию.— Речь идет о выступлении Маяковского в Чикаго 20 октября и в Филадельфии 23 октября 1925 г. Т р и д ц а т ь л е т н а з а д В. Г. К о р о л е н к о...— Маяковский пересказывает по памяти описание Нью-Йорка из повести Короленко (1853—1921) «Без языка» (1895); в 1893 г. Короленко побывал

в Америке. Лет пятнадцать назад Максим Горький...— Имеется в виду памфлет А. М. Горького «Город Желтого Дьявола», написанный в результате поездки в США. Дело Ванцетти — рабочие-революционеры, выходцы из Италии, Бартоломео Ванцетти и Никола Сакко, были приговорены в июле 1921 г. к смертной казни по ложному обвинению в убийстве, что вызвало широкое движение протеста в США и во всем мире. После длительного тюремного заключения 23 августа 1927 г. они были казнены. Ку-клукс-клан — тайная расистская террористическая организация, создана в США в 1865 г. для борьбы с неграми и их белыми союзниками; в XX в. выступает против прогрессивных организаций США. Вельком (англ.) — добро пожаловать. Масоны — члены религиозно-этических тайных обществ, возникших в начале XVIII века в Англии и распространившихся по странам Европы, Азии, Америки. Приверженцами масонства были многие президенты США от Дж. Вашингтона до Г. Трумэна. Премакинтошенные полисмены — то есть одетые в макинтоши, непромокаемые прорезиненные плащи, получившие название по имени изобретателя прорезиненной ткани шотландского химика Чарлза Макинтоша (1766—1843). Шавли (Шауляй) — бывшее еврейское местечко в Литве, ныне город в Литовской ССР. Язык Вавилонского столпотворения — см. примечание к поэме «Облако в штанах». О'Генри (псевдоним Уильяма Сидни Портера, 1862—1910) — американский писатель, прославившийся юмористическими рассказами о бродягах и миллионерах, обывателях и жуликах, клерках и ковбоях. Ник Картер — герой многих дешевых американских детективов, сыщик, образ которого олицетворяет низкопробное чтение, популярное в конце XIX — начале XX в. Кулешов Лев Владимирович (1899—1970) — советский кинорежиссер, один из пионеров советского киноискусства, известный своим фильмом «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924). Дюма Александр (Дюма-отец, 1802—1870) — французский писатель, прославившийся историко-авантюрными романами «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо» и др. Бабка писателя со стороны отца, республиканского генерала, была негритянкой. Величайшего негритянского поэта А. С. Пушкина — некоторые негритянские деятели культуры склонны причислять Пушкина, прадед которого принадлежал к черной расе, к африканским писателям. Подогретые тexasскими кострами. — Имеются в виду случаи линчевания негров на Юге США в штате Техас, где в 1920-е годы усилилась деятельность Ку-клукс-клана. Карнеги Эндрю (1835—1919) — американский миллиардер. Научно-учебный Институт Карнеги, основанный на его деньги, находится в Питсбурге (штат Пенсильвания). Сэндбург (Сэндберг) Карл (1878—1967) — американский поэт-демократ. Маяковский почти полностью приводит его стихотворение «Чикаго» (1914), вошедшее в первый сборник Сэндберга «Чикагские стихи» (1916). Нотр-Дам — собор Парижской богородицы. Сдвигающиеся скалы. — Имеется в виду древнегреческий миф об аргонавтах, которые при входе в Черное море встретились со сдвигающимися и раздвигающимися скалами (Симплегадами) и успели проплыть между ними, после чего скалы вновь сомкнулись. Волстрит (Уолл-стрит) — улица в деловой части Нью-Йорка, на которой

расположены крупнейшие банки и название которой стало синонимом американского финансового капитала. Е г о о д н о ф а м и л е ц В у д р о — Вудро Вильсон (1856—1924), президент США в 1913—1921 гг., поддерживавший интервенцию против Советской России в годы гражданской войны (в 1918 г. американские войска высадились на Севере и Дальнем Востоке России). К е л л о г Фрэнк Биллингс (1856—1937) — американский государственный деятель, в 1925—1929 гг. государственный секретарь США; выступал против признания Соединенными Штатами СССР. В Ч и к а г о и д у т к м о г и л ь н о й п л и т е п е р в ы х п о в е ш е н н ы х р е в о л ю ц и о н е р о в. — Во время пребывания в Чикаго Маяковский посетил могилу повешенных в 1887 г. руководителей чикагских рабочих. Д е т р о й т. — Маяковский выступал в Детройте 30 сентября и 18 октября 1925 г. П у л ь м а н — большой пассажирский вагон, названный пульмановским по фамилии американского заводчика и изобретателя спальных вагонов Джорджа Пульмана (1831—1891). П р е с л о в у т а я К и р и л и ц а. — Имеется в виду жена Кирилла Романова, двоюродного брата Николая II, одного из претендентов на русский престол после казни Николая II. «П р и н ц» Б о р и с — брат Кирилла Романова. Р о д ч е н к о Александр Михайлович (1891—1956) — советский художник, мастер фотоискусства, художественно оформил издание многих книг Маяковского. Ф р е н ч л а й н (англ.) — французская пароходная линия. А м е р и к а н с к а я б а б а - с в о б о д а. — Имеется в виду статуя Свободы на небольшом острове при входе в нью-йоркский порт, символ американской демократии в виде женщины с факелом в руке. Подарена США Францией, открыта в 1886 г. Рядом, на острове Элис-Айленд, находился пункт проверки лиц, въезжающих в США, напоминавший своим режимом тюрьму. Элис-Айленд известен под названием «Остров слез». Р е г а р д э (франц.) — смотрите. Т о м б о л а (итал.) — лотерея. Ф о р д з о н — машины марки «Форд и сын». А м т о р г — учрежденное в 1924 г. в Нью-Йорке частное акционерное общество для торговых операций между США и СССР. Б у с ы — автобусы. Д е п о р т а ц и я — высылка из страны. «Б о р ь б а д в у х с в е т о в» («Война миров», 1898) — знаменитый научно-фантастический роман Герберта Уэллса (1866—1946), в котором рассказывается о войне с марсианами.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Наровчатов. Три великих поэта	3
--	---

Александр Блок

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Из цикла «Стихи о Прекрасной Даме» (1901—1902)

Вступление («Отдых напрасен. Дорога крута...»)	31
«Я вышел. Медленно сходили...»	32
«Ветер принес издалёка...»	—
«Белой ночью месяц красный...»	—
«Они звучат, они ликуют...»	33
«Одинокий, к тебе прихожу...»	—
«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»	34
«И я, неверный, тосковал...»	—
«Сегодня шла Ты одиноко...»	—
«Сумерки, сумерки вешние...»	35
«Встану я в утро туманное...»	—
Ночь на Новый год («Лежат холодные туманы...»)	36
«Мы живем в старинной келье...»	37
«Мы встречались с тобой на закате...»	—
«Я и молод, и свеж, и влюблен...»	38
«Я вышел в ночь — узнать, понять...»	—
«Вхожу я в темные храмы...»	39

Из цикла «Распутья» (1902—1904)

«Погружался я в море клевера...»	39
«Мне снились веселые думы...»	40
«Отворяются двери — там мерцанья...»	41
«Скрипка стонет под горой...»	—
Фабрика («В соседнем доме окна жолты...»)	—

*Из цикла «Разные стихотворения»
(1904—1908)*

Осенняя воля («Выхожу я в путь, открытый взорам...»)	42
«Девушка пела в церковном хоре...»	43
«Утихает светлый ветер...»	—
Сольвейг («Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне...»)	44
«Прошли года, но ты — всё та же...»	45
Русь («Ты и во сне необычайна...»)	46
«Так окрыленно, так напевно...»	47
Балаган («Над черной слякотью дороги...»)	48
«Когда я создавал героя...»	49
«Твое лицо мне так знакомо...»	—

*Из цикла «Город»
(1904—1908)*

Петр («Он спит, пока закат румян...»)	50
«Поднимались из тьмы погребов...»	51
«В кабаках, в переулках, в извивах...»	52
«Барка жизни встала...»	53
«Я вам поведал неземное...»	—
«Вися над городом всемирным...»	54
Сытые («Они давно меня томили...»)	—
Незнакомка («По вечерам над ресторанами...»)	55
«Передвечернею порою...»	57
Холодный день («Мы встретились с тобою в храме...»)	58
В октябре («Открыл окно. Какая хмурая...»)	59

*Из цикла «Снежная маска»
(1907)*

Снежное вино («И вновь, сверкнув из чаши винной...»)	60
Ее песни («Не в земной темнице душевной...»)	—
В углу дивана («Но в камине дозвенели...»)	61
Они читают стихи («Смотри: я спутал все страницы...»)	62

*Из цикла «Фаина»
(1906—1908)*

«Вот явилась. Заслонила...»	63
«Я был смущенный и веселый...»	64
«Я в дольний мир вошла, как в ложу...»	—
«Ушла. Но гиацинты ждали...»	65
«В этот серый летний вечер...»	66

Заклятие огнем и мраком

1. «О, весна без конца и без краю...»	66
2. «Приявший мир, как звонкий дар...»	67

3. «Я неверную встретил у входа...»	68
5. «Пойми же, я спутал, я спутал...»	—
9. «Гармоника, гармоника!..»	69
10. «Работай, работай, работай...»	70
«Когда вы стоите на моем пути...»	71
«Она пришла с мороза...»	—
«Я помню длительные муки...»	72

*Из цикла «Вольные мысли»
(1907)*

О смерти («Всё чаще я по городу брожу...»)	73
Над озером («С вечерним озером я разговор веду...»)	76
В северном море («Что сделали из берега морского...»)	78

*Из цикла «Страшный мир»
(1909—1916)*

К Музе («Есть в напевах твоих сокровенных...»)	80
«Под шум и звон однообразный...»	81
Двойник («Однажды в октябрьском тумане...»)	82
«Поздней осенью из гавани...»	83
В ресторане («Никогда не забуду (он был, или не был...»)	—
Демон («Прижмись ко мне крепче и ближе...»)	84
«Как тяжело ходить среди людей...»	85
Авиатор («Летун отпущен на свободу...»)	—

Пляски смерти

«Как тяжело мертвецу среди людей...»	87
«Ночь, улица, фонарь, аптека...»	88
«Вновь богатый зол и рад...»	—
«Миры летят. Года летят. Пустая...»	89
«Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...»	90

*Из цикла «Возмездие»
(1908—1913)*

«О доблестях, о подвигах, о славе...»	91
«Когда я прозревал впервые...»	—
«Кольцо существования тесно...»	92
Шаги Командора («Тяжкий, плотный занавес у входа...»)	—

*Из цикла «Ямбы»
(1907—1914)*

«О, я хочу безумно жить...»	94
«Я ухо приложил к земле...»	—
«Тропами тайными, ночными...»	95

«В голодной и больной неволе...»	95
«О, как смеялись вы над нами...»	96
«Я — Гамлет. Холодеет кровь...»	—
«Так. Буря этих лет прошла...»	97
«Да. Так диктует вдохновенье...»	—
«Земное сердце стынет вновь...»	98
«В огне и холоде тревог...»	—

Из цикла «Итальянские стихи»

(1909)

Равенна («Всё, что минутно, всё, что бrenно...»)	99
Девушка из Spoleto («Строен твой стан, как церковные свечи...»)	100
Перуджия («День полувеселья, полустрадный...»)	101

Флоренция

1. «Умри, Флоренция, Иуда...»	101
2. «Флоренция, ты ирис нежный...»	102
3. «Страстью длинной, безмятежной...»	103
4. «Жгут раскаленные камни...»	—
5. «Окна ложные на небе черном...»	—
6. «Под зноем флорентийской лени...»	104
7. «Голубоватым дымом...»	—
«Вот девушка, едва развившись...»	105
Madonna da Settignano («Встретив на гор ном тебя перевале...»)	—
«Искусство — ноша на плечах...»	106

Из цикла «Разные стихотворения»

(1908—1916)

Друзьям («Друг другу мы тайно враждебны...»)	106
Поэты («За городом вырос пустынный квартал...»)	107
«Когда замрут отчаянье и злоба...»	108
«Всё это было, было, было...»	109
Сусальный ангел («На разукрашенную елку...»)	110
«Ты помнишь? В нашей бухте сонной...»	—
«Благословляю всё, что было...»	111
«И вновь — порывы юных лет...»	112
Художник («В жаркое лето и в зиму метельную...»)	—
Перед судом («Что же ты потупилась в смущеньи?...»)	113
«На улице — дождик и слякоть...»	114

Из цикла «Арфы и скрипки»

(1908—1916)

«Свирель запела на мосту...»	115
«И я любил. И я изведаль...»	116
«Май жестокий с белыми ночами!..»	—

Три послания

1. «Всё помнит о весле вздыхающем...»	117
2. «Черный ворон в сумраке снежном...»	—
3. «Знаю я твое льстивое имя...»	118
«Я пригвожден к трактирной стойке...»	—
«Не затем величал я себя паладином...»	119
«Грустя и плача и смеясь...»	—

Через двенадцать лет

1. «Всё та же озерная гладь...»	120
2. «В темном парке под ольхой...»	—
3. «Когда мучительно восстали...»	121
4. «Синеокая, бог тебя создал такой...»	—
5. «Бывают тихие минуты...»	122
6. «В тихий вечер мы встречались...»	—
7. «Уже померкла ясность взора...»	123
8. «Всё, что память сберечь мне старается...»	—
Утро в Москве («Упоительно встать в ранний час...»)	124
«Всё на земле умрет — и мать, и младость...»	—
На смерть Комиссаржевской («Пришла порою полуночной...»)	—
Голоса скрипок («Из длинных трав встает луна...»)	125
«Есть минуты, когда не тревожит...»	126
Седое утро («Утреет. С богом! По домам!..»)	—
«Я вижу блеск, забытый мной...»	127
«Как день, светла, но непонятна...»	128
«Превратила всё в шутку сначала...»	—
«Была ты всех ярче, верней и прелестней...»	129
«Пусть я и жил, не любя...»	—
«Протекли за годами года...»	130
«За горами, лесами...»	—

Из цикла «Кармен» (1914)

«Как океан меняет цвет...»	131
«На небе — празелень, и месяца осколок...»	—
«Есть демон утра. Дымно-светел он...»	—
«Бушует снежная весна...»	132
«Среди поклонников Кармен...»	—
«Сердитый взор бесцветных глаз...»	—
«Вербы — это весенняя таль...»	133
«Ты — как отзвук забытого гимна...»	134
«О да, любовь вольна, как птица...»	135
«Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь...»	—

Соловьиный сад
(1915)

«Я ломаю слоистые скалы...» 136

Из цикла «Родина»
(1907—1916)

«В густой траве пропадешь с головой...» 141

На поле Куликовом

1. «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...»	—
2. «Мы, сам-друг, над степью в полночь стали...»	142
3. «В ночь, когда Мамай залег с ордою...»	143
4. «Опять с вековой тоскою...»	144
5. «Опять над полем Куликовым...»	145
Россия («Опять, как в годы золотые...»)	—
Осенний день («Идем по жнивью не спеша...»)	146
«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..»	147
На железной дороге («Под насыпью, во рву некошенном...»)	148
«Там неба осветленный край...»	149
«Приближается звук. И, покорна щемящему звуку...»	—
Сны («И пора уснуть, да жалко...»)	150
Новая Америка («Праздник радостный, праздник великий...»)	151
«Петроградское небо мутилось дождем...»	153
«Рожденные в года глухие...»	154
«Дикий ветер...»	—
Коршун («Чертя за кругом плавный круг...»)	155

Из цикла «О чем поет востер»
(1913)

«Мы забыты, одни на земле...»	156
«Милый друг, и в этом тихом доме...»	157

Возмездие

Народ и поэт («Жизнь — без начала и конца...»)	—
Два века («Век девятнадцатый, железный...»)	159
[Вступление во вторую главу] («В те годы дальние, глухие...»)	161
«Когда ты загнан и забит...»	164

Двенадцать

«Черный вечер...»	165
-----------------------------	-----

Скифы

«Милыоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы...»	175
--	-----

Из последних стихотворений

Пушкинскому Дому («Имя Пушкинского Дома...»)	178
--	-----

Из переводов

БАЙРОН

Из дневника в Кефалонии («Встревожен мертвых сон — могу ли спать?..»)	179
Песнь к сулиотам («Дети Сули! Киньтесь в битву...»)	—

ГЕЙНЕ

«Не знаю, что́ значит такое...»	180
---	-----

АВЕТИК ИСААКЯН

«Караван мой бренчит и плетется...»	181
«Да, я знаю всегда — есть чужая страна...»	—
«Снилось мне — у соленой волны...»	—

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

Интеллигенция и революция	182
-------------------------------------	-----

Сергей Есенин

СТИХОТВОРЕНИЯ

«Вот уж вечер. Роса...»	193
«Там, где капустные грядки...»	194
«Выткался на озере алый свет зари...»	—
«Сыплет черемуха снегом...»	—
«Заиграй, сыграй, тальяночка, малиновы меха...»	195
«Матушка в Купальницу по лесу ходила...»	—
Береза	196
Пороша	—
В хате	197
«Гой ты, Русь, моя родная...»	—
«Край ты мой заброшенный...»	198
«Черная, потом пропахшая выть!..»	199
Русь	—
«В том краю, где желтая крапива...»	202
Корова	203
Песнь о собаке	204
«Не бродить, не мять в кустах багряных...»	205
«Запели тесные дроги...»	206
Лисица	—
«Не напрасно дули ветры...»	207
«Разбуди меня завтра рано...»	—
«Нивы сжаты, рощи голы...»	208

«Зеленая прическа...»	208
«Вот оно, глупое счастье...»	209
Кантата	210
Небесный барабанщик	—
«Я покинул родимый дом...»	212
«Теперь любовь моя не та...»	213
«Закружилась листва золотая...»	—
«По-осеннему кычет сова...»	214
Из «Сорокоуста»	215
«Я последний поэт деревни...»	216
«Все живое особой метой...»	—
«Не жалею, не зову, не плачу...»	217
«Я обманывать себя не стану...»	218
«Эта улица мне знакома...»	219
«Заметался пожар голубой...»	220
«Ты такая ж простая, как все...»	—
«Пускай ты выпита другим...»	221
«Дорогая, сядем рядом...»	222
«Мне грустно на тебя смотреть...»	223
«Ты прохладой меня не мучай...»	224
«Вечер черные брови насопил...»	225
«Годы молодые с забубенной славой...»	226
Письмо матери	227
«Мы теперь уходим понемногу...»	228
Возвращение на родину	—
Пушкину	231
«Этой грусти теперь не рассыпать...»	232
Русь советская	233
«Издатель славный! В этой книге...»	235
«Отговорила роща золотая...»	236
Баллада о двадцати шести	—
Сукин сын	241
«Низкий дом с голубыми ставнями...»	242
Стансы	243
Русь уходящая	245
Письмо к женщине	248
Поэтам Грузии	250
Цветы	252

Персидские мотивы

«Улеглась моя бывлая рана...»	256
«Я спросил сегодня у менялы...»	257
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»	258
«Ты сказала, что Саади...»	—
«Никогда я не был на Босфоре...»	259

«Свет вечерний шафранного края...»	260
«Воздух прозрачный и синий...»	261
«Золото холодное луны...»	262
«В Хороссане есть такие двери...»	—
«Голубая родина Фирдуси...»	263
«Быть поэтом — это значит то же...»	264
«Руки милой — пара лебедей...»	265
«Отчего луна так светит тускло...»	—
«Глупое сердце, не бойся!..»	266
«Голубая да веселая страна...»	267
Капитан земли	268
Собаке Качалова	270
«Несказанное, синее, нежное...»	271
«Заря окликает другую...»	—
«Синий май. Заревая теплынь...»	272
«Неуютная жидкая лунность...»	273
«Прощай, Баку! Тебя я не увижу...»	274
«Каждый труд благослови, удача!..»	—
«Я иду долиной. На затылке кепи...»	275
«Спит ковыль. Равнина дорогая...»	276
«Я помню, любимая, помню...»	277
«Листья падают, листья падают...»	—
«Над окошком месяц. Под окошком ветер...»	278
«Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!..»	279
«Я красивых таких не видел...»	—
«Ах, как много на свете кошек...»	280
«Ты запой мне ту песню, что прежде...»	—
«Эх вы, сани! А кони, кони!..»	281
«Синий туман. Снеговое раздолье...»	282
«Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся...»	283
«Вечером синим, вечером лунным...»	—
«Свищет ветер, серебряный ветер...»	284
«Мелколесье. Степь и дали...»	—
«Цветы мне говорят — прощай...»	285
«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...»	286
«Какая ночь! Я не могу...»	—
«Не гляди на меня с упреком...»	287
«До свиданья, друг мой, до свиданья...»	288

ПОЭМЫ

Ленин. Отрывок из поэмы «Гуляй-поле»	289
Анна Снегина	291

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

Железный Миргород	311
-----------------------------	-----

Владимир Маяковский

СТИХОТВОРЕНИЯ

А вы могли бы?	321
Послушайте!	—
Гимн судье	322
Военно-морская любовь	323
Дешевая распродажа :	324
Себе, любимому, посвящает эти строки автор	326
«Ешь ананасы...»	327
Тучкины штучки	328
Хорошее отношение к лошадям	—
Ода революции	330
Приказ по армии искусства	331
Левый марш	332
Владимир Ильич!	333
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	335
О дряни	338
Приказ № 2 армии искусств	340
Прозаседавшиеся	342
Мы не верим!	344
Комсомольская	345
Юбилейное	348
Владикавказ — Тифлис	356
Тамара и Демон	360
Выволакивайте будущее!	364

Из цикла «Париж» (1924—1925)

Прощание (Кафе)	365
Прощанье	368

Из «Стихов об Америке» (1925—1926)

6 монахинь	369
Атлантический океан	371
Мелкая философия на глубоких местах	375
Блек энд уайт	377
Бродвей	380
Небоскреб в разрезе	382
Бруклинский мост	384
Домой!	387

Сергею Есенину	390
Разговор с фининспектором о поэзии	394
Послание пролетарским поэтам	401
Товарищу Нетте — пароходу и человеку	406
Разговор на одесском рейде десантных судов: «Советский Даге- стан» и «Красная Абхазия»	408
Нашему юнoшeствy	409
Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру	414
Трус	416
Помпадур	420
Секрет молодости	423
Подлиза	424
Стихи о разнице вкусов	426
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви	427
Письмо Татьяне Яковлевой	431
Разговор с товарищем Лениным	434
Парижанка	436
Красавицы (Раздумье на открытии Grand oreга)	439
Стихи о советском паспорте	440
Я счастлив!	443
Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка	445
Особое мнение	448

Стихи детям (1925—1929)

Что такое хорошо и что такое плохо	450
Что ни страница — то слон, то львица	453
Возьмем винтовки новые	454
Майская песенка	456
Кем быть?	457
Песня-молния	463

ПОЭМЫ

Облако в штанах	464
Люблю	483
Владимир Ильич Ленин	491
Хорошо! Октябрьская поэма	551
Во весь голос. Первое вступление в поэму	616
Из несконченного	621

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА

Мое открытие Америки (Из очерка «Нью-Йорк»)	623
---	-----

КОММЕНТАРИИ	661
-----------------------	-----

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(т о м 20)

Александр Александрович Блок
Сергей Александрович Есенин
Владимир Владимирович Маяковский

ИЗБРАННОЕ

*

Ответственный редактор
Н. М. К о ж е м я к и н а

Художественный редактор
В. А. Г о р я ч е в а

Технические редакторы
Е. М. З а х а р о в а
и Т. Д. Ю р х а н о в а

Корректоры
Э. Л. Л о ф е н ф с л ь д
и Г. В. Р у с а к о в а

*

ИБ № 2786

Сдано в набор 01.12.78. Подписано к печати 10.07.79. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 47,13. Уч.-изд. л. 43,65+9 вкл.=44,25. Тираж 404 000 (200 001—404 000) экз. Заказ № 3933. Цена 2 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Блок А. А. и др.

Б70 Избранное/ Александр Блок, Сергей Есенин, Владимир Маяковский; Сост. и коммент. С. А. Коваленко; Предисл. С. С. Наровчатова; Ил. Е. А. Кибрика и др.— М.: Дет. лит., 1979.— 736 с., 9 л. ил. (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 20).

В пер.: 2 р.

В томе представлены избранные произведения трех великих русских советских поэтов — Александра Блока, Сергея Есенина, Владимира Маяковского. Комментированное издание.

Б 70803—414 Подп. изд.
М101(03)79

Р2



2 374

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»